

ISSN 0132-0637

2000

8

Октябрь

Октябрь

8 2000

# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

2000

АВГУСТ

В Н О М Е Р Е:

## ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владислав ОТРОШЕНКО. Новочеркасские рассказы .....	3
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Материя стиха. Стихи .....	29
Павел СУТИН. Эти двери не для всех. Повесть в новеллах .....	34
Дмитрий ПОЛИЩУК. Шепот памяти. Стихи .....	113
Сергей ШЕРСТЮК. Украденная книга. Предисловие и подготовка текста Игоря Клеха. Публикация Светланы Савичевой .....	116

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

*Пока не требует поэта...*

Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ. Богач, бедняк .....	142
--	-----

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Валерий ШУБИНСКИЙ. Семейный альбом. Заметки о советской поэзии клас- сического периода .....	150
--	-----

## *Терпение бумаги*

Ольга СЛАВНИКОВА.  
«Читать мучительно не хочется...» ..... **169**

## *Отличие ямба от хорея*

Кирилл КОБРИН.  
Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо второе **176**

## *Русское поле*

Рубрику ведет Павел БАСИНСКИЙ. .... **181**

## *Актуальная культура*

Владимир БЕРЕЗИН.  
Апология ошибки ..... **185**

## *Песни познания*

Пятьдесят лет в анекдотах, или Жизнь старого игрока ..... **189**

**Главный редактор**  
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

### **Редакция:**

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

### **Общественный совет:**

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

***Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.***

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала [www.infoart.ru/magazine/October](http://www.infoart.ru/magazine/October)

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности  
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.06.2000. Подписано к печати 18.07.2000. Формат 70x108<sup>1/16</sup>.  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.  
Тираж 8570 экз. Заказ № 1676. Цена 36 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

## Новочеркасские рассказы

### ПЛОХАЯ ЖАБА

— Ты все, батюшка, в одной поре,— говорили Троне нищенки, сидевшие на паперти Войскового собора. Троня тоже там иногда сидел среди нищенков, сидел спокойно, прямо, положив руки на колени и глядя куда-то в пространство соборной площади, открытой ветру и солнцу. Он мог часами сидеть так, не обращая внимания ни на нищенков, ни на добротню одетых старух, которые терпеливо и аккуратно, стараясь не заслонять ему зрелища, топтались рядом с ним, протягивая ему время от времени маленькие узелки, зажатые в ладонях.

— Возьми у меня, Трофим... У меня возьми,— повторяли старухи тихо и монотонно, опасаясь Троню спугнуть: в любую минуту он мог подняться и уйти от собора прочь, не взяв узелок ни у кого.

В узелках были завернуты жабы.

Троня вдруг вставал решительно — так, словно собирался двинуться в путь. Но куда не двигался. Выхватывал узелок у какой-нибудь старухи, разворачивал жабу и поднимал ее высоко двумя руками за передние лапки. Какое-то время он смотрел на нее с интересом. А потом вдруг шмякал ее о гранитные ступеньки так, что она разлеталась в брызги, и говорил старухе быстро-быстро:

— Плохая у тебя жаба, скоро сдохнешь, иди домой, становись коромыслом, жопу печке показывай!

И старуха отходила, нисколько не обижаясь на Троню; пятилась вниз по ступенькам, кланялась — благодарила его за верную весть.

Благодарили Троню и другие старухи — те, которых он бил живой жабой по лбу и по щекам.

— Благословляет! — радостно объясняли они друг дружке.— Еще поживем.

— А сам-то он сколько живет? — спрашивал я у старух, пользуясь случаем. Бабушка иногда посылала меня к собору, чтобы я отыскал там Троню и довел его до дома: ей воображалось, что Троня, любивший ходить по улицам скорым шагом и в одном направлении, нечаянно выйдет из города в степь по Крещенскому спуску и будет идти и идти — до Кавказских гор, до Черного моря.

— А ты вот у него самого и узнай — сколько... Или у бабушки своей,— мирно отвечали мне одни.

Другие же отвечали недружелюбно.

— Нисколько. Никогда не рождался, никогда не умирал,— говорили.— Ступай себе, ступай...

Но я и не думал «ступать». Позабыв о бабушкином поручении, я принимался дразнить неприветливых старух.

— Все рождаются и умирают,— пререкался я с ними.

И азартно крутил им дули в ответ на их возражения; пугал их плохими жабами, особенно ту, маленькую, остроносою, с индюшачьими щеками, катавши-мися по воротнику черного бархатного жакета, которая тараторила злее всех, мотая головой и ругая меня «малахольным чертом».

— Вот увидишь,— пообещал я ей однажды,— завтра Троня твою жабу так хлобыснет, что она и квакнуть не успеет!

Но назавтра Троня к собору не пришел.

Помню, в тот день немой Фирс разбудил меня чуть свет. Я спал во дворе на топчане под вишней, и снился мне, быть может, только первый сон, потому что до глубокой ночи, забравшись на крышу высокого каменного сарая с тремя арочными дверями и множеством квадратных окошек под самой крышей (когда-то давно, когда бабушка Анна была гимназисткой, этот сарай был конюшней), я разглядывал луну в тот выделенный древний телескоп на чугунной ножке, который беспризорно кочевал по всей округе — скакал по Кавказской и по Почтовой; не раз поднимался вверх по спуску Разина до самой Архангельской, до ее щеголеватых домов, красовавшихся вблизи Атаманского сада; едва не сгинул где-то на нижних дремотных улицах у берегов Аксяя и таки очутился у меня, выменянный на стайку жемчужных гурами.

Растолкав, Фирс затащил меня, еще полусонного, по шаткой деревянной лестнице на крышу сарая, туда, где я ночью оставил телескоп и откуда днем хорошо виделись и левый берег Аксяя, огибающего город с юга, и все аксайское займище, поросшее камышами и низкими ивами, и гладкая — без камышей, без ив, — ясная степь за займищем, бледно и ровно желтевшая до берега Дона, до строго края утренних небес.

Фирс одной рукой отчаянно тряс в воздухе, указывая ею высоко в степь; другой — шевелил мою голову, то приподнимая ее, то опуская, нацеливал мои глаза, пока я наконец не разглядел у самого горизонта, там, где уже чувствовался яркий свет от невидимого Дона, человеческую фигуру.

— Ква-ква! — вдруг прозвучало у моего уха.

И я, окончательно пробуждаясь, мгновенно вспомнил, как вспоминают ускользающее сновидение, и вчерашних жаб, и маленькую старуху в засаленном бархатном жакете, и невыполненное бабушкино поручение, и свое страшное обещание той старухе — тоже невыполненное.

— Ква-ква!

Это говорил Фирс, умевший произносить некоторые звуки.

«Ква-ква» — так он называл Троню, умевшего предсказывать по жабам жизнь и смерть...

### КАК У ЛАТЫША

Троне было... не знаю, сколько лет. Никто не знал. Нельзя было этого определить. Иногда я присматривался к нему, и мне казалось, что лет ему столько же, сколько соседскому древнему деду Корнею Манилову, давно уже разучившемуся толком бодрствовать, но еще не избавившемуся окончательно от лютой своей непоседливости, которая каждое утро выгоняла его вон из дома с ведром или с сумкой на середину улицы, где он и дремал до вечера, выставив ногу далеко вперед.

В другие минуты, бывало, я говорил себе, украдкой разглядывая Троню, что он нисколько не старше здорового, с длинным лицом латыша, который квартировал круглый год без дров и угля у бабушки моей, Анны, в прохладных низах — нижних, наполовину утопленных в землю комнатах — и ко-

торый так и приманивал к ее дому окрестных блядушек, потому что весь был покрыт рыжей шерстью, мелко на нем кучерявившейся от веселой натуры и молодости.

Порой я целыми днями развлекал себя тем, что разгадывал возраст Троня. Но развлечение это, не прельщавшее, к моему огорчению, никого, кроме немого Фирса, — он сидел вместе со мною на корточках возле палисадника и азартно разглаживал пыльную кашу на тропинке, готовя место для новой цифры «18», еще более невероятной, чем прежняя «90», нарисованная им же, — это развлечение только и делало, что развлекало. Никаких устойчивых результатов оно не приносило, потому что сравнить Троню по возрасту можно было с кем угодно — хоть с латышом, хоть с дедом Корнеем, хоть с Фирсом, писавшим, укаывая на себя: «35».

Сам Троня от этих сравнений не менялся. Совсем не менялся. Не менялся никак — ни молодея, ни старея. Всегда был одинаковый — в бумазейной теплой рубашке зеленого цвета, застегнутой на все пуговички под самое горло, и в коричневых полотняных брюках, подпоясанных узким кожаным ремешком очень высоко, чуть ли не под мышками; тонкие губы его всегда были крепко сжаты, всегда были растянuty в прямую линию, а выпуклый сморщенный подбородок беспрестанно вздрагивал — так, что если смотреть только на губы и подбородок, не заглядывая в безмятежно приветливые крошечные Тронины глаза, глубоко запрятанные в темных глазницах под высоким и гладким лбом, то можно было нечаянно подумать, будто Троня чем-то сильно обижен и будто бы он подыскивает злобный умом в отместку за эту обиду дерзкое слово, которое вот сейчас и выпалит.

Нет, конечно же, в каком-то времени, о котором даже бабушка Анна, отличавшаяся от своих младших сестер, моих двоюродных бабок, Наты и Ангелины, не только жизнерадостной набожностью, но и особого рода, житетворной, памятью, рассуждала сбивчиво, называя его то временем атамана Самсонова — «покойного», говорила она, как будто Самсонов упокоился в прошлую пятницу в своем доме на Троицкой площади, именуемой отчего-то площадью Октябрьской Революции, то временем этой самой революции, то временем *после* нее, — в каком-то времени существовал, должен был существовать такой день, когда Троня появился на свет.

Но Троня о таком необычном времени и о таком особенном дне не имел ни малейшего представления. А поскольку жил он во все времена один — на Кавказской улице в Новочеркасске, на четной ее стороне, густо заросшей чайными розами и кустами дикой жрдёлы, прямо напротив дома бабушки Анны, то и спросить о том, сколько Троне лет, было не у кого. Да и кому бы это и для чего могло понадобиться — выведывать, старый Троня или молодой? В округе просто все знали, что вот, есть Троня.

Бабушка Анна ласково называла его — если говорила о нем заглазно — Тронечкой-блаженным. В глаза же обращалась к нему обыденно, без всякой ласковости — Троня, Трофим. Разговаривала с ним различно: когда вежливо, когда шутливо, когда взыскательно. Так же, как и со мной. Если же мне случилось назвать Троню Троней-дурачком — а случалось это обычно тогда, когда для какой-то неясной цели, для того, чтобы оживить событием бесплодный послеполуденный час, посеявший дрему по всей округе, я подзывал к высоким парадным дверям бабушкиного дома Троню, шагавшего неизвестно куда по улице, приоткрывал двери и громко, во весь голос, так, чтобы бабушка могла меня слышать из отдаленных комнат, сообщал: «К нам Троня-дурачок пришел!» — если это случалось, то бабушка как-то чересчур уж быстро появлялась в передней, куда я едва успевал войти вместе с Троней, осторожно подталкивая его в спину, чересчур уж быстро сбегала вниз по истертым камен-

ным ступенькам, сплошь усеянным фиолетовыми, рубиновыми, изумрудными и медовыми пятнами света, перенявшего окраску витражных стекол в круглом окне над дверью, и так же быстро, казалось, гораздо быстрее, чем эти пятна замирали на прежних местах, скользнув по бабушкиному платью, награждала меня за мое сообщение зычными подзатыльниками — одним... другим... третьим,— говоря Троне:

— Не слушай его, Трофим! Это он дурачок. А ты умный.

Троня искренне радовался такому обороту дела. Он бил себя по затылку обеими ладонями (изображал мое наказание) и весело восклицал:

— Так его, бабушка! Так его, так его! Он дурачок, а я умный!.. И богатый! — вдруг добавлял он важно. И бабушка замирала. Испуганно настораживалась, предчувствуя что-то недоброе.

И недоброе случилось.

Троня запускал руку в свой необыкновенно глубокий — до колена — карман, вытаскивал оттуда железный рубль, вертел его пальцами высоко над головой и объявлял:

— Вот, бабушка, у меня рублик! А у него — как у латыша — х.. да душа!

«Х.. да душа! х.. да душа!..» — доносилось уже с улицы, с ее противоположной — жаркой, солнечной — стороны, по которой Троня быстро шагал куда-то сквозь мутно лоснящийся воздух, продолжая свой бодрый путь наперекор полуденному зною.

### ***ВАРЕНИК СЧАСТЬЯ***

В рождественскую ночь к бабушке Анне приходили колядовать ряженые со всей округи.

Приходил немой Фирс, переодетый в толстую бабу так ловко — щеки на-румянены, на голове по бокам скрученные косы, под платьем задница и сиськи из подушек — как настоящие,— что узнать его было бы невозможно, если бы Фирс молчал, когда все хором запевали колядку:

Шли мы степью к вам, несли лодочку,  
Никого в степи не обидели,  
Только в небо мы смотрели да на звездочку,  
Мы младенчика Христа в небе видели!

Но Фирсу не хотелось молча получать от бабушки Анны подарки — серебряную мелочь, новые рукавицы, шарф,— и он тоже по-своему пел колядку.

— Му-мы-мы! Му-мы-мы! — мелодично мычал он, вытягивая шею и подплясывая на месте.

Поднимался из низов латыш — страшный, босой, с огромным посохом и лохматой бородой из пакли, завернутый от колен до подмышек прямо поверх собственной шерсти в седую косулюшку, по которой в другое время он расхаживал у себя в низах с гантелями или эспандером в одной только этой своей рыжей шерсти, разглядывая в зеркале то широкую грудь, то длинные крепкие ягодицы.

Вваливался в двери с мороза вместе с клубами сверкающего пара дед Манилов — бабка Манилиха вела его на поводке, переодетого в медведя; сама же была в сапогах, в атласных огненных шароварах, в намалеванных черных усах и в серье кольцом — представлялась цыганом.

— Гэй-на-на-нэ, золотой! — кричала она медведю не своим голосом.— А ну кувыркайся, милоч, потешай народ!

Грозно стучал кулаком в двери отец Василий, поп Васёк, живший на вершине спуска Разина в мрачно-красивом доме при Александровской церкви, уже много лет закрытой,— стучал, тарабанил, а потом вдруг входил, вкаты-

вался — маленький, круглый, весь в ужасных обмотках, в тряпках, в дырявых платках, в облезлой шубенке. «Подайте заради праздничка нищему бродяге!» — весело вопил.

В тулупах наизнанку заскакивали вслед за ним маниловские близняшки, внучки деда Манилова, — на головах пустые тыквы, в которых вырезаны круглые глаза и улыбающиеся рты.

Троня тоже в рождественскую ночь переодевался.

Оставаясь, как есть, в своих полотняных брюках и бумазейной рубашке (мороз, как и зной, ему был нипочем), он надевал на голову самую обыкновенную шляпу, такую же, в какой ходил на работу сын Ангелины Лёсик, начальствовавший над кинотеатром в Атаманском саду, и воображал, что он наряжен до неузнаваемости.

Приходил же Троня позже всех. Подкрадывался к парадным дверям, стараясь не наступать на озаренный горящими окнами снег. Рядом с дверями на косяке был электрический звонок, жалобно пищавший в передней; был и другой звонок, тот, с которым я водил задушевную дружбу, потому что он бодро стрекотал на весь дом, если сильно повернуть вертушку, торчавшую в дверной створке и похожую на увеличенный ключик для заводной игрушки; было и тяжелое бронзовое кольцо с глубокой ложбинкой под ним, народившейся за сто лет от ударов в дверь. Но Троня не прикасался ни к звонку, ни к вертушке, ни к бронзовому кольцу. Он стоял в шляпе под дверями, втянув голову в плечи, — так, что плечи упирались в уши, — и негромко выкрикивал:

— Тук-тук! Кто-то пришел!

Рас слышать его сразу было невозможно, потому что в передней уже стоял веселый шум, сопровождавший долгожданное действие: бабушка Анна, отпробовав под пение колядок кутьи, которую принесли ряженые, уже бросала им в мешки подарки и деньги, а Ната и Ангелина выносили из соседнего зала, наполненного запахом разогретой хвои и теплых свечных огней, те волшебные вареники, которые с вечера приготовила Анна. Во всех варениках — творог, и только в трех — творога нет. В одном — мука: кому он попадется на вилку из большой фарфоровой чашки, на дне которой усердно заталкивают в штормящее море парусник не то разбойники, не то рыбаки, тому — мука весь год. Другой — пустой, весь из теста: кто его съест, тому не будет ни добра, ни худа. А в третьем — серебряный рубль с поцарапанной головой царя Николая, это вареник счастья...

— Тук-тук! Кто-то пришел! — выкрикивал Троня чуть погромче. — Тук-тук! — старательно повторял он до тех пор, пока наконец маниловские близняшки, вдруг услышавшие его из-под своих тыкв, не открывали ему двери, приложив указательные пальцы к вырезанным в тыквах ртам.

Троня входил в переднюю шаркающими мелкими шажками, все так же держа голову втянутой в плечи по самые уши: изображал незнакомца.

— Ой, да кто это?! — удивленно вскрикивала бабушка Анна, притворяясь, что она Троню не узнает.

Притворялась и Ната.

— Да это же наш латыш! — говорила она, складывая перед собой ладони и пятясь назад, на самого латыша, возвышавшегося за ней и давно уже всеми опознанного по кучерявой шерсти и могучему росту.

— Да нет же, Наточка, нет же! Это мой Лёсик! Мой Лёсик! — быстро возражала ей Ангелина, тряся в воздухе костистыми длинными пальцами. — Вот посмотри, посмотри — и шляпа его... фетровая, серенькая! — бойко щebetала она.

Но Троне не хотелось быть ни латышом, ни Лёсиком.

Не меня выражения своего тела — как бы прячась всем телом под маленькой шляпой, Троня стоял посреди передней и затаенно ждал других предположений... Ждал, ждал; поворачивал глаза из стороны в сторону, улыбаясь своей осо-

бенной улыбкой, не всем лицом, а только морщинами возле глаз и на носу,— в губах же и подбородке сидела, как всегда, неразрушимая обида,— и вдруг не выдерживал, снимал шляпу и уверенно выкрикивал:

— Я Фирс!

— Да как же это — Фирс, миленький? — ласково сомневалась Ната.— Фирс не разговаривает.

— Фирс! Фирс! — повторял Троня еще более уверенно. И тут же, указывая на латыша, радостно сообщал: — А вон то — черт!

И сердце у меня вздрагивало. Потому что я отчетливо представлял, что сейчас сделает Троня... Вот сейчас — уже виделось мне — он коротко топнет двумя ногами и, выплясывая, забрасывая на затылок то одну, то другую ладонь, громко, с ядовитым задором пропоет те слова, которые однажды уже пел на улице:

Черт! Черт! Рыжий черт!  
В аду яйцами трясет!  
Девочек яйцами зовет!

«Да каких же это девочек, Тронечка?» — уже слышался мне строгий голос Ангелины, чье неумное любопытство всегда таило в себе и простодушие, и коварство. Слышался мне и голос Трони, знающего все, что происходит в округе, на свете, и отвечающего старательно и беззлобно, даже поощрительно: «А вот таких, бабушка Глина, с которыми ваш внучек играет в карты... Хороших... Блядушек...»

Но, на мое счастье, так — как мне виделось, как мне слышалось — в ту рождественскую ночь не случилось, хотя и должно было случиться наверняка.

Спасая себя, я быстро и деловито, интонацией Ангелины проговорил, напомнил: «А что ж мы ряженого-то не угощаем варениками?» И тут же протянул Троне на вилке тот вареник, который за минуту до этого нечаянно выловил из чашки и в котором — я это знал, потому что вилка в варенике уперлась во что-то твердое и беззвучно там царапнула,— был серебряный рубль с головой царя Николая.

Минуту спустя, когда Троня надкусил волшебный вареник и извлек из него под всеобщее ликование свое счастье на целый год, я уже был спокоен. Металлические рубли, чья бы голова на них ни красовалась — царя или Ленина,— Троня страшно любил. Он крепко сжал в кулаке царский рубль, повернулся, метнулся в открытую дверь, в темноту, в сверкающую метель, и там исчез...

## МАЙЯ

Вечерами она тихонько стучала в окно моей комнаты, а когда я выглядывал на ее стук, быстро снимала с головы круглую, в мелких дырочках шляпку, выпуская на волю свои косы, чтобы по этим косам, коротким, пружинистым, с вплетенными в них разноцветными ленточками, я тут же узнал ее, отличил от сестры... Это была Майя, та из близняшек — близняшка-блядушка,— которая охотно разрешала целовать себя в губы, когда проигрывала мне в карты. Когда же проигрывал я — ей и ее хитрым подругам, Олимпиаде и Саше,— мне приходилось показывать им латыша: таково было их требование; такова была моя ставка.

Мы играли в полуразрушенной, обросшей кустами шиповника и вьющимся хмелем каменной беседке, которую бабушка Анна называла Платовской ротондой (Троня говорил: «ритонда»); другую ротонду, точно такую же, но ухоженную, выбеленную, сохранившую при себе только один сиреневый кустик, торчавший из-под железной купольной крыши, она называла Максимовской, потому что ее построили при атамане Максимове — прибавили к Пла-

товской аж через век; обе стояли на середине спуска Разина по разным его сторонам и были хорошо видны из окон бабушкиного дома, но меня это несколько не беспокоило, потому что Платовская ротонда даже днем не просматривалась насквозь. Мы же играли поздним вечером. Олимпиада и Саша сидели прямо на круглом мраморном столе, разложив по нему свои короткие расклеванные юбки и маленькие сумочки. Майя стояла рядом со мной и наверняка заглядывала ко мне в карты, хотя я и прятал их от карманного фонарика, которым нам светила ее сестрица, вторая близняшка, Катя, сама никогда не игравшая и даже гордо удалявшаяся из ротонды, когда я получал свой выигрыш... Я играл кое-как, потому что голова у меня шла кругом — от звона цикад, от пения сверчков, от запаха цветущего хмеля, от протяжных, хрустящих щелчков зажигалки, вслед за которыми бойко разгоралась мятная сигарета, озарявшая то и дело подкрашенные губы Олимпиады, от ночи, от звездного неба, струившегося сквозь громадные дыры в крыше, от самого воздуха в ротонде, расшитого стараниями светлячков фиолетовыми искрящимися узорами, и от того, что Катя иногда вдруг освещала подвижным лучом фонарика беспечно расставленные коленки моих противниц, восседавших по-турецки на столе. Взгляд мой сливался с этим желтым дрожащим лучом, и я уже не мог обдумать свой ход, думая только о той завораживающей тени в глубине меж скрещенных ног, которую слабый луч света не успевал разрушить, беспорядочно прыгая по ногам, — одни были темными, лоснящимися, они принадлежали Олимпиаде, высокой, смуглой, носившей толстую черную косу до поясицы; другие были светлыми, светящимися, в свежих мелких царапинах выше коленок... Мне хотелось выиграть трижды, чтобы поцеловать и Майю, и Сашу, и Олимпиаду — в ее накрашенные, мутно блестящие губы. Но этого не случилось. Мой выигрыш всегда был очень скудный — один поцелуй Майи, который она прерывала небрежным шлепком по моей щеке и возгласом: «Хватит! Играем дальше...»

Проиграв, я заводил блюдешек во двор тайным ходом через узкий, шириной всего в один шаг проулок, образовавшийся оттого, что соседний дом примыкал не вплотную глухой стеной к глухой же стене бабушкиного дома. От улицы проулок был загорожен высокой железной калиткой, закрытой изнутри на засов, который я заранее, с вечера, отодвигал, предвидя свои неизбежные проигрыши. Запустив за калитку Майю, Сашу и Олимпиаду, я сначала пробирался один, стараясь не хрустеть каменной крошкой под ногами, до угла дома, до конца проулка, туда, где гранитные шатающиеся ступеньки выводили во двор, прямо под древний полувысохший абрикос, чудом приносивший плоды величиной с куриное яйцо, а потом уже взмахом руки звал их за собой, убедившись, что во дворе никого нет и что окна у латыша горят, — здесь, со двора, они выступали из земли, из узких, выложенных ракушечником ям, гораздо выше, чем с фасада, и здесь латыш их никогда не зашторивал. «Один, два, три, четыре... девяносто восемь, девяносто девять...» — считал я до ста двадцати, добросовестно отмеряя те две минуты, во время которых блюдешки с веселым и жадным интересом разглядывали латыша, сдвинув головы, зажав ладони коленками и наклонившись на прямых ногах над окном так низко, что их задравшиеся юбки открывали сочное, разноцветное и сплоченное зрелище, поднимавшее во мне от живота до ключиц знобящую волну, но вглядеться в него как следует я, увы, не мог: я осматривал то и дело двор, стоя на страже под абрикосом...

Играть в «дурака» на свои поцелуи и на моего латыша Майя и ее подружки готовы были хоть зимой, хоть летом, потому что голым у себя в низах латыш расхаживал во всякое время года, отважно делая гимнастику. И только весной, ранней весной, когда в воздухе впервые после зимы обнаруживался смешанный запах теплых камней, влажной пыли и нарождающейся травы, Майя не в силах была играть. Она не могла даже постучать в окно — отчетливо, коротко, так,

как стучала всегда, вызывая меня на игру. Лишь однажды, в поздние мартовские сумерки, мне удалось расслышать за окном странный звук — точно по оконному стеклу разгуливал воробей. Я отодвинул штору и увидел руку — бледную лапку, царапавшую покрашенными ногтями стекло. А когда открыл окно, увидел и Майю.

Она была без шапки, без шляпки, в одном только зимнем пальто, из-под которого видны были ее голые ключицы. Она стояла под окном, прижавшись щекой к стене, и тихо, как заклинание, повторяла: «К латышу... к латышу... к латышу...» Потом замолчала, опустила руку и сползла по стене на землю, словно раненая или мертвая.

## ПЕЧЕНЕГИ

Лёсиком Лёсика звали потому, что он сам себя называл Лёсиком. Всегда сюсюкал, как сюсюкала когда-то, разговаривая с ним по-младенчески до самой его женитьбы, Ангелина, и всегда рассуждал о себе, как о постороннем.

— Да сто вы к Лёсику плистали — покатай, покатай! Лёсик лаботал, Лёсик устал, — хмуро отвечал он близняшкам, когда те просили его, чтобы он покатал их на своем животе, как иногда катал меня.

— Ну покатай же, сладенький, хороший... покатай нас... как племянника, — выдавливали они из себя, захлебываясь и приседая от смеха на корточки.

— Племянник худенький, легкий, — серьезно объяснял им Лёсик, — а вы узэ дылды, у вас зопы тязолые.

Катать меня верхом на своем животе Лёсику, и вправду, было легко и сподручно, потому что у него была особенная походка... Помню, как он возвращался домой с работы из кинотеатра. Шел по спуску Разина вниз — не шел, а словно съезжал по нему на спине, глядя в небо: так сильно приходилось ему заваливаться назад, чтобы перевесить выпуклый живот. Во дворе же, куда он старался попасть первым делом (любил полежать на топчане, прежде чем зайти в дом), Лёсик никогда не появлялся весь сразу. Сначала распахивалась маленькая калитка, врезанная в створку широких ворот, и заходили во двор — как бы сами собой — одни только его ноги; потом долго — и тоже самостоятельно — въезжал в калитку живот; за ним постепенно показывалась грудь; просовывалась подбородком вперед голова — всегда при серой шляпе, лежавшей на лбу, на голубых глазах; последними объявлялись руки, висевшие далеко за спиной: в одной руке кожаная папка, в другой бутылка с красным вином.

Близняшки, хотя и изводили Лёсика просьбами (заведомо неисполнимыми: «покатай», «отдай вино», «подари папку»), но все же любили его. Часто встречали его на углу Кавказской и спуска Разина, где Лёсик останавливался и покорно ждал, не выпуская из рук бутылку и папку, пока близняшки шарили по его карманам — искали контрамарки на вечерний сеанс в кинотеатр, которые заготовил для них Лёсик. Находили, а потом преувеличенно и весело благодарили его: Майя вдруг отступала назад и отвешивала поклон, проводя рукой по траве, а Катя ставила ему на живот железную кружку, полную вишен, с которой Лёсик так и шел домой. Меня в кинотеатр пускали без контрамарок на любой сеанс.

— Заходи, племянник дилектола, — говорили мне билетерши, передразнивая Лёсика, которого они нисколько не боялись, потому что, во-первых, Лёсику всегда было безразлично, как разговаривают с ним или о нем, то есть о том Лёсике, на чье безмятежное существование он и сам — безмятежно же — взирал со стороны; а во-вторых, Лёсик редко добирался до кинотеатра, отправляясь на работу.

Кинотеатр стоял в самом центре Атаманского сада, поднимавшегося тремя террасами (на каждой — своя аллея) от церкви Александра Невского до дворца, который бабушка Анна, повергая в ужас Ангелину, тоже называла Атаманским. «Да ты, Аничка, с ума сошла!» — испуганно шептала ей Ангелина, называвшая дворец совсем по-другому — каркающим словом «горком». Как и дворец, кинотеатр был старинным, но не каменным, а деревянным, с огромными лирами на круглых белых плашках, прилепленных к бирюзовым стенам; с резными плоскими колоннами по углам и обшпирной, заплетенной дикой лозой верандой, которая выходила прямо в сквер, отгороженный от аллеи высокой выбеленной балюстрадой. Чтобы попасть в кинотеатр, нужно было зайти через низкую арку в сквер, где на выпуклых клумбах валялись — на боку, на спине, на животе — курганные бабы и где стоял, возвышаясь заостренной шатровой крышей над густыми кронами каштанов, буфетный павильон, похожий на парковую карусель. В этом-то павильоне, окольцованном глубоким каналом, по которому плавали, раздвигая ряску, утки, и сидел целыми днями Лёсик. Иногда сидел до позднего вечера, до звезд, до луны, до разноцветных огней, заживавшихся по краю павильонной крыши. Улыбаясь буфетчицам, которые время от времени меняли пузатые графины на его столе; улыбаясь всякому посетителю, перебравшемуся в павильон по сторбленному мостику, он курил одну за другой сухие, хрустящие папироски и пил стакан за стаканом вино, но ничуть не пьянел, а только глаза его становились такими же бирюзовыми, как стены кинотеатра. За стенами крутилось кино — крутилось, мерцало, вспыхивало, разнообразно озаряя зал, казавшийся мне безграничным. Он был и в самом деле огромным, таким, что по нему было просторно летать воробьям и ласточкам. Экран, светившийся во всю ширину кинотеатра над высокой сценой, даже от кресел первого ряда был удален на большое расстояние. Я обычно сидел в первом ряду, хотя мне хотелось сидеть в последнем, там, где устраивалась со своими подружками Майя; там они пили украдкой вино, заранее купленное в павильоне; там Олимпиада сажала меня на колени, и я, откинувшись назад, ощущал спиной ее плоский тугий живот, твердые ребра, теплые груди, ощущал ее крупные прохладные соски — они, казалось, сверлили мне лопатки и вливали в меня вместе с живой прохладой непобедимый яд, заставлявший все мое тело то дрожать, то цепенеть; там я вдыхал в себя, превозмогая кашель, мятный дым сигареты, которую Олимпиада вдруг подносила к моим губам, пряча в ладонях от взглядов билетерш алый огонек... Оттуда, с последнего ряда, мне хотелось смотреть кино. Но я не мог бросить Троню.

Кинотеатр Троню чем-то всегда привлекал, но заходить в него один он боялся — стоял у входных дверей и осторожно заглядывал в зал; с любопытством осматривал бронзовые светильники на стенах, деревянные кресла, покрытые черным лаком, слепо белеющий экран. Стоило мне подойти к дверям, как Троня хватал меня за руку и затаскивал в зал с таким решительным видом, как будто я, а не он боялся туда войти. Он усаживался в первый ряд, куда и мне приходилось садиться, потому что моя рука была стиснута в его руке, словно в клещах, и он не отпускал ее до тех пор, пока не заканчивалось кино.

Троне воображалось, что кино существует только одно, одно-единственное, то, которое он однажды видел вместе со мною: про печенегов. Про то, как летит на свирепых конях по степи громадное войско, всё в пушистых, пестрых мехах, и про то, как падает с деревянной башни воин в остроконечном шлеме, успевая нащупать стрелу в груди и тихо вымолвить: «Печенеги...»

Что бы ни происходило на экране — плясала ли там, приставляя длинные пальцы к щекам, голоживотая индианка, бежал ли по крыше вагона хитрец-удалец в галифе, охотно стреляя из маузера во все стороны, целовал ли у моря растрепанную девицу, жарко катаясь с ней по песку, какой-то гибкий и ласковый оборванец, — Троня ждал печенегов. И, не дождавшись, выкрикивал на весь зал: — Печенеги!

— Да, печенег, Тронечка, печенег... Уже уехали,— успокаивала его Катя, часто сидевшая рядом со мной, когда я попадал к Троне в плен.

Она не хотела курить сигареты и пить вино с подружками Майи в последнем ряду. Она не переносила ни табачного дыма, ни вина, и поэтому я очень удивился, когда однажды — после того как мы вышли с ней из кинотеатра в сквер,— она вдруг наклонилась к моему уху и прошептала: «Пойдем к Лёсику пить вино...»

Лёсик встретил нас в павильоне своей обычной, ласково-равнодушной улыбкой, как бы говорившей всему миру: вот он — Лёсик, вот он — тихий вечер, вот оно — вино. Помню, эта улыбка не сходила с его лица ни тогда, когда Катя попросила его налить ей полный стакан вина, который она выпила быстро и лихо — зачем-то трянула даже головой над пустым стаканом,— ни тогда, когда сама, не спрашивая Лёсика, наполнила вином стакан и протянула мне.

Я тоже постарался выпить вино быстро, не показывая Кате, что делаю это в первый раз. Горячий сладковатый дух перехватил мне горло, замер в груди, пополз вниз; какое-то время он медленно двигался у меня в животе, обдавая жаром внутренности, а потом вдруг помчался вверх, к голове, и рассыпался там на тысячи хрустальных иголок. Они кололи мне голову изнутри; плясали снаружи на онемевших щеках. Я видел, как Катя снова наливает себе вино и снова пьет его быстрыми глотками; видел не своими, а чьими-то чужими скользящими глазами, как мы выходим из павильона в сквер; видел по губам Кати, как она что-то говорит Лёсику, но вникнуть в ее слова я не мог, потому что слух отделился от меня и свободно плавал где-то сбоку, вверху, в ночном небе, где дрожали и кружились размазанные звезды...

Слух вернулся ко мне вместе с тошнотой в ту минуту, когда я обнаружил себя сидящим на плечах Лёсика. «Курва! Шалава! Слезай сию минуту!» — отчетливо услышал я голос Заиры, жены Лёсика. Черноволосая, кучерявая, всегда злобная и проворная, она бежала вверх по спуску Разина навстречу нам — навстречу мне, Лёсику и Кате, которая тоже сидела на Лёсике. Она сидела верхом на его животе и, широко раскинув длинные ноги, облокотившись на его грудь, весело распевала:

— Печенег, печенег едут с горки на телеге!

Ее непослушная голова с двумя конскими хвостиками по бокам раскачивалась из стороны в сторону так сильно, что и Лёсик, никогда от вина не пьяневший, качался, как пьяный, и подпевал ей: «Едут, едут песенег!..»

## ПЛАНЕТАРИЙ

Поп Васёк был совсем не таким попом, какие служили в Войсковом соборе. Там они были важными, грозными, с длинными плоскими бородами по живот. У попа Васька борода была маленькая и такая же круглая, как и весь он сам. Он не то что охотно, а даже азартно играл в айданы со мной и Володей — сыном бабушки Наты, моим двоюродным дядей, который был старше меня всего на два года,— и с нашими друзьями Родей и Андреем. Иногда Васёк выигрывал у нас подчистую все айданы — такие маленькие квадратные косточки из колени овцы. Их нужно было ставить рядком на кон — в прямоугольник, начерченный на земле, и сбивать с расстояния десяти шагов байбаком — точно такой же косточкой, но покрупнее. Если байбак после удара становился на бок,— это называлось *арцо*, то можно было повторить удар с гораздо меньшего расстояния, оттуда, где выпадало арцо. У попа Васька байбак беспрестанно *арчил*, и поэтому он не метил им в кон, а просто *гнался* — подбрасывал байбак вплотную к кону, а потом сбивал им все айданы, закрутив его пальцами, запуская по земле волчком. Обыгрывал нас и уходил очень довольный, улыбающийся

ся. Да еще поучал: «Вот так надо играть в игру ваших пращуров, отроки ничемные!»

Говорить с попом Васьком можно было о чем угодно: о рыбках, о марках, о телескопе, о луне, о Боге — существует Он или нет?

— Существует, существует, — отвечал поп Васёк очень буднично (гораздо торжественней он объявлял: «Гонюсь!» — подбрасывая к кону непобедимый айдан). — И Бог существует, и Его Сын, и Богоматерь, и апостолы... У меня арцо, отроки!

— А попадья? — спрашивал кто-нибудь.

— Что попадья?

— Попадья существует?

— Я вот-те дам попадью, сукин сын! Я вот-те холку сейчас так обрею!

Только про попадью и нельзя было говорить с попом Васьком.

Попадью никто никогда не видел, и поэтому ее воображали себе какой угодно. Одни говорили, что она старая, уродливая: все лицо в бородавках и жестких волосьях. Другие утверждали, что она очень юная, тонкая и лицом необыкновенно красивая, но что есть у нее острый горб на спине.

— Да, красивая, но не тонкая и не горбатая, а огромная... Задница у нее вот такая! — возражал на это Володя, возражал и больше не вступал в спор; молча смотрел куда-то перед собой, остановив у пухлой, румяной щеки раскуренную сигаретку, и видно было, как в его светлых, мечтательно умных глазах всё разрастается и разрастается эта выдуманная им задница: одна половинка — как весь поп Васёк.

Вот об этом-то — существует ли попадья или нет — я и думал в тот день, когда мне удалось проникнуть незамеченным за чугунную ограду, которая охватывала скобой Александровскую церковь. Само это пространство за оградой, застывшее, сумрачное, пропитанное запахом плесневеющих кирпичей и затопленное сонной тишиной, манило меня своей непричастностью к окрестному подвижному миру. Меня манило там всё — и гранитные плиты у церковной стены, покрытые длинными надписями на неведомом мне языке; и низкий, кое-как заколоченный гнилыми досками дверной проем в стене, через который можно было забраться в церковный подвал; и валявшиеся под деревьями, вросшие в землю колокола; и дом попа Васька, узкий, длинный, в тяжелой лепнине над окнами, закрытыми наглухо днем и ночью, зимой и летом деревянными ставнями, которые притягивали к себе мой взгляд так же властно, как закрытые выпуклые глаза и желтое лицо деда Корнея, когда того однажды вынесли на улицу в глубоком гробу... Но больше всего меня манила огромная тютютина, что росла за оградой у самой церкви, дотягиваясь верхними ветвями до высокого арочного окна, где в железной раме еще торчали осколки разноцветных стекол. Ни на одной тютюине в округе нельзя было найти таких ягод — белого налива, — как на этой. Они были сочными, нестерпимо сладкими, тучными — некоторые не уступали величиною грецкому ореху. Но добраться до этих вожделенных ягод было почти невозможно... Нет, конечно, пролезть через ограду, аккуратно просунув голову, а потом и все тело, между двух чугунных пик, не составляло труда. И я это делал не раз. А потом шел к тютюине — крался к ней, ощущая, как каменеют от осторожных движений все мои сухожилия. Прежде чем забраться на дерево, нужно было наступить на толстую гранитную плиту под ним: она помогала подняться повыше и ухватиться за нижнюю ветку. Но я не торопился. Я стоял под тютюиной, скованный точно такой же выжидательной неподвижностью, какую хранили серые ящерицы, гревшиеся на плите среди высеченных букв. Ящерицы смотрели на меня; я же присматривался к дому попа Васька. Там всё тихо и слепо. Нет ни единой щели между ставнями. Дверь, покрытая пылью и шелушащейся краской неясного цвета, выглядит так, как будто ее не открывали уже много лет, как будто дом мертвый, заброшенный. Я наступаю на плиту — и дом оживает. Дверь распаивается, из нее вылетает поп

Васёк и, радуясь удавшемуся коварству, кричит: «Куда, твою мать, по могиле протоиерея!»

Так было всегда.

Но так не могло быть в тот день, когда я забрался-таки на тютину, тревожно спрашивая взглядом — у слепых окон, у запыленной двери,— существует ли попадьё? Попа Васька дома не было. В тот день, я это видел, он вышел из церковного двора, чем-то сильно озабоченный и вместе с двумя другими попами, чьи розовые, гладкие лица над плоскими бородами излучали спокойную строгость, отправился через Атаманский сад куда-то в сторону Дворцовой площади, одетый, как и эти попы, в черную рясу...

Целый день я смело разгуливал по церковному двору, уже не желая даже смотреть на дерево, накормившее меня своими плодами до сонного головокружения. К вечеру я обследовал во дворе всё, кроме древнего, похожего на карету, автомобиля, который стоял возле дома, в нескольких шагах от дверей, утопленный по толстые стекла, сплошь покрашенные белой масляной краской, в лопухи и бурьян.

Было уже темно, когда я решил забраться в автомобиль. Я с силой дернул дверцу, и она, опережая мое усилие, быстро и широко открылась. Из автомобиля с грохотом покатались, повалились наружу пустые бочки, ведра, тазы. Они еще продолжали шевелиться и греметь, когда под железным козырьком, висевшим на цепях над дверью, зажглась тусклая, грязная лампочка. Я успел спрятаться за угол дома, прежде чем дверь распахнулась, и на крыльцо, составленное из двух каменных плит, осторожно вышла попадьё.

«Вот она, существует!» — мысленно воскликнул я, разглядывая ее. Худощавая, длиннорукая, затянутая в чёрное платье от голых ступней до шеи, она какое-то время стояла неподвижно и, казалось, всем своим лицом вслушивалась в темноту, повернув его в мою сторону. Такого лица я никогда еще в жизни не видел! Глубокий шрам, тянувшийся наискось по правой щеке и задиравший край верхней губы так высоко, что из-под нее виднелись два зуба вместе с деснами, делал это лицо не просто уродливым, а уродливым до отвращения. Но с этим нечаянным, нахально торжествующим уродством отважно боролась врожденная красота всех черт юного лица попадьё. И эта борьба, не проигранная и не выигранная, но живая, продолжающаяся, обладала такой завораживающей силой, что мне захотелось сию же минуту выйти из своего укрытия и сказать попадьё, что красивее ее нет никого на свете, и даже поцеловать ее в обезображенные губы. Но вместо этого я затаился еще надежнее — лег в лопухи,— потому что попадьё вдруг шагнула с крыльца в темноту и, продвигаясь ощупью вдоль стены к углу дома, прямо на меня, испуганно спросила:

— Кто здесь?.. Васенька, ты?..

— Я... я... Иди в дом, Анята! — услышал я в то же мгновение сердитый голос попа Васька.

Его круглую фигуру в черной рясе я сразу же различил в темноте, как только Анята, быстро скрывшись в доме, погасила электрический свет, озарявший крыльцо.

Поп Васёк стоял посреди церковного двора спиной к дому и, запрокинув голову, смотрел на центральный, могучий, чуть приплюснутый купол церкви, под которым блестели в лунном свете стекла крохотных арочных окон, разделенных тонкими колоннами.

— Планетарием будешь, матушка... Планетарий из тебя постановили сделать в горкоме! — проговорил он, не опуская головы. Потом развернулся и, как-то злобно шатаясь из стороны в сторону, направился к дому — исчез там, звучно захлопнув за собой дверь.

Я уже был в безопасности — за церковной оградой, когда снова увидел попадьё Аняту. Извиваясь и спотыкаясь, повторяя на ходу: «Не надо, Васенька...

пожалуйста... пожалуйста...», — она выскочила из дома вслед за попом Васьком. Он уже был без рясы — стоял среди могильных плит в одной только длинной белой рубахе.

— Ах вы ж стервы блестящие!.. Планетарий!.. Я вам покажу планетарий, мать вашу коромыслом! — грозно кричал он куда-то в ночное небо, в звезды...

### ВОСЬМОЙ ПАРОХОД

Дом у Трони был. Но что это был за дом! Это была такая круглая башенка при воротах, от которых уцелела только одна створка из толстых железных прутьев, сплетенных в узор. Когда-то давно, когда в двухэтажном доме с плоскими колоннами между окон, что стоял за воротами в глубине двора, жил один дед Корней Манилов, у которого, говорила бабушка Анна, «было семь пароходов в Азове и миллион рублей серебром», в этой тесной башенке, сменяя друг друга, сидели маниловские сторожа, охранявшие дом. Как и когда в башенке поселился Троня, в округе никто не помнил. Не помнил этого и сам Троня. Иногда он и вовсе забывал, что сторожевая башенка — его дом.

— Иди, Тлоня, домой! — бывало, командовал ему мимоходом Лёсик, заметив, что Троня бодрствует поздним вечером, забравшись с ногами на холодный валун у колонки.

И Троня шел. Но не в башню, а мимо нее — по улице. Или вдруг говорил Лёсику, не двигаясь с места:

— Не хочу домой. Хочу в башенке пожить.

— Да ты сто, Тлоня, дулак! Ты там и зывес! — отвечал ему Лёсик взволнованно, стараясь Троню обрадовать.

После такого сообщения Троня, случалось, несколько дней никого не подпускал к своей башне — кричал с ехидной гордостью, с лютым задором всякому, кто пытался приблизиться к ней, что это *его* дом! что ему *Лёсик* сказал! Но проходило еще несколько дней, и Троне наскучивала эта забота, мешавшая другой его заботе — быстро шагать туда-сюда по всему городу, не расставаясь с явью ни днем ни ночью.

Он снова куда-то шел — то по одной, то по другой улице, пересекал площади, спешил к собору, спускался к Аксаю, выходил в степь, возвращался в город. Башенку в разгар такого бодрствования он даже не замечал, а если и заходил в нее, то так, как заходят в чужое жилище, — со сдержанным любопытством и вежливой осторожностью.

В башенке у Трони, в круглой каменной комнате, где едва помещались табуретка и стол (на нем Троня спал), я был много раз. Мне нравилось сидеть там среди ясного жаркого дня в полумраке и смотреть на улицу через узкие — шириной в две ладони — окна без стекол. Все отсюда выглядело иначе. Все казалось далеким, неизознаваемым и вместе с тем необыкновенно отчетливым, словно я смотрел с обратной стороны в телескоп, пользуясь его подспудной, удаляющей силой. Даже бабушкин дом представлялся мне незнакомым, оттого что он сиделся весь целиком в ярком и плотном свете, сдавленном глубокими оконными проемами. Чем дальше я смотрел сквозь них на улицу, тем неподвижней становился мой взгляд, равномерно рассеиваясь на всех предметах — и дальних, и ближних. Предметы сначала теряли свою отчетливость, потом раздельность; потом превращались в сплошную пеструю пелену. А вслед за этим во мне поселялось странное состояние, которому невозможно было сопротивляться в силу его чужеродности. Оно как будто бы не принадлежало мне; оно наплывало на меня со стороны, извне, вытесняя мое «я»; не я, а какое-то совершенно бездумное и бесформенное существо, вдруг завладевшее моим зрением, смотрело из башенки и наслаждалось этим свойственным для него состоянием, в котором соединялись одновременно и упоительное оцепе-

нение, и радостная завороченность, и обморочное безразличие ко всему, что происходит перед глазами, на улице, в округе, за толстыми стенами башенки, в башенке — где бы то ни было. Мне не то чтобы не хотелось крикнуть незнакомому велосипедисту, который быстро и беззвучно катился по улице, по травяной кромке вдоль мостовой, что он — вот сейчас — упадет в глубокую яму (обросшую по краям высокой лебедой и потому для него не заметную); я просто не в силах был этого сделать: я мог только наблюдать — без сочувствия, без насмешки и даже без любопытства, — как он падает; как исчезают с поверхности земли переднее колесо, хромированный руль, сгорбленная спина, а потом и заднее колесо, сверкнувшее напоследок спицами. Мне было вовсе не обидно, что Родя лежит в *нашем* палисаднике и, запрокинув голову на ладони (делая вид, что спит), подглядывает за *нашей* Заирой, которая теперь собирает сливы в кастрюлю, забравшись в цветастой юбке на дерево и широко расставив ноги на ветках прямо над Родиной головой. Я не испытывал горячего азарта, увидев, что на улице вдруг появился, вывернув из-за угла спуска Разина, долгожданный старьевщик в обвислой шляпе, запряженный вместо коня в разрисованную арбу: ему можно было принести теперь любую дрянь, хотя бы и поломанный бабушкин веер, который она прятала в горке среди посуды, и взамен получить губную гармошку, глиняную свистульку или даже перочинный нож. Но я и не думал бежать за веером. В эти минуты я вообще не мог о чем-либо думать, в чем-либо участвовать действием или мыслью, чего-либо хотеть или не хотеть. Моя воля, словно испорченный оптический прибор, из которого нельзя извлечь искомую резкость, не настраивалась ни на какое событие в окрестном мире. Заира, старьевщик, Родя, проворный велосипедист, блестящий темно-зеленый жук на каменном подоконнике в башенке, печные трубы на отдаленных крышах, макушки пирамидальных тополей на нижних улицах — все это я видел одновременно и в то же время не видел ничего. Мир не воздействовал на мои чувства; я даже не осознавал в эти минуты, что мир существует и что я существую в нем. Это была какая-то особая форма небытия, возникавшая по недоразумению — от чрезмерной рассеянности взгляда — в недрах самой жизни. Почему-то именно в Трониной башенке мой взгляд заражался этой мертвящей и блаженной рассеянностью. Иногда, конечно, случалось, что и вдали от башенки, например, на террасе за летним обедом, когда Ангелина разливала дымящийся суп по тарелкам (обедами на террасе всегда распоряжалась она, а не бабушка Анна), меня вдруг охватывало точно такое же состояние. Но длиться долго оно не могло. «Засмотрелся! — тут же говорила Ангелина, словно уличая меня в чем-то опасном или вредном. — Ну-ка очнись! — приказывала она. — Немедленно! Слышишь?» Я машинально кивал в ответ, хотя слышал одни только звуки, а не сами слова, составленные из них, и, кивая, продолжал смотреть куда-то в никуда — в глубину туманного разноцветного кома. И тогда Ангелина, утопив в бокастой фарфоровой супнице тяжелый половник, принималась махать освободившейся ладонью перед моими глазами с такой же заботливой энергичностью, с какой растирают обмороженные щеки. И делала она это до тех пор, пока глаза мои — вместе с чувствами и мыслями — не начинали двигаться, схватывая предметы в их привычном, раздельном и ясном, виде. После чего Ангелина строго объясняла мне, что *так* засматриваться нельзя, что от такого *засматривания* можно нечаянно ослепнуть, можно даже незаметно умереть.

— Или сделаться дурачком, — подхватывала Ната.

— Как Троня? — спрашивал я, зная, что Ната и Ангелина не посмеют в присутствии бабушки Анны согласиться со мной, а лишь промолчат в ответ и прекратят разговор, уже обещающий превратиться в дружное назидание о том, как правильно нужно смотреть, чтобы уберечь и зрение, и жизнь, и ум; и о том, как вообще следует вести себя воспитанному мальчику.

В башенке у Трони я мог *засматриваться* сколько угодно. И этому никто не мог помешать, кроме самого Трони. Однажды он очутился у меня за спиной, когда я смотрел в то окно, из которого виден был дед Корней, спавший стоя с пустым ведром на мостовой — всегда на одном месте, на перекрестке Кавказской и спуска Разина, недалеко от колонки, — видны были сама колонка и густая ива рядом с ней, похожая на пышный фонтан. Троня осторожно толкнул меня твердым острым пальцем в плечо и негромко проговорил:

— Что, нравится смотреть из башенки?.. Она хорошая.

Он сказал это как-то так (мечтательно? понимающе? — не знаю), что я на мгновение усомнился в том, что он дурачок. Но в то же мгновение сомнения мои рассеялись. Глянув в окно, а затем просунув в него голову, Троня вдруг заорал тем своим резким, противным голосом, который был зñаком всем в округе и в котором слышались одновременно ноты воинственной обиды и какого-то отчаянного, кривляющегося веселья:

— Корней! Корней! Где твой пароход?! Просыпайся!.. Вон твой пароход плывет!!

«Пароход... пароход... А я-то думаю, что за пароход?..» — приговаривала два дня спустя не то радостно, не то сокрушенно бабка Манилиха, стоя вместе со всеми в толпе возле своего дома и глядя, как выплывает, покачиваясь на руках, из распахнутых настежь дверей, из стойкого сумрака на яркий полуденный свет огромный, с высокими бортами гроб. Дед Корней, сделавшийся каким-то очень плоским, одетый в пиджак, какого он никогда не носил, лежал в нем с желтым лицом, без фуражки и, казалось, что-то усердно рассматривал в мыслях под голым лбом.

## ТАМ

Ни с кем мне не хотелось целоваться — ни с Майей, ни с Сашей, ни с Олимпиадой — после того, как я увидел попадью Анюту. Поздними вечерами, засыпая в одиночестве на топчане под вишней или в компании с Володей на открытой, выходившей во двор деревянной террасе, я думал только о попадье Анюте. Мне даже не хотелось говорить с Володей о том, о чем мы обычно говорили в эти сладкие предсонные минуты, кутаясь в верблюжьи одеяла (я у стены на грузной оттоманке, он на легкой кушетке у края террасы, под самыми перилами), — о покойниках, об айданах, о том, что завтра нам надо наконец-таки разыскать на Аксайской улице *Енота* и как-нибудь выменять у него или выиграть в карты всех моих *негров* — четырнадцать серебряных марок родом из Бурунди, скитающихся по округе с тех пор, как я променял их на негодную (чвирк-пырк) зажигалку; об отдаленности Венеры, сияющей в обманчивой близости над кроной старого абрикоса; о пылком злодействе деда Корнея Манилова, который будто бы взял и отрубил длинной шашкой головы двум молодым актерам и своей первой бабке, то есть, конечно, не бабке, а тоже юной актрисе, за то, что она очутилась с актерами голой в садовой беседке («Тсс, видишь?!» — «Что?» — «Кто-то идет... *Они* идут! Все трое — без голов!» — «Ты врешь... перестань, Володя...» — «Смотри! Смотри! И дед Корней идет! С шашкой идет... Видишь, блестит?..» — «Ничего не блестит, дед Корней похоронили». — «Ну да, похоронили. А он идет!»); о том, что Лёсик, хоть он и добрый, а тоже, наверное, отрубил бы чем-нибудь голову своей Заире, если б узнал нашу тайну; и, наконец, об этой заманчивой тайне — о голой Заире.

Голой ее видел я. Но мне почему-то всегда было интереснее слушать Володю, слушать, как *он* рассказывает мне о моем приключении — о том, как беззвучным, томительно жарким полднем я забрался в сарай, надеясь там отыскать (на будущее) какие-нибудь вещицы, подходящие для старьевщика; искать их в

доме я уже не решался с тех пор, как отдал старьевщику за две раскрашенные свистульки бабушкин веер, который, как выяснилось потом, когда бабушка целый день ругала старьевщика «шаромыжником», а меня «безмозглым анчуткой», был ей «дороже всех свистулек на свете».

Зайдя в сарай, я плотно закрыл за собой высокую, обитую железом дверь. Из крохотных окошек под крышей сюда проникали мутные лучи, в которых медленно двигалась пыль. Они слабо освещали только переднюю часть сарая, где хранились аккуратно сложенные дрова, колотый уголь, бочонки с керосином, инструменты, всевозможные стулья, столы и кресла, сосланные сюда из дома по дряхлости или по увечности; задняя же часть сарая, отделенная высокими загородками, за которыми когда-то, как говорила бабушка Анна, стояли лошади, была совершенно темной. Но именно там, за этими дощатыми загородками с уцелевшими кое-где дверцами, и можно было найти такие вещи (сброу, седло, железный поднос, подсвечник), которые зажигали в веселых глазах старьевщика беспокойные огоньки.

Сидя за перегородкой, я неспешно перебирал разнообразный хлам, как вдруг дверь в сарай приоткрылась, потом захлопнулась, перекусив широкий луч света. И в то же мгновение я услышал голос Заиры.

— Боже мой!.. Ну и пусть! Ну и пусть! — испуганно говорила она кому-то.

Бесшумно наступив на ящик, лежавший возле загородки, я осторожно взглянул в широкую щель между верхними досками. Заира была одна. Она стояла возле изорванного кожаного кресла, и вид у нее был такой, будто она только что очнулась от кошмарного сна. Какое-то время она ерошила свои короткие кучерявые волосы, быстро двигая растопыренными пальцами вверх от висков. Такими же быстрыми движениями она вдруг стала расстегивать пуговицы своей блузки, потом широкий лакированный пояс на юбке. Я видел, как юбка упала на земляной утрамбованный пол рядом с блузкой, как Заира, перешагнув через юбку, наклонилась, подняла к груди сначала одно, потом другое колено и тут же выпрямилась. Я не сразу понял, что она была теперь голой: ее кожа на ягодицах светилась такой же яркой белизной, как и трусы, которые она, скомкав, швырнула в кресло.

— Входи! — сказала она, глянув в сторону железной двери.

Дверь тут же открылась, и в сарай вошел Рюмкин. Это был худощавый, длинноволосый, с подвижным острым кадыком студент, который три раза в неделю занимался математикой с Ангелиной и который очень смешил меня и Володю тем, что называл Ангелину, будто мужчину, профессором («профессор сказала», «профессор пообещала», «профессор разрешила мне у вас победать»).

Увидев Рюмкина, Заира нисколько не испугалась. Напротив, с какой-то веселой и злой отвагой она повернулась к нему лицом и, запрокинув вверх подбородок так резко, будто кто-то ее дернул сзади за волосы, проговорила:

— Ну вот, Рюмочка, смотри! Где у меня шерсть?

Рюмкин осторожным движением, каким он это делал всегда, когда собирался во время урока что-нибудь возразить Ангелине, снял свои круглые толстые очки, медленно протащив их вниз по носу, и виновато отвернулся в сторону.

— Я думаю... то есть я совсем не то хотел сказать, когда говорил... — начал он было что-то объяснять Заире.

Но она его не слушала.

— Смотри, смотри! — повторяла она, поворачиваясь на месте — качая руками над головой, словно в танце.

— Я уже посмотрел... мне очень нравится... но только я пошутил, — бормотал Рюмкин, не глядя на Заиру.

— Ах, пошутил?! А я не шучу! — Она сердито, но не сильно шлепнула Рюмкина ладонью по щеке.

И в эту минуту перевернутый ящик из тонких дощечек, на котором я стоял за загородкой, с громким треском проломился под моей ногой. Из сарая Рюмкин успел выскочить прежде, чем Заира, подхватив с пола юбку, воскликнула:

— Кто здесь?

Я молча вышел из своего укрытия. Заира стояла в пыльных янтарных лучах, прикрывая юбкой грудь и согнувшись всем телом так, словно собиралась прыгнуть.

Не зная, что делать, я не двинулся с места.

— Это ты?.. Ты подглядывал! Подглядывал!! Сволочь, шалава! — Взгляд Заиры горел такой ненавистью и злобой, каких я никогда еще не видел в ее глазах — даже в те минуты, когда она ругалась с Лёсиком.

Ноги у меня сделались ватными от страха; мне казалось, что Заира сейчас бросится на меня и задушит своими крепкими темными пальцами в серебряных кольцах. Но вдруг лицо ее переменилось. Какое-то странное выражение — не то умиления, не то озорства — проступило на нем. Она быстро подошла ко мне и села передо мной на корточки, взяв мою голову в ладони.

— Прости меня, ну прости, прости,— произнесла она ласковой скороговоркой.— Знаешь, он меня обидел, этот Рюмкин, обидел! Он сказал, что я противная волосатая ведьма, что у меня везде шерсть, как у нашего латыша, только черная, а у меня нет никакой шерсти, ты видел... видишь... Ты никому не скажешь? — внезапно спросила она, отодвинув назад мою голову, чтоб заглянуть мне в глаза. Я покорно кивнул. Она снова притянула мою голову к своему лицу и еще долго что-то говорила мне, то улыбаясь, то плача, то требуя от меня страшных клятв, которые я произносил монотонно и бесчувственно, потому что чувствовал только одно — как больно вдавливаются ее прохладные кольца в мои горячие уши...

Потом, когда эту историю мне пересказывал Володя (так запальчиво и подробно, как будто он, а не я был ее участником), я охотно верил ему, что в ту минуту, когда Заира сидела передо мной на корточках, я чувствовал и видел очень многое — видел вблизи ее плечи, колени, живот, качающиеся груди, внимательно рассматривал сплюснутые соски в центре больших темно-коричневых кругов, чувствовал какое-то мягкое, ароматное тепло, исходившее от ее шеи... О голой Заире мы обычно говорили с Володей до поздней ночи, радостно свидетельствуя друг перед другом, что шерсти у Заиры нет нигде — только под мышками и там. И это заповедное там, эта вертикальная выпуклая полоска черных волос (короткая полоска, а вовсе не размашистый треугольник, как рисовало грубое воображение Володи), то и дело проникало в мои сны, где Заира, голая и огромная, выше Платовской ротонды, стояла, раскинув ноги, на середине спуска Разина, покрытого льдом, и в то время, как я пролетал по льду на санях под ее ногами, словно под аркой, грозно кричала мне: «Смотри! Смотри!»

Но все это было раньше, до того, как я увидел попадью Анюту, до того, как я влюбился в ее узкое бледное лицо, изуродованное безжалостным шрамом; влюбился в сам этот шрам, который, как мне казалось, возник на ее непобедимо красивом лице не от какого-то будничного несчастья, а силой сказочной злой ворожбы; влюбился в черное полотняное платье, которое скрывало всю ее тонкую высокую фигуру от щиколоток до шеи и которое даже смутно, даже краешком мысли не позволяло воображать никакого там. Мое воображение, за которым бдительно следила душа, возвышенно и нежно тоскующая о попадье Анюте, только тогда и получало свободу и обретало способность рисовать отчетливые картины, когда оно уносилось прочь от всего, что могло скрываться под черным платьем.

Ночами, на террасе, дождавшись той минуты, когда Володя засыпал, думая, что и я уснул под его оживленный говор, я откидывал одеяло и, глядя сквозь крону старого абрикоса на звезды, представлял, что вот попадью

Анюту схватили пираты, вроде тех, что делят сокровища под скалой у берега моря на красочном гобелене, который висит над кроватью в спальне бабушки Анны. Попадья Анюта беспомощно стонет. Пираты заламывают ей руки, рвут на ней платье, надменно хохочут. А один из них, тот, что по пояс голый, в фиолетовых шароварах и красном платке, завязанном на затылке, уже выдернул из-за пояса нож и занес его над лицом попадьи Анюты, чтоб оставить на нем еще один шрам, на другой щеке. Но тут появляюсь я, одетый во что-то черное и очень красивое. У меня в руках пистолеты. «Негодяи!» — кричу я пиратам и тут же стреляю — они падают мертвыми. Попадья Анюта растерянно плачет. Она еще не верит в свое счастливое освобождение. Ее платье разорвано. Она закрывает локтями голые груди. Но я вовсе и не думаю разглядывать ее, как разглядывал в сарае Заиру. Я гордо и благородно смотрю куда-то в сторону и вверх. «Ты хочешь поцеловать меня?» — спрашивает Анюта, глядя на меня с покорной нежностью. «Нет, ничего этого не надо!» — великодушно отвечаю я; на моем лице выражение мужественной грусти... Или все ж таки я целую ее, но не там, под скалой, внутри гобелена, а в какой-то жарко натопленной хижине посреди заснеженных гор, где я спас ее от других злодеев... Или нет: весь израненный и измученный, после долгого боя с бесчестным соперником, который тоже любил попадью Анюту, но был мною убит, я говорю ей: «Прости! Я победил его!» — и устало уезжаю верхом на коне. А она кричит мне вдогонку: «Вернись, вернись! У меня нет никого, кроме тебя!» Попа Васька я, разумеется, не брал в расчет; ему не было места в этих картинах, и он, словно зная об этом, сразу же исчезал из моей головы вместе со своим нелюдимым домом, Александровской церковью, круглой бородкой, перепачканной рясой и подвижными глазами, полными веселого, сверкающего коварства, как только моя фантазия, поставленная на службу печальной и одинокой любви, принималась за свою утешительную работу.

Я засыпал лишь под утро, не замечая, как мои послушные грезы превращаются в своевольные сны, где все происходит совсем не так, как мне хочется, где я убегаю и никак не могу убежать (потому что воздух вокруг меня слишком плотный) от попа Васька, который гонится за мной по улице, возглавляя какую-то недобрую толпу, ощетинившуюся ножами и палками. «В степь его! Выгоняйте в степь! Там он не полетит!» — кричит поп Васёк, и я радостно вспоминаю, что могу полететь. Я машу руками. Плотный воздух уже не мешает мне, а, наоборот, помогает. Я отталкиваюсь от него раскинутыми руками и медленно поднимаюсь вверх; потом переворачиваюсь горизонтально и лечу над толпой вниз лицом. Толпа страшно злится на это чудо, тычет в воздух ножами и палками, но достать до меня уже не может. Я очень высоко. Мне хочется подняться еще выше. Я сильнее машу руками и с ужасом ощущаю, что начинаю падать, — воздух не держит меня. Я падаю все быстрее и быстрее и с нарастающим страхом жду того мига, когда ударюсь о землю. Но вдруг какая-то сила все меняет вокруг — я оказываюсь на чердаке нашего дома и вижу: возле печной трубы стоит попадья Анюта. Она нетерпеливо стучит кулаками в трубу и просит там кого-то: «Пустите меня! Пустите! Спрячьте!» Потом оглядывается на меня и говорит: «Ну что же ты стоишь, помогай мне!» Я подхожу к трубе и тоже стучу. Но мне не хочется, чтоб попадью Анюту пустили туда, и поэтому я стучу тихонько — только делаю вид, что стучу. Она замечает это. «Не так! Не так! Стучи громче!» — выкрикивает она, и голос у нее такой же злой, как у Заиры. И тут я только вижу, что и блузка на ней такая же, как у Заиры, и, кроме блузки, больше нет ничего. Я принимаюсь бить кулаками в трубу изо всех сил, чтобы не смотреть на попадью Анюту, но глаза мои сами поворачиваются к ее голым, белым как мел ногам. И в тот миг, когда я уже должен увидеть, что у нее там, труба с грохотом рушится.

Бум-бум-бум! Там-там-там! — слышу я оглушительные звуки. Но они уже принадлежат утренней, солнечной яви, где Володя катается по террасе на самокате, сильно ударяя в пол ногой, чтоб разбудить меня.

### ЧЕРВА

Все в округе мечтали знать, зачем латыш живет у нас в низах: что он там делает, кроме гимнастики? Но узнать это было невозможно, потому что латыш никого не пускал в свои комнаты — ни молочницу, ни почтальона, ни настырных подружек Майи, которые ночами царапались к нему в окна. И сам выходил редко. В жару вообще не показывался на улице. Зимой гулял охотней. Одевался легко даже в лютый мороз. Шел себе по скрипучему снегу в лакированных тонких туфлях, черных наглаженных брюках с серебряными блестками и коротком пальто поверх белой рубашки, расстегнутой на шерстяной груди, от которой клубами валил лоснящийся пар, пропитанный запахом «Шипра».

— Эй, Екабс! Яйца заморозишь! — кричала ему грубым, охрипшим голосом Олимпиада, закрывая пуховой варежкой простуженный нос.

— Иди ко мне, я тебе их отогрею в ладошках! — пищала, высовывая бледный подбородок из-под шарфа, Майя; она топталась возле нарядных подруг на углу Кавказской и спуска Разина, одетая в громадную шубу и валенки.

— Ты что, дура?! В твоих ладошках они не поместятся! — испуганно и сердито возражала ей Саша, смеясь глазами. — Они же у него вот такие! — Она обхватывала растопыренными пальцами, туго затянутыми в красные кожаные перчатки, невидимый шар величиной с арбуз. — Правда, Екабс?

Екабс на это не обижался. На всякий возглас, обращенный к нему, насмешливый или дружелюбный, он радостно поднимал свои рыжие брови и, вытягивая голову вперед и вниз, словно нырял в дверной проем под притолоку, приветливо махал огромной ладонью возле виска. Обижались на него блядушки. Говорили, что он хоть и веселый, а никого и ничего не любит, кроме своей длинной задницы, которую он по ночам целует, хитро изогнувшись. Но это были только их ядовитые выдумки.

Екабс на самом деле любил очень многое.

Любил ходить на Московскую — центральную улицу города — в ресторан «Южный», где он, по рассказам Заиры, игравшей там на пианино, заказывал много водки, вина, коньяка и разных дорогих блюд, которые все оставлял нетронутыми; тратил весь вечер деньги налево и направо, посылая шампанское всякому, кто его поприветствовал из-за столика; а ближе к полуночи с боем покупал одеколонный автомат — фигурный, похожий на тумбочку ящик с зеркальным фасадом и щелью для монеты, который висел на стене перед гардеробом и шумно выбрызгивал, проглатывая двадцать копеек, порцию одеколона из подвижного железного соска на макушке.

Швейцар и гардеробщик торопливо отключали злополучный автомат, снимали его со стены и, сгибаясь от тяжести, отдавали Екабсу, как только он, исполняя свою угрозу, принимался рвать на мелкие кусочки разноцветные деньги и пускать их по гардеробу, как конфетти. Екабс брал автомат под мышку и очень довольный уходил с ним домой.

Наутро Заира, заспанная, с помятыми волосами, отвозила автомат на тележке назад, в ресторан, и забирала там двести рублей, которые Екабс за него заплатил. Заира не сразу их отдавала латышу; она берегла их до того времени (наступавшего очень скоро), когда денег у латыша не было даже на сигареты, и он, все так же чисто одетый и выбритый, пахнущий одеколоном, подбирал на улице окурки, нисколько не стесняясь прохожих.

Получив от Заиры двести рублей, Екабс тут же исчезал куда-то и пропадал несколько дней. Потом возвращался — уставший, зевающий, с провалившимися щеками, покрытыми колечками рыжих волос, и очень счастливый: все карманы его были полны деньгами. На следующий день, выпавшись, он с радостью, с каким-то неумным азартом раздавал всем долги — иногда вдвойне и втройне; всякому верил с первого слова.

— А вот в позапрошлую среду, голубчик, ты брал у меня еще троячок, — ударяя на слове «еще», ласково выдумывала бабка Манилиха, уже получив один троячок — тоже в счет придуманного долга. И латыш немедленно вручал ей десятку.

Не обделял он и Троню — просил меня или Володю незаметно подсунуть ему в карман железный рубль, хотя Троня не только ничего не давал ему, когда латыш в дни безденежья, резво шагая в красивом переливающимся костюме куда-то в сторону Горбатой улицы, спрашивал у него на ходу три копейки на трамвай, но и еще испуганно злился — трясся, топал ногами и, ковыряя воздух дулей, кричал:

— Вот! Вот тебе, нищенка проклятый!

Любил латыш играть на гитаре, которая казалась маленькой и хрупкой, когда он держал ее в своих огромных, покрытых шерстью руках и осторожно, словно боясь раскрошить ее пальцами, перебирал струны, сидя на широком подоконнике, боком к раскрытому окну, выходящему во двор, в прохладную яму, выложенную ракушечником.

В низы к себе латыш пускал только Лёсика, которого он (единственный в округе) называл не Лёсиком, а Алешей. Лёсик считался хозяином этих комнат, которые бабушка Анна, исполняя какое-то давнее обещание, подарила ему, как только он женился на Заире. Но Лёсик не хотел жить в низах. Он, и женившись, жил по привычке наверху, под боком у Ангелины, в ее сумрачных комнатах, выходивших окнами во двор, а деньги, которые платил ему латыш — «квалтилантские», как он их называл, — беззаботно тратил в парковом павильоне на вино, папиросы и шоколад, уверяя Заиру, что он все «до копеечки собирает и пляшет в надежном месте».

— Это где ж такое место, курва?! В твоих залитых глазах?! Или у шлюх между ног?! — ехидно вышептывала ему Заира.

— Каких глазах? Каких шлюх? — вспрыскивал руками Лёсик — в точности, как Ангелина, когда у нее пригорали пирожки. И тут же бежал в низы, к латышу. Прятался там — лежал на оттоманке, пристроив рядом на полу бутылку вина и стакан и радуясь, что теперь не видит и не слышит Заиру.

— Что, Алеша, опять тебя покусала за сердце твоя змея? — спросил у него как-то раз латыш, сидя на подоконнике и поглядывая с веселым сочувствием на Лёсика, вошедшего в комнату с бутылкой вина и огромной подушкой. Латыш не заметил, что Заира в эту минуту стояла, подбоченясь, прямо над ним — на краю оконной ямы.

Подбородок Заиры затрясся, сжатые губы побелели. По ее сузившимся глазам было видно, что она хотела сказать латышу что-то очень язвительное. Но вместо этого развернулась — так резко, что под ее ногами захрустели камешки, — и быстро пошла в сад. Сидела там в беседке с осохшими, красными от выпланных слез глазами и негромко, сквозь зубы ругалась: «Змея, сволочь! Сам он змея! Кобель рыжий! Не люблю его! Не люблю!»

С той поры Заира затаила обиду на латыша. Не разговаривала с ним, не здоровалась. Не отвозила в ресторан одеколонный автомат. За автоматом теперь приходил швейцар со своей тележкой. Угрюмый, коренастый, жидкой сквозящей бородой похожий на деда Корнея, он долго стоял у ворот и переминался с ноги на ногу, не решаясь открыть калитку.

— Этово, сынок, таво... Сюда... Ага!.. — обрадованно мямлил он, завидев меня сквозь щели в воротах.

Я впускал его во двор и с важностью недоверчивого хозяина, сложив на груди руки, молча провожал к летней кухне, возле которой на перевернутой бочке латыш всегда оставлял автомат. На старика швейцара эта моя притворная важность действовала пугающе.

— Шас-шас-шас, сынок! Шас! — подбадривал он себя виноватой скороговоркой, укладывая автомат на тележку и быстрыми, суетливыми движениями заворачивая его в белую скатерть.

— А деньги кто Екабсу отдаст? — строго спрашивал я у него уже за воротами, подступив к нему вплотную и даже сощурился глазами, как это делала в злобе Заира.

Но за воротами старик не боялся меня.

— Не твоёго ума дело!.. Прочь, прочь! — огрызнулся он.

От старика сильно пахло свежесъевшей водкой в то утро, когда он не стал огрызаться на мое требование вернуть латышу деньги. Ослабив потное, в пунцовых пятнах лицо так, что из-под растянувшихся губ блеснули мокрые розовые десны, он мирно проговорил:

— А на што они ему, эти деньги? Наиграет себе еш-шо!

— Как наиграет? — спокойно спросил я, затаив удивление.

— Как-как... Охвицеров в карты обкромсает — и всё тут!

— А если офицеры у него выиграют, тогда что? — продолжал я рассудительным тоном, делая вид, что говорю об известном мне деле и надеюсь этой хитростью выманить у старика все тайны.

— Да кто ж у ёго выиграет! Он самый наилучший картежник в городе! А можа, и во всёй области! — с гордостью отвечал раздухарившийся старик. — Вчёра, вон, двух майоров из Таганрога так обмухлевал, что те и до се воют на всю гостиницу: ажнок две тыщ-щи за ночь у них оттяпал — пятьсот кровных и полторы казенных! Во!

Так я узнал от швейцара, что латыш — карточный игрок; что он постоянно ходит в гостиницу «Южная», которая над рестораном «Южный», на двух этажах; что там дни и ночи напролет играет в карты на деньги то с заезжими офицерами, то с актерами из театра Комиссаржевской; что в гостинице его называют Екабсом Червой за его красно-рыжую масть и картежную славу; что играет он очень жестоко — не милует ни новичков, ни бывалых; и что нет для него на свете другой радости, кроме карт.

Два майора, две тысячи, карты, гостиница — все это не выходило у меня из головы в тот апрельский день. Весь день украдкой и с жадной пристальностью я всматривался в латыша, стараясь найти в нем что-то новое, необыкновенное — того безжалостного Екабса Черву, который никого не милует и ничему не радуется. И не находил.

Латыш, как обычно, сидел на подоконнике, перебирал струны, курил, улыбался. И вдруг начинал петь. Сам рыжий, он с каким-то особенным волнением, закрывая глаза и мотая головой над гитарой, пел песню про рыжую шалаву:

Для кого ты, стерва, бровь свою подбирила,  
Для кого надела синий свой берет,  
И куда ты, сука, лыжи навострила?  
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Рыжая шалава, от меня не скроешь!  
Ну а если дальше будешь свой берет носить,  
Я тебя не трону, но живьем зарюю,  
Прикажу залить цементом, чтобы не отрыть,—

пел он с отчаянным наслаждением. Но поверить, что сердце его наслаждается тоскующей свирепостью этих слов, обещающих рыжей шалаве лютую казнь, было невозможно, потому что в светло-голубых глазах латыша, когда он их

открывал, чтоб посмотреть из ямы на весеннее небо, сквозившее в ветках старого абрикоса, обсыпанных крупными и редкими цветами, светилось чувство счастья и беззлобного упоения жизнью.

### ПРОРИЦАНИЕ

Бабка Маленькая Махора была на самом деле не маленькой, а такой огромной, что заслоняла туловищем почти весь свой дом, возле которого сидела на лавке целыми днями. Деревянный, выкрашенный ярко-синей краской дом ее стоял на Аксайской улице в конце спуска Разина. Спуск упирался в эту улицу, прямо в дом бабки Махоры, в бабку Махору, которая даже с вершины спуска, от Александровской церкви, была хорошо видна. Зимой и летом она сидела перед домом в высоких бурках и громадном тулупе — то крепко спала, то дымила трубкой, всегда торчавшей у нее во рту.

Иногда к бабке Махоре приезжал на коне откуда-то из-за Аксая цыган. Конь казался маленькой собачонкой рядом с ней; он стоял возле бабки Махоры и, наклонив вытянутую голову, осторожно щипал траву под ее ногами. А цыган тем временем вытаскивал из-за мягких голенищ ее бурок, засовывая туда руку до самой шеи, разные деньги — бумажные, железные, — которые ей опускали в бурки за то, что она разгадывала сны, открывала всякие тайны, гадала на картах, лечила кур, гусей и старух, что-то нашептывая над ними. Цыган был сыном Маленькой Махоры, которая тоже была цыганкой, но с цыганами в степи она никогда не жила. Не жила она и в доме, в котором, наверное, и не поместилась бы. Ее мочил дождь, обдувал ветер; зимой, вся засыпанная приглаженным снегом, она была похожа на огромный сугроб, взбухший под домом после свирепой метели.

Я всегда смотрел на Маленькую Махору издали — боялся к ней приблизиться. Меня пугало в ней все — ее черные с проседью космы, свисавшие на тулуп, по которому летом ползали бабочки и гусеницы, белки ее полусонных коричневых глаз, подернутые мутной синевою, подвижные ноздри, шумно выпускавшие наружу клубы табачного дыма, которые в безветренную погоду еще долго висели плоскими сизыми облаками возле ее верхней губы, покрытой глубокими вертикальными трещинами и морщинами.

Ни за что на свете я не решился бы заговорить с Маленькой Махорой. Но разговаривать с ней мне пришлось.

Это случилось в самый разгар моей несчастной любви к попадье Анюте, когда каждое утро я просыпался с мыслью, что сегодня обязательно увижу ее и даже скажу, что люблю. Но напрасно я караулил ее возле верхней колонки, что стояла в начале спуска Разина, недалеко от церкви: за водой с двумя ведрами на коромысле выходил поп Васёк. Напрасно кидал камешки в деревянные ставни, когда попадьа Анюта оставалась дома одна: дом, скрывавший ее в своих толстых стенах, терпеливо молчал, не отзываясь ни единым скрипом, ни единым звуком. Снова и снова я оказывался возле этого дома, потому что не находил себе никакого другого занятия, как часами смотреть на него, просунув голову между прутьев церковной ограды. Я перестал играть в айданы, забыл о марках, забросил рыбок, которые теперь плавали в мутно-зеленой воде, обьедая грязь со стенок аквариума и иногда всплывая вверх животами. По ночам я уже не грезил, а просто плакал от отчаяния, что рядом со мной нет попадьи Анюты. Моя любовь, к которой поначалу лишь осторожно примешивалось чувство легкой и светлой тоски, превратилась теперь в сплошную тоску, от которой не было никакого спасения. Все чаще и чаще я слышал, как Ната говорит бабушке Анне, что я плохо ем, плохо сплю и, наверное, заболел чахоткой. «Как наш папа», — шептала она, пугая бабушку Анну, и без того боявшуюся самого этого слова *чахотка*, которым называлась

болезнь *папы* — того худощавого, с плеткой в руке и гордо-злыми глазами на скуластом лице, невысокого человека в погонах и португеех, которого я видел только на фотографии и о котором бабушка Анна говорила, что он *есаул* и мой прадед.

Меня теперь утешало только одно — та мрачная радость, с которой я думал о том, что заболею *есаульской чахоткой* и умру. И вот тогда, думал я, попадья Анюта узнает — ей расскажет об этом мой верный друг Родя, — как я сильно любил и как мучился из-за нее.

— Ну почему, почему Васёк ее прячет? Почему она не выходит на улицу? Когда я увижу ее? — хмуро спрашивал я у Родю.

Родя на это пожимал плечами и предлагал мне пойти на Аксай, переплыть на другую сторону и спрятаться там в заброшенном ржавом катере, чтобы увидеть оттуда, из круглого окошка, затянутого крепкой паутиной, как загорает голый на песчаной ребристой прогалине в камышах сестра Енота.

— Спроси про свою Анюту у Маленькой Махоры, — посоветовал мне однажды Родя. — Она всё знает. Только деньги не забудь — без денег не подходи к ней.

— Почему?

— Она на тебя наступит ногой и раздавит. Или прикажет цыганам, чтобы они тебя украли и увезли в степь. Будешь у них танцевать по ночам и сапоги им чистить. Понял?

— А много ей надо денег? — спросил я.

— Не знаю. Много, — брякнул Родя. — Телескоп вон продай Еноту.

В тот же день я отправился искать Енота, самого жадного и хитрого меняльщика в округе. Как и Маленькая Махора, он жил на Аксайской улице. Но найти его там было почти невозможно. «Гайдает гдей-то!» — отвечал в любое время его одноглазый дед, беспрестанно чинивший ставни на окнах.

К полудню я уже ненавидел эту сонную и безлюдную Аксайскую улицу, чьи дряхлые домики — все, казалось, лежавшие на стенах от страха свалиться вниз, — кое-как лепились к крутому склону холма, там, где склон, выказывая желтый сыпучий ракушечник, завершался расщелинами и обрывами. Я спускался в эти расщелины по узким тропинкам, выводившим к берегам Аксяя, заглядывал в полузаброшенные сарайчики на задних дворах, излазил тесные, заросшие кустами проулки между дворами. Енота я нашел только вечером на дне глубокой балки, где он бесцельно палил костер. По моим свежим царапинам, запыленным сандалиям и частому дыханию Енот тут же понял, как долго и упорно я его искал. Он даже не глянул на телескоп, который я держал в руках, гудевших от неотлучной тяжести. Когда же я сказал, что продаю его, Енот изобразил на лице такое угрюмое равнодушие, как если бы речь шла о дымящейся головешке, которую я только что подобрал с земли... Главную драгоценность в округе я продал всего лишь за три рубля! Больше Енот не давал, как я его ни упрашивал.

Выбравшись из балки, я пошел по Аксайской улице прямо к бабке Махоре, зажав в кулаке эти три рубля одной истертой бумажкой, добытые с таким трудом и с такими жертвами. Прощай, Луна в узорчатых серых пятнах! Прощай, Венера, сияющая бирюзовой бусиной в центре дрожащего темного круга!

— Дурень чертов! Гэтъ отсюда! — вот и все, что я услышал от Маленькой Махоры, когда, приблизившись к ней, показал на ладони деньги и спросил отстраненно, как у каменного изваяния, полюбит ли меня попадья Анюта и скоро ли я увижу ее.

На следующий день, ранним утром, когда я понуро шел вниз по спуску Разина к Аксайской улице с альбомом марок под мышкой и полными карманами айданов, чтобы выменять у Енота назад телескоп, Маленькая Махора еще издали поманила меня к себе рукой. Я подбежал к ней.

— Анюту любишь?.. Зимой ее увидишь! На санках с ней полетишь, у-у-ух! — сказала Махора и захохотала, затряслась так, что с ее тулупа посыпались на землю сонные бабочки...

Зимой меня уже не мучила моя любовь. Я даже не вспоминал о попадье Анюте. Я радовался снегу, морозам, пьянящему жару от высокой выбеленной печи, возле которой бабушка Анна сажала меня на крохотную скамейку, когда я приходил с горы, чтобы передохнуть, съесть пирожок, обжигающий небо распаренной курагой, взять на заслонке сухие, окостеневшие варежки и снова бежать с санями на гору, к Александровской церкви.

Снежными январями на горе уже после обеда было шумно и тесно. А ближе к вечеру на вершине спуска Разина, у церковной ограды, в подвижной взвизгивающей толпе, из которой то и дело кто-нибудь вырывался и летел на санях вниз по плотному снегу, местами раскатанному в чернеющий лед, можно было встретить обитателей всех окрестных улиц и переулков. Тут был и Енот, который летом не расставался с Аксайской улицей, и его старшая сестра, долговязая сутулая студентка, которую называли по прозвищу братца Енотихой. Она была старше Енота на десять лет — ровно на столько, сколько было самому Еноту, но он почему-то злобно командовал ею: «Пальто застегни, сучка!», «Рейтузы подтяни, мокрощелка!» — выдергивая при каждом слове вперед свое крохотное заостренное личико в грязных подтеках; были тут и лихие Володиные друзья Паша Черемухин и Федот Мокрогубов — *Черемуха* и *Мокрогуб*, — они бесстрашно катались в полный рост на ногах, гикая на ходу и куря сигареты, брызгавшие алыми искрами; были Саша и Олимпиада, которые то и дело подсаживались сзади на чьи-нибудь санки и, растопырив ноги, обтянутые длинными сапогами, неслись в сверкающем облаке снежной пыли с пронзительным визгом и задорной руганью, сыпавшейся на голову переднего седока: «Сука! Пацан! Куда рулишь, собачонок? Жопу мне отобьешь!»; были Тоня и немой Фирс, молча и с суровой важностью каких-то упорных работников ездившие по спуску вдвоем на громяющем листе железа; были маниловские близняшки — обе одинаково растрепанные, раскрасневшиеся от жаркого веселья на морозе. Было множество знакомых и полужнакомых лиц.

Зимние торопливые сумерки быстро меняли окраску морозного воздуха; сначала янтарный, он вдруг становился розовым, потом зеленоватым, всё в нем казалось тонким, непрочным, исчезающим, таким же, как белесый полупрозрачный месяц, висевший в пустых небесах завитком дыма. Но уже в следующую минуту небеса окроплялись ранними мелкими звездами и в густой предночной синеве отчетливо вырисовывались темные ветки деревьев, антенны и трубы на заснеженных крышах; ярко проступали выбеленные колонны Максимовской ротонды и вспыхивали округлые макушки обочных сугробов, посеребренные бледным светом из мутно сияющих, заиндевших окон. Катание в это время было в самом разгаре.

В такое время и вышла однажды с пустым ведром из-за церковной ограды попадья Анюта. Я увидел ее как раз в ту минуту, когда поравнялся с верхней колонкой, поднимаясь с санями в гору. Наклонив голову, Анюта шла мне навстречу мелкими торопливыми шагами. Она была в белом пуховом платке; из-под серого кроличьего полушубка на темно-зеленые ботинки с медными пряжками спускалось то же самое — черное, узкое — платье, в котором я видел ее летом. Знакомый шрам, множество раз возникавший в моих грезах, мертвенно белел на ее зарумянившейся от мороза щеке. Мое сердце застучало дробно и гулко; оно провалилось в какую-то бездонную яму, когда Анюта, приблизившись ко мне, вопросительно взглянула на меня: я стоял на ее пути, прямо на узкой дорожке, посыпанной угольной жужелицей, не в силах сдвинуться с места.

— Посторонись,— сказала она, подождав немного и пощупав кончиком ботинка лед за кромкой дорожки.

Но, вместо того, чтоб посторониться, я с неожиданной для себя решительностью быстро произнес слова, которые за мгновение до этого и не думал произносить:

— Я тебя знаю, ты Анюта, жена попа Васька.

— Не попа Васька, а отца Василия,— спокойно поправила она. И тут же улыбнулась, засмеялась.— И не жена вовсе.

— А кто?

— Много ты хочешь знать, мальчик. Пусти...

— Не пущу. Говори — кто?

— Ой, какой злой выискался! — усмехнулась Анюта и поставила рядом с дорожкой на лед звякнувшее ведро.— А вот ты Алексею Мироновичу — кто?

— Какому Алексею Миро... Лёсику, что ли? Племянник.

— И я племянница отцу Василию... Санки у тебя красивые,— вдруг добавила она без всякой связи.

— Ага,— самодовольно подтвердил я.

Сани у меня были действительно не такие, как у всех в округе,— не железные и низкие с разноцветными рейками, а деревянные, высокие, с деревянными же круто загнутыми полозьями. Их привез из Латвии Екабс и подарил мне вместе с мазью, которой я натирал полозья. Никто не мог обогнать меня на горе. Мои сани скользили легко и бесшумно — так, что я слышал за спиной только шуршание снежного вихря, поднятого ими.

— Хочешь прокатиться? — спросил я.

Анюта пожала плечами.

— В Махору боишься врезаться? — догадался я.

— Боюсь,— кивнула Анюта.

— Не бойся, поедем вместе. Я буду рулить.

Мы поднялись с ней к церкви на утоптанную снежную площадку. Я установил сани. Анюта, высоко подобрав подол платья, села на них верхом. Я устроился впереди, раздвинув спиной ее колени, обтянутые коричневыми ребристыми чулками. Кто-то из толпы подтолкнул нас. Как только сани нырнули с площадки на раскатанный лед, Анюта вскрикнула и крепко обхватила меня руками.

Сани не сразу набрали привычную скорость. Но, когда мы пролетели первый перекресток — спуска Разина и Архангельской улицы,— мне уже казалось, что я никогда в жизни не мчался с горы так быстро. Я задыхался от радости и волнения. Внутри меня то проваливался в живот, то поднимался к ключицам какой-то мягкий, сладостно-подвижный ком; в лицо впились снежные искры; разрозненные огни в окнах по обе стороны спуска сливались от скорости в сплошные сияющие гирлянды. Мы мчались все быстрее и быстрее. Но до конца горы было еще далеко.

Мы еще не пересекли Кавказскую и только приближались к ротондам, где в моих летних, полузабытых снах стояла, раскинув ноги (сама выше ротонд), голая Заира, когда мне захотелось убедиться, что *теперь* я не сплю, что мне *не снится*, будто я качусь на снях с Анютой, что вот она — рядом, здесь, за моей спиной! Я обернулся, чтобы увидеть ее лицо, и в тот же миг почувствовал, понял запоздало, как понимают во сне, что целую ее, целую в губы, ощущая губами твердый холодный желобок ее шрама... Этот нечаянный поцелуй длился, как мне казалось, одно короткое мгновение. Но, когда я глянул вперед, я увидел, что мы давно уже пролетели и ротонды, и Кавказскую улицу, и то место напротив дома немого Фирса, где нужно было затормозить и свернуть в боковой сугроб, чтобы не врезаться в бабку Махору. Мы неслись прямо на нее... Я не сразу почувствовал стеклянно-режущую

боль, протянувшуюся от ступни до колена в правой ноге, которую я выставил, чтобы развернуть сани. Снова я думал с той особенной отстраненностью от совершающегося события, какую мысль обретает во сне. Думал о том, как нелепо и беспомощно мы выглядим сейчас с Анютой — летим, кувыркаемся, бьемся о снежные кочки и друг о друга, а где-то над нами летят и кувыркаются в воздухе сани, развернувшиеся и перевернувшиеся вместе с седоками...

Боль я почувствовал только тогда, когда всякое движение прекратилось, когда мы с Анютой лежали под ногами бабки Махоры, ударившись об ее громадные бурки, с которых на нас осыпался снег. Мы лежали рядом и смотрели в небо. Вокруг было удивительно тихо и ясно от ночного высокого месяца. Бабка Махора молчала. Она даже не шевельнулась. Она крепко спала.



Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

---

## М а т е р и я   с т и х а

\* \* \*

Две руки, как две реки,  
так ребенка обнимают,  
словно бы в него впадают.  
Очертания легки.

Лишь склоненность головы  
над припухлостью младенца —  
розовеет остров тельца  
в складках темной синевы.

В детских ручках виноград,  
миг себя сиюминутней,  
два фруктовых среза — лютни  
золотистых ангелят.

Утро раннее двоих  
флорентийское находит,  
виноград еще не бродит  
уксусом у губ Твоих.

Живописец, ты мне друг?  
Не отнимешь винограда? —  
И со дна всплывает взгляда  
испытующий испуг.

### *Святой Иосиф*

Он пытается, но никогда не может  
вообразить родителей, занимающихся любовью,  
а тем более его зачинающих.  
(Даже лексика лицемерна.)  
Раньше не было этой  
странной мысли, точней, попытки.  
Раньше к ним это не относилось.  
А теперь они умерли, и не представить подавно.  
Оттого и ангел (который есть сокровенность)  
крылат,  
что бескрыло воображенье,  
когда ты свят.  
Он глядит на жену  
и думает вдруг, что если  
это они сотворили младенца,

то грядущая его смерть —  
их вина.  
И тогда ангел вплотную подходит к нему,  
чтобы святость не обратилась в бегство,  
и говорит: «Не ты».

### *Мария Магдалина*

Вот она идет — вся выпуклая,  
крашенная, а сама прямая,  
груди высоко несет, как выпекла, и  
нехотя так, искоса глядит, и прная.

Всё ее захочет, даже изгородь  
или столб фонарный, мы подростками  
за деревьями стоймя стоим, на исповедь  
пригодится похоть с мокрыми отростками.

Платье к бедрам липнет — что ни шаг ее.  
Шепелявая старуха, шаркая,  
из дому напротив выйдет, шавкою  
взбеленится, «Сука,— шамкнет,— сука жаркая!»

Много я не видел, но десятка два  
видел, под ее порою окнами  
ночью прячась, я рыдал от сладкого  
шепота их, стона, счастья потного.

Вот чего не помню — осуждения.  
Только взрослый в зависти обрушится  
на другого, потому что где не я,  
думает, там мерзость обнаружится.

В ней любовь была. Но как-то страннику  
говорит: «Пойдем. Чем здесь ворочаться —  
лучше дома. Я люблю тебя. А раненько  
поутру уйдешь, хоть не захочется».

Я не понял слов его, мол, опыту  
не дано любовь узнать — дано проточному  
воздуху, а ты, мол, в землю вкопана  
не любовью — жалостью к непрочному.

А потом она исчезла. Господи,  
да и мы на все четыре стороны  
разбрелись, на все четыре стороны,  
и ни исповеди, ни любви, ни жалости.

\* \* \*

Увижу библию песка до горизонта,  
в удушие шпалы креозота,  
зеленого солдата гарнизона —  
лакает молоко и сдобу с маком  
жрет, шмыгая, под Мангышлаком.

Увижу: кочегар выносит шлак  
в горячих ведрах —  
откос, его рифленый шаг  
и майка блеклая на ребрах.

Навеки стой, солдат, и прижимай к груди,  
давясь, продолговато-белое,  
и в сапогах несоразмерных так иди,  
мгновенный кочегар. Вы мозг. Вы целое.

Будь, воздух голубей,  
испуганно взметенных,  
еще гораздо голубей.  
Я слышу развлеченья крик: «Убей!» —  
и ловят их, с ума сведенных.

Гори, песок, гори, песок проезжий,  
пусть жажда разевает рот,  
скрежещет тамбур, в законной бреши  
сын стрелочницы, рахитичный, рыжий,  
глаза, два кулачка зажмутив, трет.

О, если у состава есть сустав,  
он, перебитый, крикнет: «Кокчетав!»  
Есть имена — не имена, а натиск.  
В палящем солнце есть Семипалатинск.

Есть рабский труд и два карьера глаз,  
две достоевских впадины добычи  
страдания, цепей оскал и лязг,  
впряженный труд в виски и скулы бычий.

Есть Гурьев, Астрахань, дизентерия.  
Больница на отшибе в засухе.  
Есть у цыганки жизнь за пазухой.  
Корми, кормящая. Ты навсегда Мария.

Странней, зернистая страница, азбукой.

\* \* \*

На что мой взгляд ни упадет,  
то станет в мир впечатлено.  
Отечный свет аптек придет  
из переулочных темно.

За ним туманный гомон бань,  
где пухнет матовая мгла  
и в гардеробе горбит брань  
худую спину из горла.

За ним убожество больниц,  
где выдыхают жизнь плашмя,  
или иконы бледных лиц  
глядят, как мать сидит кормя.

Пусть известковых стен подъезд  
и подворотни грубый грот  
дырявят плоскость этих мест —  
на черный день есть черный ход

и есть материя стиха,  
когда выныриваешь вдруг  
на ленинградские снега.  
Бери. Они из первых рук.

\* \* \*

Знаешь ли, откуда это синее,  
синевеющее и растертое  
подмастерьями фламандцев в будущем,  
кобальтовое, сиреневое?  
Знаешь ли, откуда небо вынуто,  
почему ни в чем не виновато?  
Из одной, потом другой души оно  
состоит, а та, вдвойне лазурная,  
тишина —  
там Лазарь умер дважды.

\* \* \*

Тук-тук-тук, молоток-молоточек,  
чья-то белая держит платок,  
кровь из трех кровоточащих точек  
разматывает его, как моток,

тук-тук-тук входит в слабую мякоть  
неохотно, а в брус с вкусоной,  
кошке кошкать, собаке собакать,  
высоте восставать высотой,

чей-то профиль горит в капюшоне,  
под ребром, чуть колеблясь, копье  
застывает в заколотом стане,  
и чернеет на бедрах тряпье,

жизнь уходит, в себя удаляясь,  
и, вертясь, как в воронке, за ней  
исчезает, вином утоляясь,  
многоротое полчище дней,

только что еще конская грива  
развевалась, на солнце блестя,  
а теперь и она некрасива,  
праздник кончен, тоскует дитя.

### *Распятие*

Это воля собиранья.  
Я сожму пространство, росы  
уронив в тысячегранник,  
из земли растущий косо.

Воздух медленных энергий  
я ускорю, чтоб ответил  
из оконных пересверкй  
на мерцанье капель, светел.

Что еще так может длиться,  
ни на чём держась, держаться?  
Тела кровная теплица,  
я хотел тебя дождаться,

чтоб теперь, когда устало  
ты и мышцею не двинуть,  
мне безмерных сил достало  
самого себя покинуть.



# Эти двери не для всех

## *Печали Полетаева*

«И если бы я служил в том батальоне, я бы радовался и гордился. Но я не служу в том батальоне. Я всего лишь второразрядный полицейский, прикидывающийся третьеразрядным журналистом...»

*Хемингуэй. Пятая колонна*

— Ты, Боря, прекрати себя изводить, — сказал Вацек. Он уже не в первый раз это сказал. Он шел за Полетаевым от Никитских ворот. Шел и бубнил.

А Полетаев зачем-то вспоминал определение резонанса из школьного курса физики — что-то вроде резкого увеличения амплитуды колебаний при совпадении частоты внешних воздействий. С Полетаевым происходил явный резонанс, попросту говоря, несколько неприятностей одновременно.

Вацеку хотелось подбодрить приятеля и в то же время побыстрее от него отделаться. Вацек куда-то спешил.

Они шли по Тверскому, собирался дождик. Вацек озабоченно посмотрел на небо и поднял воротник плаща.

— Тебе надо перейти к Аландарову.

— Вацек, отстань...

— Почему сразу — отстань? — бодро сказал Вацек. — Забери свою тему и уходи к Аландарову. Он тебя со всей душой возьмет. Только для того, чтобы нагадить Штюрмеру, возьмет. И, кроме этого, у него сто резонов тебя взять. Ну хорошо, пусть не взять! Не цепляйся к словам! Ты в Институте велик, Аландаров тоже велик... Почему при этих обстоятельствах двум благородным донам не договориться?

«Чего он за мной увязался? — досадливо подумал Полетаев. — А на совете молчал...»

Час назад на ученом совете Багатурия и Штюрмер насели на Полетаева все-рез. Они часто топтали кого-нибудь, а сегодня насели на Полетаева. Не так чтобы по настоящему, «по-взрослому» — все-таки Полетаев был наособь, за ним высилась фигура Кишкюнаса, очень значительная для Института фигура. Штюрмер с Полетаевым вел себя осторожно. Но Багатурия сегодня разговаривал нагло. А Багатурия почти ничего не делал без распоряжения Штюрмера. И все это было плохим признаком — признаком того, что Полетаев перестал быть «священной коровой».

— Ладно, Вацек, — сказал Полетаев. — Все хорошо. Класть я на них хотел. Успокойся.

На Пушкинской площади они пожали друг другу руки. Вацек остановил такси, грузно уселся, подбирая полы длинного плаща.

Полетаев спустился в подземный переход.

Машину утром забрала Вера.

Полетаев подумал, что можно было бы пройтись пешком до Сретенки и побыть одному на полчаса больше.

«В прошлой жизни, — думал Полетаев, лавируя между прохожими, — я был страховой агент Лопес или контрабандист Гомес... Я жил в Порт-о-Пренсе. Меня звали Янаки-Ставраки-Папасатырос... Я жил в Касабланке и в Маракеше... А здесь я не жил... И сейчас не хочу под этим дождичком гнусным...»

Короче говоря, Полетаеву не хотелось идти домой.

Это рано или поздно случается со многими женатыми мужиками, случается по-разному, а что до Полетаева — так это был просто «коньяк с легендой».

«Итак, начнем, благословясь...»

«Знаешь, — как-то сказала Верка, — я ведь никогда не ждала от тебя подвигов (ну не дура?). И достатка особого не ждала. Но ты бы как-то соответствовал своим первичным половым признакам, супруг...»

Полетаев почти никогда с ней не спорил. Если спорил — то вполголоса, по вопросам бытовым и сиюминутным. Не нужны были Вере пресловутые гвозди, которые настоящий мужик вбивает в стену, и изысканные словеса ей не были нужны. А к постели она, кажется, остыла после тяжелой беременности и череды дочкиных младенческих болезней. Но какая-то заноза в голове у Веры была.

«Боря, есть законы природы. Можно эти законы толковать так, можно этак... Но игнорировать их смешно. Ну да, я не хрупкая, не блоковская, в койке не верещу... Однако есть вещи, без которых мужчине с женщиной не ужиться. Понимаешь, надо, чтоб мужик чего-то очень хотел. Все деньги я заработаю сама. И черт с ней, с твоей карьерой... Я хочу чувствовать твой темперамент. У моего мужчины должен быть характер».

А тут еще Катя, дочка... Первую, видимую пуповину пересекли в роддоме. Осталась невидимая. Катя чувствовала Веру кожей, могла переговариваться с Верой малопонятными посторонним междометиями, движениями бровей. Когда Кате было девять лет, Полетаев случайно поймал дочкин скучающий взгляд и вздрогнул. Дочери не должны так смотреть на отцов. Дети вообще не должны так смотреть. Да это и не Катя тогда взглянула на Полетаева, а Вера. Взглянула своими глазами и через ту чертову пуповину управляла мимикой Кати.

«Беги ты оттуда...» — грустно сказала мама.

Мама убежденно не любила Веру все годы полетаевского брака.

«У Рассела есть рассказ “Мы с моей тенью”, — сказал Вацек. — Помнишь?»

Вацек с Полетаевым тогда сидели в пивной на Пречистенке. (Холостой Вацек уже собирался, а женатый Полетаев все не спешил.) Он тогда огрызнулся и сказал Вацеку, чтобы тот не умничал — у Рассела толстухе с невостребованным пылом нужен был «орел комнатный». Вере, кажется, требовался орел очевидный.

«Ты не обижайся, — осторожно сказал Садовников, — может, она дура?»

Может, и дура... Всякие бывают дуры. Бывают, наверное, и такие. И голоса она не повысит, и хороший вкус, и к Заболоцкому у нее пристрастие настоящее, искреннее, не манерное, и все при ней. Но дура... Да, может быть.

«А что ты наплел про ранение?» — деловито спросил Садовников.

«Ничего».

«Совсем ничего?»

«Совсем».

«Не понимаю... Ты же лежал в Бурденко, Боря... В конце концов тебя дома не было две недели... Слушай, а она вообще знает, что ты занят в Управлении?»

«Не знает».

«А вот это непорядок, — сухо сказал Садовников. — Совсем непорядок. Боря, есть правила... Порешай этот вопрос. Или я тебя отчислю».

«Куда ты меня отчислишь?» — тоскливо спросил Полетаев.

Он вошел в свою квартиру и прислушался — нет, дома никого не было. Повесил куртку, снял ботинки и прошел на кухню. Включил телевизор и уже собирался сделать себе бутерброд с саями (Вера по утрам ела фруктовые салаты, Катя тоже, на его еду они смотрели, как на таранула) и налить свежего пива в высокий прозрачный бокал. Чтобы бокал мгновенно запотел, а он, Полетаев, сделал большой глоток, а потом — глоток поменьше... Но тут он увидел, что у телефона помигивает красная кнопка, и включил автоответчик.

— Борис, — сказала Вера, — будь другом — забери Катюшу. Я не успеваю. Я еще позвоню.

Дочка занималась в театральной студии во Дворце молодежи на «Фрунзенской», репетиции у нее заканчивались в семь.

Полетаев посмотрел на часы — без четверти шесть. Он успеет выпить пива и съесть бутерброд.

«Как назывался тот фильм?.. “La totale”! Точно!.. Итак, я герой, а она думает, что я ватный. А на самом деле я герой. Герой, голова с дырой... И нога с дырой...»

Фильм «La totale» они с Верой смотрели в кинотеатре «Спорт» тринадцать, наверное, лет тому назад. Главный персонаж был штурмовиком «GIGN». А жена думала, что он телефонист.

Полетаев с Садовниковым в то время были просто приятели. В кинотеатре «Спорт» Полетаев с Верой съели водянистый пломбир в никелированных вазочках, в зале держались за руки и, поворачиваясь друг к другу, смеялись.

«Вацек зануда. Но романтик! Он всегда считал, что мэнэс с автоматом — это красиво и правильно. И Садовников тоже романтик. Служака, орел, но романтик. Этот считает, что ранения в бедро и касательное в шею (притом, что второе, кажется, от своих) для интеллигента в четвертом поколении, для меня то есть, тоже нормальны и входят в профессию... Ох, не люблю я романтиков... “Романтика, романтика — нехитрая грамматика...” Никогда не стал бы рассчитывать на романтика. Романтика начинается с хороших книг и горящих глаз, а кончается тем, что убивают самых лучших. И в “Берте” тогда тоже — куда ни плюнь, попадешь в романтика. Сто шестьдесят романтиков: филфак, журфак, физтех. Альпинисты, каэспэшники, салат в головах — дон Румата, Роберт Джордан, “свободные люди в свободной стране”, “...да поможет нам меч, ибо щит нам уже не поможет...”. Всякое такое... Половину положили тогда в Очакове... Городецкий вывозил на вертолетах все, что от “Берты” осталось, трупы тоже вывозил. Кто теперь разберет, почему так получилось? Перемирие и тишина, но вдруг тяжелый, совсем, как в первые месяцы, бой в Очакове. Курсанты, таманцы, чуть ли не морская пехота... Все вперемешку. А ведь уже есть приказ Штаба на отход и расформирование, но в “Берте” об этом ничего не знают. И армия присягнула парламенту, армейцев отзывают за Садовое кольцо, но таманцы тоже ничего не знают. Все знают, а они не знают!.. Городецкий тоже был романтик. Рассудочный романтик. Он не поверил заверениям штабистов, он прямо на заседании Штаба вытребовал три вертолета и бросился в Очаково к своему батальону. А батальон уже перемололи в труху... А после — та мутная история с самим Городецким: по всей Москве перемирие и тишина, но вдруг рейд на

Щербаковке обстрелял “уазик” со Славой Городецким, и Слава умер в двадцать девятой больнице. Где тут, скажите, место романтике?»

По результатам переговоров в Тушине Слава и трое взводных из «Берты» — а «Берта» была видным батальоном, заслуг за «Бертой» было много — должны были войти в серьезную парламентскую комиссию. Комиссия та должна была заняться выяснением всяких интересных вопросов: с чего это вдруг у больших армейцев шале в Завидове, куда уходил семтекс со складов московского округа, как так получилось, что в «тихом» районе, где много детских летних лагерей и где, по негласной договоренности, не воевали, были разгромлены и сожжены со всей, естественно, документацией и «винчестерами» три, непонятно чьих, таможенных терминала?..

«В моей бездарной стране кровавая мерзость стала тоскливо привычной...» — так говорил Славка Городецкий...

И еще много чего та комиссия должна была узнать. Может, все совпадение? Только говенное какое-то совпадение...

Полетаев положил в карман сигареты и вышел из квартиры. Он спустился по лестнице, прошел через двор и, не торопясь, побрел к Сухаревке. Заморосило, и Полетаев до подбородка поднял «молнию» летной кожанки. Вера изредка напоминала ему: купи зонт. Полетаев туманно отвечал: «Руки должны быть свободны...»

Он подумал, что придется подождать в необъятном вестибюле, пока Катя выйдет. Однажды он зашел в раздевалку, чтобы поторопить Катю. Ни одна из бесштаных пигалиц на него внимания не обратила. А Катя спустя полчаса, уже в метро, затвердела личиком и выговорила ему: это никакая не раздевалка, это грим-уборная, туда нельзя входить, когда хочешь, пусть ты сто раз папа, но это ты ей, Кате, папа, остальным-то ты не папа! Он только развел руками и с тех пор терпеливо ждал в вестибюле.

«Или мои пули... В бедро и в шею. Ну козлы же... Жирные, самодовольные козлы! Приперлись во Внуково — жопастые, уверенные... Прямо из-за стола. Торжество у них, ихнее гэбэшное торжество. Аж восемьдесят пять лет чеке. Юбилей. Празднуют юбилей чеки... Может, они и холокост празднуют?.. Рыцари, мать их, без страха и укропа... Отодвинули Садовникова — сами станем командовать, знаем, как... Накомандовали, мрази».

Он еще представил, как Катя притворится, что не заметила протянутой ей руки, когда они пойдут к метро. Прежде Полетаев, не глядя, отводил руку, и Катина ладошка сразу оказывалась в его ладони.

«Что на репетиции?» — спросит Полетаев.

А Катя возьмет да ответит: «Долго рассказывать».

Хоть ты ее лупи после этого.

Это она так ему однажды сказала: «Хоть ты меня лупи!»

А он ее шлепнул-то раза два за всю ее жизнь.

А во Внукове он мог договориться. Еще не начал, но мог. Уже чувствовал, что тут можно договориться. Хотя опекаемые — они уже по-настоящему испугались — бились в истерике, то и дело начинали орать, по десятому разу обыскивать. Но они еще не тронули никого, только избили двух грузчиков и толстухе в коричневом пальто, которая стала выть и визжать, досталась затрещина. Но они не стреляли. Они уложили заложников на пол и орали на Полетаева. Старика в дождевике и молодого парня в джинсовой куртке они убили, когда начался штурм. А пока они столпились вокруг Полетаева. Они надеялись договориться — он же видел. Вдруг ему просигналили «домой», и сразу же заработали стрелки — суматошно, часто...

Раздражаться он не умел (Вера считала, что ленился). Да и нелепо было раздражаться, когда Катя отвечала: «Долго рассказывать...» или «А тебе за-

чем? ..». Это ведь не дочка так говорила, а Вера. Вера на расстоянии тем же мистическим образом управляла Катиным языком, Катиной мимикой. А Полетаев, должно быть, и вправду был ленив. Может быть, даже именно на это его свойство Вера много лет назад и поймалась. Но она себе в этом отчета не отдавала, она вообще представить себе не могла, что могут существовать явления и свойства людей, ей непонятные.

Тогда же, много лет назад, юный Полетаев любил говорить юному Садовникову: «Человечество любит тех, кто любит человечество!»

«Ого! Какой ты умный!» — восхищенно отвечал Садовников.

Садовников в ту пору словесной гимнастики чурался, он ее и после не очень-то жаловал. Он оканчивал училище погранвойск и ценил всякую минуту яркого незамысловатого бытия. В нечастые увольнения спешил успеть ВСЕ. Пойти в театр, переспать с женщиной — красивой, нежной, интеллигентной, верной (нужное подчеркнуть), выпить с душой под вкусную еду и сыграть в шахматы с Борей Полетаевым, человеком хорошим, хоть и штатским.

Юный Полетаев добродушно посмеивался:

Терпеть я штатских не могу и называю их шпаками.  
И даже бабушка моя их бьет по морде башмаками.  
Зато военных я люблю — они такие, право, хваты,  
Что даже бабушка моя пошла охотно бы в солдаты!

«Нет, ты все-таки мудришь...» — благодушно отвечал Садовников и влек Полетаева к порокам.

А у Полетаева было такое спасительное свойство — он не очень интересовался теми, кто не интересовался им. Свойство уберегло его от нервических любовей. Влюблялся, это было, но стоило барышне выказать пренебрежение — Полетаев терял интерес. Бывало, расстраивался, мрачнел, бывало — чуть ли не неделю... Но вскоре жизнелюбиво возвращался к бытию — к коньячку и «философии» с Геней Сергеевым, к коньячку и Галичу с Сеней Пряжниковым, к водочке и шахматам с Садовниковым, к барышне попокладистее... Капризницы удивлялись, отдельные оборачивались через плечико, обиженно звали, иные сами бежали трусцой...

Когда он впервые увидел Веру, в его жизни еще ничего не было. Ни Института, ни Управления. Но был уже Темка Белов, щенок, трепло, филфаковская звезда. Был уже этакий «Армамас» — Вовка Никоненко и Сеня Пряжников (Господа Почти Доктора), был Мишка Дорохов, инженер-химик, он еще не написал свою «Памяти Савла», но уже написал много стихов, была Мишкина комната на Полянке, где Генка пел Мишкины песенки...

Мишкина комната была отделена от всей остальной коммуналки тем, что в нее вела дверь с черной лестницы. Так что Мишка был как бы сам по себе.

А Веру — Веру вообще тогда привел к Мишке Тема. Тема уже ДВЕ НЕДЕЛИ клеил эту стройную, холодную шатенку — сроки для тогдашнего Темы абсолютно недопустимые. И был готов на все — на дуэль, на богословский диспут, спасти детей из пожара, плясать вприсядку, вышивать гладью. Он тогда наобещал Вере ареопаг интеллектуалов, чтение серебряновеццев, виолончель и сухое вино.

Какое там сухое вино...

Сенька принес восемь бутылок «Варцихе». Сам Мишка городил одну скабрёзность на другую. Едва Пашка Фельдмаршал возник со своей виолончелью — на него рыкнули и погнались чистить картошку. А пока он чистил, Никон, дуралей, подпив, написал на Пашкином инструменте (слава тебе, Господи, не маркером, а Галкиной помадой): «Гварнери дель Джезу Инкорпорейтед. Please! No Stairway To Heaven!»

И никаких стихов Вере в тот вечер не обломилось, а получила она куплеты: «Мы ехали в трамвае, сосали эскимо и палочки бросали в открытое окно...» Еще была вкусная беспонтовая закуска (картофель с укропом, Сенькин шпиг, дорожные малосольные огурцы с Черемушкинского рынка, селедка с луком кружочками) и еще вот это Мишкино особенное:

...Пройдем досмотры и отчалим  
 К иным местам и временам,  
 Напишем письма, отскучаем,  
 Привыкнем к запахам и снам,  
 Мы сможем, выдержим, сумеем —  
 Усердно, постоянно, днесь...  
 И лишь тогда уразумеем:  
 Здесь все останется, как есть.  
 Здесь будут вьюги, будут мчаться  
 Такси, как призраки карет,  
 Здесь будет осенью качаться  
 Лес на Николиной Горе.  
 Здесь все продолжится, продлится —  
 Зимой, осенью, весной.  
 Все те же ливни будут литься  
 На Пироговку и Страстной...

Потом были чай с мармеладом и палящее танго — такое, после которого все присутствовавшие юноши должны были, как порядочные люди, не медля жениться на присутствовавших барышнях... Это Галка Пасечникова принесла свои пластинки. Ее «папуля» резидентствовал в Аргентине, и Галка кормила компанию «латино» — и кухней, и музыкой, и наукой жарко любить в постели.

Но, как бы то ни было, едва Вера вошла в Мишкину комнату (Тема галантно и несколько беспокойно поддерживал ее за локоть), студиязусы стали ухаживать наперебой, стали приглашать на танец. Ей это нравилось. Ей все тогда понравилось. Картошка с укропом, коньяк, которого она прежде не пила.

Нинка Зильберман даже заобижалась: как же, она прима, а тут — вот-те нате, хрен в томате...

Ярче всех витийствовал Тема. А Полетаев в тот вечер сидел тихонько в Мишкином кресле, стеснялся.

У Темы с Верой вполне мог завязаться роман, но Вера случайно уличила Тему в какой-то мимолетной сугубо плотской связи и по причине старомодной взыскательности резко отставила. А Полетаев все стеснялся. Достеснялся до того, что Вера сочла его высокомерным и обратила, принцесса, внимание. И разглядела как следует. Она влюбилась. А уж он-то был готов...

Вера рассмотрела, что Полетаев умен, добр и немелочен, Полетаев радостно узнал, что принцесса заботлива и домовита... Они, черт побери, поженились.

Возле Рождественского бульвара Полетаев остановил такси. «Подловил», — как говорила Катя.

Когда он бывал с Катей, то такси старался не останавливать. Объяснял, что такси — изредка допустимое излишество. Если Катю встречал после студии Полетаев, то они ехали домой на метро. Когда встречала Вера — на машине. Вера почти всегда брала машину — она раньше уходила.

Итак, папа — метро. Мама — машина.

Папа зимой носил серое пальто реглан. Летом, осенью и весной — летнюю кожаную куртку. Пятью сантиметрами выше правого кармана куртка была грубо и прочно заштопана. (Туда однажды угодили две пули, пээмовский калибр. Это Эдик-Покер, разгильдяй, со своей форс-группой чистил Нижнюю Маслов-

ку. Пастор лежал в госпитале с пневмонией, и вместо Пастора Городецкий отдал Эдику Полетаева. Эдик шел, говорил в рацию, закомандовался, увлекся, а из-за угла сберкассы вышел армейский рейд с «Кедрами» на изготовку. Полетаев успел повалить Эдика за обугленный остов «Москвича», но в него попали, и от страшного, ломающего удара в подреберье он больше минуты не мог дышать... Под кожанкой был кевлар, Эдик перед выходом Полетаева проверил, как рядового необученного, и велел поддеть жилетку...)

Мама выглядела хорошо. Мм-да... Сдержанно. Чего уж там — дорого. Джинсы мама не носила. Носила брючные костюмы. Когда приходила пора показать человечеству ноги — Вера надевала юбки, и человечество говорило: «Ах!»

Папа покуривал и похмыкивал. Мама тонко улыбалась, вполголоса иронизировала. Папа был непонятно кто, занимался словесным, неосязаемым. Мама была популярный и дорогой стоматолог.

Катя не очень понимала, что такое «стоматолог», но уже хорошо понимала, что такое август в Ницце, льстивые улыбки солидных дядь, маленькая школа с оранжереей и бассейном и Новый год в Цермате.

Папа мог до полудня курить в своем кабинете, ему не дарили бордовых роз. «Ты устал, Боря...» — говорил Садовников и был официально участлив. «Уже столько лет ничего хорошего...» — сокрушенно говорила мама.

Возле Дворца молодежи Полетаев вышел из машины и купил в киоске сигарет. До окончания Катиной репетиции оставалось почти полчаса. Полетаев было собрался походить по садику Мандельштама, но заморосило. Он стал оглядываться, увидел белое пластиковое кафе без названия — только надписи «Кока-Кола» и «Кафе». Поднялся по ступенькам, покрытым пористой резиной, и вошел. Тут славно пахло — жареными сосисками, поп-корном и кофе. Уютно пахло. Полетаеву сразу захотелось тут побыть, съесть жареную сосиску с горчицей и чили, выпить коньяку, тут наверняка наливали коньяк.

— Что закажете? — «men behind the counter» спросил так, будто ждал, что Полетаев от двери пожелает «Дом Периньон» пятьдесят шестого года и цыган.

— Коньяк, пожалуйста, — сказал Полетаев. — Двойной, пожалуйста...

Катя, конечно, учует. Ну и ладно.

«А когда-то я радостно просыпался... Теперь тяжело засыпаю и раздраженно просыпаюсь. В августе вот только все было по-другому... А может, это все московская погода? Так ленинградская еще хуже... Нет, погода как погода. Почти сорок лет прожил при этой погоде. Интересно, что бы Тема сказал о моем сумеречном состоянии... У Темы всегда наготове формулировочка».

Полетаев присел к стойке, закурил и стал вдруг вспоминать своего старинного друга Тему Белова.

Темка — живчик, невысокий, худощавый брюнет, в юности отчаянный мастер подражать, в «Берте» был «безопасником». Та еще должность, между прочим... К «безопасникам» в батальонах часто относились, как когда-то к особистам, и на боевые они редко ходили. А по совести сказать — нельзя, в общем, было им ходить на боевые. Если брали, то тяжело им приходилось. Но Тема ходил со всеми наравне. И сидел потом со всеми наравне. Кто-то из батальонных то время вспоминал, как юность огневую. Только не Тема.

«Купились мы на это дерьмо, — мрачно сказал Полетаеву Тема лет через пять. — Не надо нам было... Без толку. Опять убили лучших. И кругом все та же мерзость».

Еще он говорил, когда напивался: «И если бы я служил в том батальоне, я бы радовался и гордился. Но я не служу в том батальоне...»

Но это он зря так говорил.

А иногда Полетаеву казалось, что Тема больше других горюет по убитым — по Пастору, по Славке Городецкому, по Перцу, по всем.

«...А где мы шли, там град свинца, и смерть, и дело дрянь...»

Полетаев сделал глоток и подумал: а с чего это ушлый, тертый Тема так легко ушел из Института? Да, на него жали. Концепция его сектора, мягко говоря, не совпадала с позицией Управления (кстати сказать, когда Тема уходил, в Управлении и директорате вообще не приветствовались КОНЦЕПЦИИ — «...умные нам не надобны, надобны верные...»). И что? Да плевать Тема на это хотел. Клал он на них всех с прибором. Как-то это не по-Теминому получилось — тихо уволиться. Вот если бы с ожесточенной подковерной борьбой, со звенящим скандалом в финале — тогда по-Теминому. Несколько месяцев они с Мартой прожили в Ленинграде, на Галерной, в квартире Теминого старшего брата Додика. Тема написал работу с названием «Обыватель второго поколения». По всей видимости, это была хорошая работа. Сережа Радлов помог опубликовать ее в Германии. Под «Обывателя» же Тема получил стипендию в штутгартском университете, год они с Мартой жили в Штутгарте. Потом Марта стала директором корпункта «Время и мир», Тема стал работать под ее началом (что тоже совершенно не по-Теминому). Потом у Темы был тур вальса с Управлением. Тема об этом периоде в своей жизни распространяться не любит, но друзья догадывались, что Управление почему-то вывело его из резерва и отправило работать «в поле». Впрочем, на Управление Тема работал недолго. Теперь он негромко трудится в небольшой квартире на улице кардинала Лемуана. По утрам отводит дочку в детский сад, во второй половине дня забирает, вечерами читает ей «Евгения Онегина», Корчака и «Винни-Пуха». И он определенно не «постарел-помягчал-растолстел», нет, тут что-то другое. Тема, чертяка, не скис, идеалы юности (ах, как они просятся в кавычки, эти ИДЕАЛЫ ЮНОСТИ!) не растерял. Счастлив, по всему видно, что счастлив. Но отмалчивается, ни с кем секретом не делится.

«Вы тут в отчизне помешались на смысле бытия, идиоты!» — объявил Конрой.

Они с Валькой прилетели из Милуоки на похороны Валькиного отчима.

Конрой рассказал, что полгода назад жил в Париже две недели, часто и подолгу проводил время с Темой и Мартой. Во второй день симпозиума Конрой прочитал свой доклад, а чужие доклады слушать не стал: «Они дураки все, тундра... Чего их слушать? Только время терять... Читал я весь фуфел, что они насочиняли...»

Еще Конрой рассказал, как они — Конрой, Тема, Марта, Марта-маленькая — уехали в Нант, после в Рошфор-сюр-Мер и утонули там в божоле. Через пять дней, впрочем, Марта железной рукой вернула Тему к «ноутбуку» на улице кардинала Лемуана.

«Вы тут все психуете, бараны, все неуловимого Джо ловите... Ах, нерв бытия... Ватными прослыть боитесь, в бургеры угодить боитесь! — ругался Конрой. — А Темка не боится. Он жизнь похавал, дерево посадил, дочка у него растет, милая и умная. А вам, баранам (имелись в виду Полетаев, Вацек и Гаривас), пора уразуметь, что если у человека совесть есть, если семью любит и кормит, интеллектуальный ценз держит, то не станет он бургером! Хоть ты режь его! А у себя воровать нельзя, аскеты гребаные! У себя воровать — это у детей своих воровать... Русский интеллигент любит человечество и прекрасное будущее... А надо любить свою семью и свои понедельник,

вторник, среду и так далее! Ясно вам? Так вот Темка эту фишку просек. А помалкивает оттого, что боится воду расплескать, оттого что время навёрстывает!»

Потом Конрой выпил еще немного и стал откровенно грубить.

«Вы тут охерели от сверхзадач (говоря по совести, упрекать присутствовавших — людей не первой молодости, со вкусом выпивавших и любивших приключения тела,— в чрезмерной сосредоточенности на сверхзадачах было просто несправедливо), согоршочники! Вы охерели от своей нескончаемой ностальгии!.. Ах, ну как же: “Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик”! А с чего вы все взяли, что надо постоянно оглядываться назад на эти мифы, на руины? Кто вам сказал, что надо подтверждать свою состоятельность грустными констатациями прожитого?»

Тут, конечно, Конроя укротили, накидали ему по чавке, он перекурил и остыл.

Вся эта грубость на Полетаева, Гариваса и Вацека особого впечатления не производила. Был Конрой хороший парень, и был он щенок. Попросту говоря, он был моложе и толком о них ничего не знал, даже о своем закадычном друге Вацеке. Конрой глубоко уважал Тему, но и о нем тоже ничего не знал — Конрой был из другого возрастного эшелона. Так что вольно ему было хамить.

А что до «нескончаемой ностальгии» — да, было и осталось. Наверное, чаще нужного вспоминали Гурзуф осенью семьдесят восьмого, Темины пылкие статьи в девяностых, похороны Сени Пряжникова, Чегет и Чимбулак, «пятницы» у Мишки Дорохова на Полянке. Но в отчизне, где от века так мало неизбежного, где так мало привычного, уютного, где сегодня — стихотечения в Политехническом, древняя дача в Удельной, физфаковские стройотряды, ура! хорошо!! правильно!!! А завтра — неправильно! сто тысяч лет без права упоминания! Где пятиэтажки от Кушки до Воркуты, хоть ты умри от тоски по вековым кленам на бульваре,— в данной отчизне иначе не получалось! Потому и захлебывались, как колодезной водой, потому и боготворили —

...В ярко-красном кашне и в плаще, в подворотнях, парадных  
Ты стоишь на виду, на мосту, возле лет безвозвратных,  
Прижимая к лицу недопитый стакан лимонада.  
И ревет позади дорогая труба комбината...

Штурмовой отдел Управления называли «Берта». Как тот батальон. Кишкюнас говорил, что собирались назвать «Бета», но вставили «р». Сам Кишкюнас, поди, и вставил. Что ж, правильно. После того как Кишкюнас стал замдиректора по оперработе, он пригласил Полетаева на загадочную должность «экстремального аналитика» или «внештатного конфликтолога» — Полетаев в отчетах фигурировал то так, то этак.

Сережа Кишкюнас, «наш человек в Гаване», был на связи у Темы всю войну. Тема во время фильтрации не отдал ни одного из своих «доброжелателей». В Управлении было много тех, кто сочувствовал муниципальным батальонам. Отчасти поэтому после фильтрации и амнистии не обижали «батальонных» и не шерстили «управленцев».

А Полетаева Кишкюнас заметил тогда, в ноябре. Когда уже все заканчивалось. Война выдохлась. Штаб подписал соглашение с Минобороны, муниципальные батальоны разоружались, армейцы уходили за Кольцевую дорогу. Пустили метро, в дома стали давать газ. Но еще возникали истеричные перестрелки между батальонными и муниципальными героями (слово «герой» к тому времени стало повсеместно ругательным), армейцы взяли моду мочалить бэтээрами дорогие машины, а «батальонные» под шумок деловито расстреливали московских гангстеров.

На Zubовской передовую группу «Берты» встретил плотный огонь. Тут они сами были виноваты — шли гуляючи. Последние дни было совсем спокойно, они подраспустились, чуть ли не стреляли сигареты у армейцев.

Костя Бурый был легко ранен, а Пастор и Миля убиты. По всему их встретила полурота, расположились грамотно, на углу Пречистенки, в библиотеке мединститута и на верхних этажах пресс-центра МИДа.

«Берта» быстро «рассыпалась», взводные стали по очереди докладываться. Эдик чертыхался, долго смотрел в бинокль, отмечал огневые точки. Они налетели на неугомонных — с косынками на лицах, в футболках, на предплечьях — татуировки... В «Берте» осатанели после Очакова и гибели Городецкого, и битки не смущали никого. За последний год частых уличных боев в «Берте» всему научились. И битков уже накрошили достаточно — и с татуировками, и без татуировок.

Бурый перевязался сам, отталкивая санинструктора, рыкнул — стрелки бросились по окрестным крышам. Люди Вацека растащили два миномета, Эдик-Покер с остренькими глазами и потным лбом что-то частил в рацию, это значило, что его форс-группы сейчас бегут дворами по трое-четверо. Полетаев сидел на бордюре за штабной машиной, курил и гонял вверх-вниз «молнию» на летной куртке.

Тут с Темой (Тема заменял погибшего Городецкого) связались из Штаба.

«Слышь!.. Слышь, ты! — орал Тема в “Мотороллу”. — Мне чо, целоваться с ними?! Пастору голову снесли! Я тут как на подносе! Все, короче, сейчас начну! И поддержку мне!..»

Но на Тему тоже наорали, Теме, массараکش и массараکش, велели ни хрена не воевать, утрясти как угодно, потому, что сейчас в Кузьминках очень сложно. «Ты чо, Белов — герой? Потяни часок, их отзовут, часок только потяни!»

И Тема послал Полетаева договариваться. Дали вверх три очереди трассерами («поговорим?»), и Полетаев пошел через Zubовскую. И только Кишкюнас знал (а он все на свете знал), что, когда Полетаев, напряженно сопя, подошел к перевернутому автобусу — встретили его майор и два сержанта. Они нехорошо глядели. По майору было видно, как он говорунув сионистов и смутьянов ненавидит. А уж у бойцов просто пропечатано было на лбах: «этоестьянашпоследний-ирешительныйбой». И тогда Полетаев принял озабоченный вид, шагнул вперед и спросил: «Мужики... Мужики, где тут у вас поссать?.. А? Сил нет...»

Это был гол. Уголки губ чуть дернулись вверх, стволы чуть качнулись вниз. Где-то на небеси ударил колокол, кто-то высший перевесил полетаевскую бирку на другой крючок. Полетаев показал свой талант.

С майором они потом час лаялись, за грудки друг друга таскали, сержанты то брови сводили, то ржали, но зато весь этот час никто ни в кого не стрелял. А когда Тема, беспокоясь, уже на армейской волне стал спрашивать, как там его герой, Полетаев и майор, чугунно пьяные, сидя на асфальте, привалившись к колесу бэтэра, докурили и окончательно решили, что подразделение майора Андросова отойдет к Смоленке, получит подтверждение и выдвинется к Кольцу. А батальон «Берта» соберет свою хурду-мурду, отзовет форс-группы, того дурака, что на четвертом этаже бликует, тоже отзовет и уйдет за Крымский мост.

Прошло несколько лет, все вернулось на круги своя. Профи стали возвращаться — с дач, из посольств, из резерва. Кишкюнас приехал на черном лимузине в Институт, вежливо отстранил перепуганного Штюрмера и прошел в сектор к Полетаеву. Сначала, конечно, он завел разговор, полный околичностей и воспоминаний. Полетаев вежливо поднимал брови.

Потом Кишкюнас разложил веером фотографии: Полетаев на заседании Штаба, Полетаев возле перевернутого автобуса на Zubовской, Полетаев с Городецким.

Кишкюнас настойчиво втолковывал: «Я же не предлагаю вам, Борис, бегать по крышам с наганом, зажатым в потной руке! Много в вашей жизни было случаев, когда никто не может, а вы можете? Так вот это — тот самый случай».

А накануне еще Вера, может быть, глянула на Полетаева «особенно»... Словом, Кишкюнас Полетаева уговорил.

В кафе то и дело открывались двери, входили люди — выпить рюмку, что-нибудь съесть, укрыться от дождя. Двое мужиков порознь потягивали коньяк. Пятеро студентов громко разговаривали — раздражало! Полетаев взглянул на часы.

«Еще пять минут,— подумал он.— Катя подождет. Да она и не выходит вовремя. Еще пять минут, и еще одна рюмка».

Студенты громко засмеялись — Полетаев поморщился. Он не любил отроков и отроковиц, не любил любого вида буршей, не любил громкой речи и чужих детей.

«А вот, к примеру, сунься я за советом к Гаривасу — что бы он сказал? Я бы ему: “Вовка, I am sad and tired, мне очень нужно, чтобы мироздание меня приободрило... Жена — хрен с ней, но, кажется, у меня дочка протекает между пальцами... Хреновые дела, Вовка...” А Гаривас: “В чем, собственно, дело? Почему надо с тобой нянькаться? Потому, что ты женат на стерве? А что, ты первый человек, женатый на стерве? Надевай кепку и уходи. И не хрен печально садить коньяк на фоне осеннего дождя...”»

Так сказал бы Гаривас.

Гаривас — это Гаривас. Нужно денег, нужно дельного совета, нужно прикрыть короткими очередями — пожалуйста. А за сочувственными соплями — будьте любезны, в другую кассу...

Тут Полетаев негромко рассмеялся — вспомнил, как восемь лет назад Гаривас подытожил сомнения младшего Бравермана.

Старший, Гарик, в этой жизни не суетился, он был активный хирург, ему хватало страстей по месту службы. А Павлик, младшой, метался, как курица по проезжей части. Однажды Павлик получил письмо из американского посольства — сообщали, что он вошел в квоту. Может паковаться.

А Пашка-то уже позабыл, как за год до этого, поддавшись тогдашнему психозу, заполнял анкеты. Они все тогда очень веселились, помогая Пашке их заполнять. Ну то, что у Пашки пятая группа инвалидности, то, что его семья подвергалась преследованиям в течение всей советской власти,— это понятно... Кстати, так и было — с преследованиями в семье был полный порядок... Для убедительности они приложили к комплекту документов полароидный снимок: Пашкина дверь, а на ней жирно намалевано: «ЖИДЫ — ВОН!» Эта же надпись для верности была продублирована на английском...

За прошедший год между тем издательство «Московский рабочий» издало и переиздало «Прогулки с Баневым», Пашкино детище, любимое и лелеянное (а потом еще и «Книжный сад» издал «Прогулки»). И дела у Пашки шли прекрасно. Но, получив письмо с Новинского бульвара, жизнерадостный Пашка впал в меланхолию. Он так накрутил себя за считанные недели, что дилемма «ехать — не ехать» встала по своей значимости для него самого и, по его разумению, для всей национальной культуры вровень со «что делать?» и «кто виноват?».

И вот однажды, в конце июня, Ванька, Гаривас, Полетаев и Пашка ехали в Ленинград на поезде «ЭР-200». Ехал, собственно, Иван, ехал к своей невесте Женьке, а остальные увязались за ним под обаяние белых ночей и Пашкин аванс в «Неве».

Итак, они съели прекрасную солянку, жаркое в горшочках, выпили две бутылки «Варцихе» и курили в тамбуре. Тут Пашка завел свою бодягу: «Ехать — не ехать». Скорбел лицом и канючил: «Кто я буду там?.. А с другой стороны — кто я здесь?» Пашкиным друзьям это нытье осточертело до крайности. Они уже были согласны на все — на то, чтобы Пашка уехал, на то, чтобы Пашка никогда никуда не уезжал, на то, чтобы Пашка поселился в деревне и воспел соху, на то, чтобы Пашка поселился на улице Архипова и воспел Сион, они были согласны на все, лишь бы Пашка заткнулся.

«Вот что, Бравик,— сказал Гаривас (и все притихли, надеясь на Гариваса и предвкушая конец нытья).— Вот что, брат... Не зуди. Люди уезжают потому, что несчастливы здесь и рассчитывают стать счастливыми там. Остальное — чешуя».

И Пашка не обиделся, пожал плечами, разулыбался. Впоследствии два раза подолгу жил в Америке и дважды там издавался.

«Мне бы знак какой...— думал Полетаев. — Знамение. Ну малость такую можно мне? А дальше я сам — твердо и спокойно».

Он допил свой коньяк и распечатал жевательную резинку. Хотя Катя все равно учует коньяк.

Полетаев скривился.

«Вообще это перебор... Зарабатывает меньше мамы, старая кожанка, и к вечеру — пьяньский... Это перебор».

И еще он подумал: «У меня свои привычки — так и у Верки свои привычки! Мне удобна моя глухая оборона, а Верке — ее полупрезрение-полуирония. Это ей необходимо. Ей мало ее очевидной состоятельности. Ей нужно, чтобы рядышком был я, ватный и некарьерный. Она просто любит иногда меня за это... Черт! Но почему с такой яркой женщиной мне так серо и тошно?.. Равномерно серо и тошно много лет. Только редкие светлые периоды... Человечество любит тех, кто любит человечество. И я не мазохист. Я тогда потому так к Верке потянулся, что у нее глаза горели, что она ноготь сломала, когда на мне рубашку растегивала... Наша с ней жизнь — какая-то серая муть. Вот пробьли бы мы на Итаке на неделю больше, я бы вынырнул из этой мути окончательно».

Он встал, погасил сигарету и вышел из кафе.

«Дела я запустил — дальше некуда. Но это ничего. Чем хуже — тем лучше...»

И еще одно спасительное свойство имелось у Полетаева — он поднимался из нокдаунов. Когда становилось совсем плохо, он зверел. Второе дыхание. Он и сейчас на него рассчитывал. Впервые такое произошло с ним десять лет назад, когда он делал соискательскую работу о Белле. Он мог получить (получил в итоге) штатное место в Институте, необходимо было пройти конкурс. Но более штатного места его тогда интересовало мнение Веры, Темы Белова и Марты — они много ждали от него, это было очень приятно, это обязывало. И Полетаев за месяц сделал прекрасную работу. Сначала по «Глазами клоуна», потом по «Хлебу ранних лет». Но «Маккинтош» у них с Верой был один на двоих, Полетаев до поры не хотел, чтобы Вера читала, и работал на дискете, идиот. И, когда оставался один абзац, заключил дисковод, и дискета оказалась затертой. До сдачи работы оставалось трое суток. Ни необходимых утилит под рукой, ни должной сноровки, а главное — времени у Полетаева не было. Вот тогда-то он понял, что такое отчаяние. Все, над чем он пылко и профессионально трудился месяц, оказалось стерто, счищено, перемешано, как салат.

Тогда он впервые ОЗВЕРЕЛ. Он упросил Штюмера перенести аттестацию на неделю. За неделю Полетаев написал две новых работы. Они ничем не уступали затертым.

«Я всегда виноват перед Веркой. Надежд не оправдал, темперамент не тот... А ее между тем никто на аркане не тащил...»

В его жизни не было женщины желаннее. Он много лет любил Веру и теперь любит. Но вот жизнь и работа так сложились, что пришлось хорошо насмотреться на настоящее. Много лет назад он быстро научился правильно оценивать людей и явления. И свою жену он тоже научился правильно оценивать.

У нее тонкие запястья, морщинки на животе, темные соски, легкие каштановые волосы — на солнце они пахнут миндалем... В начале второго она приходит на кухню попить воды, кутаясь в толстый фиолетовый халат, недовольно щурясь от света настольной лампы. Хочется шагнуть от стола с машинкой, от институтского занудства, от свар дурацких, никчемных, хочется взять ее, глупую, колючую, на руки, отнести в постель, попить, гладить по голове, пока не уснет...

Можно прожить без нее. Так, чтобы она — сама по себе, а он — сам по себе. Но Катя-то — их кусочек... Катя угловатая, несклепистая... Ее нужно держать за руку, оберегать от простуд, от шпаны, от этой сучьей жизни.

«А из Института пора уходить. Все. Достаточно Института. Там мне уже не место...»

Управление создавало Институт свободной прессы для того, чтобы прекратить или умерить то, что тогда называлось «свободной прессой». В то время в явлении «свободная пресса» было все что угодно, кроме умения, настоящего знания языка и традиций свободной прессы. Потому возник Институт. Возник, сослужил свою службу обществу и культуре, перебродил, выдохся, пованивал и портил перо молодежи. Когда-то высокую репутацию Института создавали светлые и талантливые люди, они ведали секторами и отделами, курировали направления, жанры и персонально издания. Направления от этого приобретали цивилизованный облик, а издания — стиль. Потом первое поколение завсекторами стало уходить. К тому было много причин, а главная — ясли пора было прикрывать. А способным людям пора было заниматься собственно журналистикой, публицистикой, политическим анализом, социологией, литературной критикой et cetera. И они уходили один за другим. Белов — в Управление, «в поле», затем во «Время и мир», Фриц Горчаков — вслед за Темой. Лаврова — на филфак, Гаривас — в «Монитор», позже — во «Время и мир». Салимон — в «Золотой век», Головановская — в «Power». Кто куда. И это правильно...

«Боря, тебе пора валить, — сказал Тема. — Тебе пора валить, у тебя уши нарастают, Боря. Это уже не Институт, это Госкомстат, Потребкооперация, «Кому за сорок»... Пора, Борис».

И многие звали К СЕБЕ. Звал Гаривас, звал Тема, звал Радлов. Но Полетаев скрипел в Институте. Потому, что и Тема, и Володя Гаривас, и Генка Сергеев — все они в свое время уходили не К ДРУЗЬЯМ. Они уходили в никуда, а потом уже создавали направления, журналы и издательства. Верка изредка об этом тоже заговаривала. Но она имела в виду что-то другое. И, когда в полетаевском кабинетике звучало зубодробительное слово «престиж», Полетаев вежливо отвечал, что ему нужно поработать.

И вот, после того как Полетаев согласился на предложение Кишкюнаса, умение договариваться стало его professional skill. Он не очень-то поверил разговорам о своем таланте, но Кишкюнасу верил. И еще он помнил, как Тема горько говорил: «...и если бы я служил в том батальоне...» Он помнил еще, как Бурый, приехав к нему домой после лагеря и амнистии, сказал: «Над нами легко посмеяться... Особенно если в тебя никогда не стреляли. Но до войны мы так жили все... неопределенно. А в “Берте” помнишь, как было? Там — чужие, здесь — свои. И ничего лучше этого быть не может. “Берта” — самое прекрас-

ное, что было в нашей жизни. Мы всегда будем мечтать о том, чтобы вернуться в “Берту”, Боря. И не произноси при мне слово “романтики”. И слова “идеалисты” тоже не произноси. Лучше вспомни то время, когда яйцеголовые брали быдло к ногтю...»

Договаривались и до него, эта практика существовала всегда и везде. Договаривались в YAMAM, в GSG-9, даже (хоть это громко отрицалось) изредка — в Sauceret Mat^Kal. И в отчизне, разумеется. Но по телефону или по ради. В Управлении считалось, что опекаемые относятся к захваченному закрытому пространству, как к крепости, единственному убежищу. Считалось, что любой парламентар — потенциальный заложник.

«Саня, это профанация, так нельзя,— говорил Садовникову Полетаев.— Ваши психологи — дармоеды. Какой там к едреной фене психопортрет по телефону? Нельзя в душу вломиться по телефону. Объясни начальникам. Эти... Они рискуют, когда меня впускают. Но они потому и впускают, что я рискую... Никаких телефонов. Глаза в глаза... Сам знаешь, как бывает — все эти ваши “Набаты”-шмабаты... Психологи ваши, прости Господи... Все равно потом пальба... А штабы эти — местный главный мент, местный главный чекист, ни хера не понимают, щеки надувают, всего боятся...»

«А чего ты МЕНЯ уговариваешь? — раздражался Садовников.— Меня нечего уговаривать. Пиши служебную записку. Знаешь, как пишутся служебные записки? Начальников можно убить только статистикой. Только сухой, значит, цифирью можно их, сук, впечатлить... Вот, скажем, через год я положу на стол — от бесконтактных переговоров вот такие результаты, а от экстремального аналитика геноссе Полетаева совсем другие результаты... Вот тогда будет наглядно. Работай, Борис».

Полетаеву никогда не звонили — за ним приезжали. Кишкюнас сразу обговорил, что никаких тревожных звонков не будет. Если Полетаев не хочет работать в графике — дежурить, оставлять свои координаты, носить в кармане бипер или телефон, то за ним будут приезжать.

«Берта» обкладывала предмет ухаживаний. Стрелки разбирали цели, штурмовики курили кучками, внештатники где-то разыскивали родственников опекаемых, вожди стратегировали в штабной машине. Если опекаемые вообще склонны были беседовать, то после долгих препирательств с ними начинал работать Полетаев. Его отправляли договариваться.

«Давай, Боря,— ритуально говорил Садовников.— Иди торгуйся».

Полетаев шел договариваться. Иногда это удавалось. Иногда его не допускали. Реже он не мог договориться. Возвращался к передовому посту и на расспросы Садовникова отвечал: «Охеревшие морды». Или: «Они себя похоронили». Шел к штабной машине, расписывался в журнале, уезжал, а «Берта» штурмовала. Бойцы подолгу подползали, умащивались, «накапливались». Потом вышибали окна и двери, с бешеными матюгами, под специальную пальбу, под взрывы «слепилок» вваливались, спускались на тросах. В учебных фильмах все получалось картинно и ладно. Когда работали — совсем не картинно. Как в настоящем киокушинкае — быстро, непонятно, некрасиво, очень больно.

Дважды штурм начинался до того, как Полетаев возвращался к передовому посту. На шее, чуть выше ключицы, ему крепили пластырем ларингофон. Если Полетаев говорил: «Это неразумно!» — «Берта» штурмовала. «Это неразумно!» означало, что Полетаева сейчас станут убивать и говорить больше не о чем.

Однажды Садовников негромко и недовольно спросил Полетаева, почему тот уезжает, не дождавшись занавеса: «Нехорошо, Боря... Мужики косятся...»

«Да кончай! — отмахнулся Полетаев.— Это же не футбол. Я стрельбы наелся».

Если и косились, то быстро перестали. Все-таки Полетаев стал любимцем. Талисманом. Он много раз себя показал. Ходил в своей знаменитой кожанке, грузно, ссутулясь, приволакивая правую ногу. Ходил к самолетам, к супермаркетам, к вагонам, по битому стеклу, огибая мертвых милиционеров и убитых случайных прохожих, горящие машины, подныривая под пластиковые бело-красные ленты «danger!», ходил в кевларе под кожанкой, само собой без всякого личного стрелкового оружия, с ларингофоном над ключицей.

Господин экстремальный аналитик.

Герой.

Уже через несколько недель он понял, что здесь все запущено, все неправильно.

Садовников умствований не терпел, агрессивно спрашивал: «Что не так? Докладную! Четко излагай — что не так?»

«А то не так, — резко отвечал Полетаев, — что все плохо!»

«В смысле?!»

«Пожалуйста... Снимайте их, когда можно, дайте мне их лица крупно! Получите мимику — уже что-то. Уже есть, что обдумать. Ты вообще слышал про физиогномику? Мне будет проще, когда я туда пойду, понимаешь? Если я буду знать, что вон тот блондин меланхолик, а вон тот брюнет писался до призывного возраста, я буду знать хоть что-то, как посмотреть, что сказать в первую минуту... Это в доступных тебе образах... Много еще чего можно. Можно сделать шаблон информашки — я тебе и составлю. Где родился, где женился, какие отметки в школе — это несложно поднять на любого, установили личность, запросили данные, и все мне... И не должен я быть у тебя один, понимаешь ты? У тебя аналитиков должно быть в половину от числа штурмовиков!»

И еще Полетаев не выносил седых, красномордых барбосов старой закалки. На планерках он рассказывал полковникам и подполковникам о копинг-стратегиях, забывал, где он, перед кем, пространно цитировал Даниэля Дэна и Фишера, метал бисер, провел натужный семинар по методикам Юри. Как об стену горох... Это было просто смешно. Барбосы звенели орденами, скрипели португезами, солидно говорили: «Товарищи, консультант, наверное, на сегодня свободен?..»

Полетаев махал рукой и спускался в буфет. И там уже, ухватив за пуговицу Обручева, Садовникова или Самвела, талдычил азы конфликтологии.

«Господи,— зло и горько говорил Полетаев Садовникову,— ты можешь понять, что хлопот будет меньше, затрат будет меньше, людей в конце концов меньше поляжет, если ты пригласишь несколько человек с психфака?.. Только не к дармоедам, не к телефонистам твоим, а ко мне. Под мое непосредственное начало. Чтобы они быстро думали, пока я стану тереть с охеревшими... И еще несколько человек из других мест. Я сам тебе скажу — кого... Диму Демченко надо сюда, он декан на психфаке... Кошкину надо, она долбанутая на всю голову, но у нее есть фантазия... Твою мать, Слава! Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?»

Да что там Садовников, что там барбосы... Если даже майор Обручев, Андрюха, игнорировал Полетаева в его, полетаевском, профессиональном качестве. Вне отдела — пожалуйста. Вне отдела Андрюха чудесно к нему относился. Выпивал с ним, пулю расписывал, учил играть на ударной установке. Хороший парень Борька Полетаев, но штатский.

Андрюха три года назад простажировался на базе «Сайерет Маткал», в хорошо всем известной пустыне Негев. Из той пустыни, помимо прочего полезного, он вывез эпидермофитию стоп и яростную уверенность в том, что штурм должен возглавлять старшой, а все остальное от лукавого. В отношении опека-

емых Андрюха имел мнение частное, четкое и лаконичное, как штык: «Рвать в куски!» Тамошние люди, их трудовая биография, история взаимоотношений страны с соседями — все это произвело на цельного Андрюху сильное впечатление.

«Рвать! — убежденно говорил Андрюха. — И чтоб впереди — старшой...»

Но то была специфическая, так сказать, национальная позиция, Андрюха лишь озвучил ее в родных пенатах. Руководство Управления придерживалось иной позиции.

«У айдов своя кухня и свой геморрой, — вразумляло Андрюху руководство. — У нас свой...»

В ТОЙ «Берте», может быть, хромала дисциплина, зато там хорошо и быстро соображали.

По окончании СЛУЖБЫ Полетаев возвращался к «чередованию согласных у Рабиндраната Тагора». В Институте прессы Полетаев начальствовал над сектором «Берн», изучал влияние германской классической беллетристики на швейцарскую публицистику. Почтенное занятие...

Как полагается приличному журналисту, он писал книги. Закончив одну, начинал другую — всего было готово три. Сборник рассказов, пространная повесть и шесть эссе, объединенных условным названием «Лекции на набережной Трудов и Дней». Когда-то он объявил себя продолжателем дела Миши Дорохова. Теперь-то Мишку забыли, а восемь лет назад он был в моде, когда вышла его «Памяти Савла». Мишка проинтерпретировал раннехристианские коллизии как игру разведки Рима и контрразведки Иудеи. Полетаев в том же ключе стал разрабатывать деяния апостолов — получалось очень складно. Покойный Сорокин, а позже Кишкюнас предлагали Полетаеву публикации через фонды Управления. Но Полетаев отказывался — застенчиво и гордо. Он вяло проталкивал те же публикации через директорат Института. Директорат плевать хотел на полетаевские апокрифы, он самим-то Полетаевым был сыт по самые уши. Впрочем, это только шло на пользу трудам Полетаева. Он шлифовал, оттачивал, находил все новые исторические и геополитические подтверждения. Но и конца этому видно не было.

«Ну ладно. А у меня-то что не слава Богу?»

Полетаев вернулся в стекляшку возле «Фрунзенской». Он вздрогнул и недоуменно поглядел на обожженный палец — сигарета дотлела. Полетаев тихо ругнулся, лизнул маленький красный ожог и глотнул коньяка. Потом он посмотрел на часы: пора было идти. Но никуда не пошел, а еще раз глотнул и закурил новую сигарету.

«А то у меня не слава Богу, что именно теперь, этой скучной осенью, мне нужен знак. Знамение. Одобрительное похлопывание по плечу: ты хорош, есть связь времен, дочь подрастет и поумнеет, твоя любовь — не мимо, трудись, премножай меру вселенского добра... Но ведь нет этого знамения! Нет, черт побери! А я мнительный, вялый, я хочу знамения!...»

Обручев говорил ему: «Ты, Борька, мудришь. Книжный ты, братан, чересчур... Вот я солдатиков видел — у них гимнастерки от вшей шевелились. Они голодали... Язвы на ногах... Командиры их по морде били. А они бы за командиров сдохли. Потому, что командиры их в смерть просто так не гнали. Думали головой командиры, как правильно воевать. Ты давай иди в народ, Борька. Поучись у тех солдатиков простоте бытия. А то у одних суп жидкий, у других — жемчуг мелкий. Ты при мне не рефлексируй, а то я шибко раздражаюсь...»

«За эти годы я был определенно счастлив трижды... Первый раз — когда Верка меня полюбила и это показала...»

Он еще раз глотнул, поморщился, потер уголки глаз и с тоской, с давней нудной болью представил себе тогдашнюю Веру — как она, сдержанная, изысканная принцесса, задыхаясь от нетерпения, расстегивала на нем рубашку, как тонкими прохладными пальцами гладила его по щекам, как что-то сбивчиво говорила и плакала ему в шею, а он, потрясенный, лежал на просторной тахте, в Мишкиной комнате, обнимал Веркины ломкие голые плечи и ошеломленно глядел в потолок — там клубились желтые и розовые волны...

«Второй раз — пять лет назад, когда Верка увезла Катюшу в Данию, а я делал ремонт. То есть ремонт делали спецы, я изредка инспектировал, а сам жил в Темкиной квартире. Белов уже ссучился, запродался Управлению, он был “в поле”, в Монтрё. А я написал “Обаяние книжной Европы” — ах, как написал! И все там было на месте, и цитатки — одна к одной.

Марта цокала языком. Гаривас говорил: “Ну, что? Нормально... Я вообще люблю все профессиональное...”

С четырех я, поддатый, писал. После восьми, хорошо вдетый, украшал вьетками. К одиннадцати, пьянющий, выдумывал самое сочное и делал все грамматические и пунктуационные ошибки. Утром, светлый, отоспавшийся, убирал ненужное. СУШИЛ. После полудня — “Арбатское полусухое” или “Мукузани” — наводил блеск и глянец.

Третий раз — когда обошлось во Внукове...»

«Ты по крайней мере можешь мне сказать, в чем дело?» — спросил Полетаев.

«Одна пуля, кажется, наша, — виновато сказал Садовников. — В четверг — разбор полетов. Приходи».

«Ты чего?.. Ты это!.. Ты не вздумай еще виноватого найти! — вскипел Полетаев. — Одна пуля или не одна!.. Я тебя не об этом спрашиваю!»

По холлу хирургического отделения, где они сидели на красной жесткой банкетке, похаживали сухонькие отставные полковники в байковых халатах, Полетаев вытянул ногу и морщился — ему только что сделали перевязку, под марлевой наклейкой на бедре ныло и зудело.

Слава Садовников медленно крутил пуговицу накрахмаленного белого халата.

«Боря, это эксцесс. Ты сам это понимаешь. Не заставляй меня оправдываться».

«Все было нормально. Все было, как всегда. Почему стали штурмовать? Я понимаю, что эксцесс... Но я был внутри, а вы начали. Что случилось? Что за дерьмо? Откуда взялось это дерьмо?»

«Из муниципалитета», — злобно сказал Садовников.

«Что?»

«Команду штурмовать дал Каретников. Через мою голову. Я в это время разводил стрелков».

«Что за чушь? Он же знал, что твой сотрудник в терминале! Или не знал?»

«Знал... А ты знаешь, как Управление гнется сейчас перед муниципалитетом? Газеты читаешь?»

«Слава, при чем тут газеты?..»

«Позавчера в Москве закончился саммит европейских городских муниципалитетов, — скучным голосом сказал Садовников. — О захвате во Внукове стало известно во время заключительного заседания. Каретникову позвонили и сказали, что вся Европа будет внимательно наблюдать за тем, как в Москве умеют управляться с террором. И еще ему велели показательно не оставить в живых никого. И начинать сию минуту. Он был датый, его вытащили из-за стола... Что за

праздник был — ты знаешь. Он приехал с Кобуловым и Радько. Велел штурмовать. Ты был в терминале, я разводил стрелков...»

«А Самвел?»

«Самвел был на капэ. Со вчерашнего дня Самвел переведен в резерв. По приказу того же Каретникова».

«Он что... возражал?»

«То есть он так возражал, что, говорят, каретниковская личка выбрасывала его с капэ».

«Вот скотство...»

Садовников осторожно положил на диванчик рядом с Полетаевым полиэтиленовый пакет с мандаринами и сказал:

«Единственное, что нас извиняет... отчасти... Шли не столько тех валить — сколько тебя вынимать».

Полетаев одобрительно хмыкнул и с удовольствием вспомнил, как Петя Черников с раскатистым грохотом выбил алюминиевую фрамугу, два раза выстрелил в голову тому гаду, который затягивал на шее Полетаева металлический тросик, и, усыпанный мелким стеклом, метнулся к Полетаеву. Сверху по фалам скользнули трое, среди них — Обручев, его лицо под «сферой» было перекосено, он что-то кричал... Повалил дым, защипало глаза, по ушам ударили трескучие выстрелы... Затем были «хлопушка» и две «слепилки» — Полетаев перестал видеть и слышать. Он почувствовал сильный толчок в бедро, потом обожгло шею. Петя повалил Полетаева на пол и лежал на нем те секунды, что «Берта» добивала опекаемых.

«Все равно скотство...» — угрюмо сказал Полетаев.

«...Я-то уже думал, что все, каюк. И доволен потом был до крайности, что жить остался. Это теперь я такой остроумный. А там самое время было менять подштанники экстремальному аналитику.

А почему, собственно, «трижды»? Четырежды... Четырежды, господа хорошие. В четвертый раз — этим летом, на Итаке».

Приближался отпуск — и у Веры приближался, и Полетаеву Садовников сказал: «Короче, или ты идешь в отпуск, или наша санчасть оформит тебе инвалидность — я позабочусь...»

Что в отпуск уходить пора, Полетаев понял после того, как пришел на работу, бегло провел в секторе планерку, присел за свой стол, закурил, потом сунул сигарету за ухо и стал просматривать «Внутренний бюллетень». За ухом потом долго саднило, напоминая о том, что в отпуск надо уходить вовремя.

Верка за месяц стала говорить про Минорку. Это Казаряны хвалили Минорку. Одного того, что хвалили Казаряны, было достаточно, чтобы Полетаев никогда не ступил на берег Минорки, острова живописного и дорогого. Полетаев на дух не переносил бойкую мажорную чету Казарянов. И тут Гаривас сказал ему: «Боря, я два года подряд бывал на Итаке. Боря, там хорошо, покойно, там бессонница, Гомер, тугие паруса, не ломай голову. Хочешь островной Греции, хочешь мира в душе и неба над головой — вот тебе Итака...»

Полетаев объявил:

«Итака — то, что надо, так сказал Гаривас, мы проведем отпуск на Итаке. Я по крайней мере. Извини, милая. Решено».

«И моя обожаемая сучка поджала губы... Но глядела равнодушно — как же: папа показал характер... Даже давала с душой две ночи. И не то постанывала, не то поскуливала... Странное дело — ни моя терпимость, ни моя отходчивость у Верки удовольствия не вызывают. А мои редкие «топ ногой» нравятся! Вижу, что нравятся!»

В середине августа они улетели на Итаку. За неделю до этого Полетаев стал рассказывать Кате про Одиссея, Телемака, Пенелопу, Агамемнона и всю компанию. Он принес книжку «Легенды и мифы Древней Греции». Когда он сам был ребенком, такая книжка встречалась в каждом интеллигентном доме. Как синий двенадцатитомник Марка Твена, восьмитомник Джека Лондона и оранжевый шеститомник Майн Рида.

Теперь, кроме как на Итаку, мадемуазель никуда не желала (одноклассник нахваливал Майами, но если разобраться — а мадемуазель умела разбираться, — то что такое Майами? Та же Минорка, говорят по-английски, и все дороже).

Они прилетели на Керкиру рано утром, казалось, что «Боинг» садится прямо в воду — взлетно-посадочная полоса лежала посреди озера. В аэропорту Полетаев взял такси до порта, они проехали через маленький серо-зеленый Корфутаун, и через час Полетаев с Верой стояли на палубе, Катя спала в шезлонге.

Старый форт Керкиры медленно отдалялся в голубом дизельном выхлопе катера. По палубе сновали чернявые стюарды, гомонили немцы. Немцев было много. Их везде было много.

«Слушай, чего их так много везде? — спросила Вера, ухмыляясь. — Ты ничего не слышал, может, они все-таки выиграли вторую мировую?»

Море и небо — вскоре вокруг были только море и небо.

«Маге...» — медленно сказал Полетаев.

«Что?» — не поняла Вера.

«"Cras ingens iterabimus aequor..." — Полетаев улыбнулся жене. — "Завтра мы снова выйдем в огромное море..." Гораций. Или Овидий».

Вера благодушно улыбнулась в ответ. В «duty-free», пятью часами раньше, Полетаев купил ей флакон «Соня Рикель» и поцеловал в щеку.

«Узо, — сказал Полетаев стюарду. И добавил: — Паракало...»

Он всегда находил особое удовольствие в том, чтобы виртуозно пользоваться несколькими местными фразами весь отпуск. Мог объяснить с барменом, портье, дорожной полицией. С энтузиазмом пил местное: текилу, кюммель, араку, кальвадос.

Матовое, со льдом узо оказалось омерзительным (больше Полетаев к нему не прикасался, пил виски).

Стюард правильно понял гримасу, улыбнулся и доверительно предложил что-то. Полетаев кивнул и сказал: «Эвхаристо...» Стюард вскоре вернулся, подал Вере двойной «бьянко ноу айс», а Полетаеву на три пальца водки.

«Они со всеми говорят по-немецки, а с тобой на своем, — сказала Вера. — Ты со всеми умеешь договориться».

Полетаев подумал: «Только не с тобой».

«...Верка, милая, в быту я легкий... Посуду за собой мою... — шептал на ухо Вере Полетаев (августовским вечером в Нескучном саду). — Но у меня ни кола, ни двора. И работа у меня с приветом. Я, извиняюсь за выражение, филолог...»

«Ты, извиняюсь за выражение, дурачок, — жарко говорила ему в шею Вера и ерошила его волосы. — Бог с ним, с бытом. Мы разберемся. Главное — психологический климат... Ты что, боишься меня замуж позвать? Не бойся... Борька, я тебя люблю...»

Потом прошло несколько лет, подрастала Катя. Вера была всегда занята, в высшей степени иронична и взыскательна. Все это вкуче, может быть, уберегло Полетаева (ой ли?) от ее измен. Потом Полетаев перестал показывать Вере свои статьи, хорошие, надо сказать, статьи. Потом она перестала интересоваться его статьями.

Полетаев был не из громких, не из искрометных. Пока в Институте верховодили Тема с присными, о Полетаеве ЗНАЛИ. Тема и Марта двигали Полета-

ева, его эссе, комментарии. Полетаева часто публиковали, даже цитировали. После того как Штюмер и Багатурия выжили Тему из Института, Полетаева отодвинули, публиковали только во внутренних бюллетенях и изредка — рефераты.

Он же просиживал вечерами над интерпретациями деяний апостолов, Вера поглядывала недоуменно и недовольно.

«Вот черт! Для меня любое море — это как Крым!» — сказал Полетаев.

Он глотнул из никелированной, в зеленой коже, фляжки и передал ее Вере. Вера тоже глотнула.

«И для меня... Еще давай накатим...»

Вера стояла на палубе босиком, туфли она аккуратно поставила на скамью. Отводила рукой легкую челку и щурилась от бликов.

Бело-голубой катер мощно взрезал Ионическое море. Палуба глухо и тихо гудела под ногами. Вера села на скамью, Полетаев — к ее ногам, она притянула его за плечи и положила теплые пальцы ему на лоб. Полетаев вздохнул, уложил затылок на Вериных коленях, накатил из фляжки и, не глядя, протянул фляжку жене.

Вот из-за таких редких минут он до сих пор не развелся.

«Твой Гаривас понимает толк в море, — сказала Вера (и Полетаев заревновал — не к живому, во плоти, Гаривасу, а к упомянутой на этой палубе фигуре, к тому, кто заслужил Веркино одобрение ввиду правильного понимания моря). — Он талантливый человек. Помнишь «Путешествие...», Боря?»

Гаривас не бывал у Полетаевых. Но Вера встречала его в Домжуре и на редакционных вечеринках. Пять лет назад, когда Гаривас еще не был главным редактором, в очень модном в ту пору альманахе «Большой город» вышло его «Путешествие в Крым». Под оригинальнейшим псевдонимом «Петров».

Гаривас написал «Путешествие...» и того раньше, но, кажется, стеснялся его, говорил, что это любительство, фуфло, что это из категории «как я провел лето».

...Путешествие в Крым — обращение к давним страницам.  
Мы же рвемся вернуться — вслепую, в свой миф, на авось...  
Вот и классик скорбел: угадало в России родиться.  
Довелось... Ну так что? Не ему одному довелось...

Вера погладила Полетаева по щеке и неуверенно припомнила:

— Зазывающий гуд донесется с туманного рейда.  
Се — трехпалубный в Бургас... А мы все — стихи, имена...  
Мы вершим променад с рыжим другом пархатого Рейна.  
С нами некто Василий Джин-Виски вершит променад...

Тут Полетаева охватил восторг, он сделал несколько больших глотков, в животе стало горячо. Он вытащил из заднего кармана сплюсненную пачку сигарет, закурил, поймал Веркину ладонь и нежно поцеловал.

«...Господи... Море... палуба гудит, Вера не собачится... Много ли мне надо?...»

Дважды подходил стюард, приносил «Джек Дэниэлс» Полетаеву и «бьянко» Вере. Немчура на соседней скамье перешептывалась и округляла глаза. Будь ее, немчуры, воля — так она прямо на катере лишила бы пьющую русскую пару родительских прав на спящую в шезлонге Катю.

Полетаев с Верой дочитали «Путешествие...», потом в полном согласии начали «Большую элегию Джону Дону», но застряли то ли на «булыжниках, торцах, решетках, тумбах...», то ли на «кленах, соснах, грабах, пихтах, елях...».

Ну и чем все это могло закончиться?

Они встали, бросили по беспечному взгляду на Катю и суетливо ушли в каюту, где недавно оставили сумки.

Он стал раздевать Верку еще до того, как открыл дверь. Они нетвердо вошли, не расцепляясь, натываясь на углы и кресла. Полетаев крепко взял Веру за бедра, прижал — она шумно дышала, то царапалась, то сильно обнимала, глаза ее были полуприкрыты, губы стали сухие и горячие. Он целовал Верку в шею, потом стащил с нее через голову платье и целовал в соски, пока она жалобно не запросила: «Ну что ж ты...» Он положил ее, притихшую, вспотевшую, животом на столик... и уже непонятно потом было, кто там кого измотал...

Когда они приплыли на Итаку, и катер, почихивая соляром, пришвартовался, солнце уже садилось в море. В маленьком порту было людно, по пирсам расхаживали смуглые седые мужчины в шортах. Полетаев отчаянно проголодался, а поесть все не получалось. То до порта оставались считанные минуты, то надо было тащить сумки к микроавтобусу, то в толпе высадившихся на пирс туристов пропадал гид с табличкой отеля — нужно было отыскивать гида. А рядом, рукой подать, Полетаев заметил три таверны, оттуда пахло едой, вкусной, горячей, здешней едой. Полетаев было двинулся на запахи, но сдержанно заворчали немцы — хотели побыстрее попасть в отель. Полетаев стал широко улыбаться, попытался уговорить.

Но Вера сказала: «Боря, окстись, с кем ты споришь? В отеле их ждет оплаченный ужин. А здесь нужен кэш. Боши, Боря... Они же удавятся...»

Полетаев вполголоса выматерился, припомнил Марну, Курск и Сталинград, потом метнулся в сторону и купил своим по сэндвичу. Но он уже наслаждался. Он ходил по теплым гладким плитам, между сваями пирса шипели волны, из таверны неслась музыка, мужской голос, изнывая, пел: «Паме гиа ипно Катерина, паме но лаксу ме зои...» Потом микроавтобус долго петлял по узкой дороге, Катя вяло капризничала, Полетаев прикладывался к фляжке. В отель приехали в полубеспамятстве. Юноша в белом кительке вкатил в номер тележку с сумками и стал торжественно рассказывать, как включать кондиционер и открывать балконную дверь. Полетаев остановил его на полуслове, дал два доллара и сказал: «Все, друг, спасибо, вали...»

Им достался бело-коричневый номер. Выбеленные стены и потолок, темные, с претензией, столик, комод и кресла, деревянные жалюзи, пол из полированного известняка, два высоких глиняных светильника и белые полотняные занавеси. Только бар был как бар. Обычный маленький холодильник.

Вера быстро уложила Катю, что-то нашептывая ей сквозь полусонные маловнятные капризы, устало разделась сама, пошатываясь, прошла в ванную, вернулась, легла и, блаженно постанывая, завернулась в простыню.

«Будешь трахать — не буди...» — попросила она.

И через секунду крепко спала.

А Полетаеву уже было жаль любой минуты на этом острове, он держался из последних сил, но налил еще на палец виски, вышел на квадратный балкон, увитый лозой, под ногами тихо поскрипывали половицы. Он послушал далекие гудки с моря, шорох деревьев, немецкое болботание соседей, выпил, выкурил сигарету, громко и нетрезво пожелал по-испански соседям доброй ночи и самых лучших вин, вернулся в номер, разделся, опрокинув пух, и осторожно лег рядом с Верой.

«Овидий... Маре... Пенный всплеск...»

Полетаев уснул.

До того, как Полетаев зашел в первую в своей жизни таверну в Пирее, еще до того, как он с удовольствием впервые торговался в серебряной лавке в Касабланке, еще до того, как в Антибе он проснулся от стука оконной створки, по которой хлестнул мистраль, — за много лет до всего этого он знал Крым, знал, как свою ладонь. Кто помнит это теперь — сараюшечки и верандочки по трешке и по пятерке за койку, дворики под виноградом, дохленький душ?.. Зато правильно все понимали и принимали — в начале октября, когда начинало штормить и лить, стакан коньяка на ялтинской набережной был теплым праздником.

К тому же все они — Тема, Володя Гаривас, Саша Берг — были книжными людьми. Черта с два был бы им нужен Крым без Волошина и Рыжего. «...Октябрь. Море поутру лежит щекой на волнорезе. Стручки акаций на ветру — как дождь на кровельном железе...» Или: «Январь в Крыму. На черноморский берег зима приходит как бы для забавы. Не успевает удержаться снег на лезвиях и остриях агавы...»

И на черта нужен был бы им Крым без фантомов трирем за ялтинским моллом? Если бы они не чувствовали в «Черном докторе» привкус фалернского? Меганом и Караул-Аба были прекрасны, но чего они стоили без генуэзской крепости?.. Там, на севере, за ленинградским морвокзалом, за Выборгской таможней, было, по слухам, окно в Европу — зарешеченное и оберегаемое. А на Фиоленте, в Херсонесе и Гурзуфе горячо ипряно поддувало из окошка в Венецию, Киклады и Левант.

А поскольку были молоды, так ездили туда не только меланхолическим октябрём — «...уехать к морю в несезон, помимо материальных выгод, имеет тот еще резон, что это — временный, но выход за скобки года...». Чего мудрить — когда были деньги, тогда и ездили. И в августе, и в июле — клеили киевских, харьковских, конечно же, московских девиц, жарили на ржавых листах мидии в Ай-Даниле, катались на серфах в Оленевке, покупали по трехе за канистру полуфабрикат новосветского шампанского и «спивали»: «И, значит, не будет толку от веры в себя да в Бога. И, значит, остались только — иллюзия и дорога...»

Через пятнадцать лет Гаривас сказал Полетаеву (они вместе с Темой выпивали в баре, в ненаглядном Темином восемнадцатом аррондисмане): «Аскеза, конечно, дело хорошее... До известных пределов».

«Так что — блаженны нищие духом?» — Полетаев хитро подмигнул Теме. «Нищие духом — козлы и чмошники», — сердито ответил Тема.

«У тебя, Боря, кажется, дружба с Садовниковым, — сказал Гаривас (Тема поморщился и кивнул Гаривасу — скажи, мол, ему, идиоту, меня-то он не слушает). — Это все хорошо, каждый воюет со скукой, как может. Ты, главное, помни, что Слава — мужик боевой, обаятельный, все при нем... Однако Славка — это... карьерный человек. Славка кто у нас?.. Полковник?.. А хочет быть генералом. И станет генералом. Когда ты его продвижению к генеральству способствуешь — это одно. А когда препятствуешь — совсем другое получается. А твои сомнения и метания Славке на хер не нужны. Они служат, они вояки. А ты... Ты из другого цеха».

Но наутро началось... И тон, и атмосфера... «То сидишь не там, то свистишь не так...» На какой-то невинный вопрос Вера тут же ответила «с интонацией».

Катя, едва проснувшись, запросилась в бассейн — Вера велела ей перестелить раскладную кровать. Потому что плохо застелила, неаккуратно.

«Господи, воля твоя... — пробормотал Полетаев. — Ну что ты завелась? Ну горничная же сейчас придет... Все застелет».

Они спустились к завтраку, и Верин взгляд бежал впереди, как луч прожектора.

А в ресторане началось по-настоящему — бананы зеленые, круассаны холодные, людей у кофейного автомата много...

Тогда Полетаев рассердился. Взбрыкнул.

«Отказ от пищи, невыход на работу».

Он отложил бутерброд с беконом и сказал: «Слышь, супруга, хорош. Рот прикрой... Да?»

Верка от неожиданности облилась кофе.

Полетаев встал и добавил: «Вы завтракайте... Я осмотрюсь».

Он спустился в холл.

(Такое Вера, как ни странно, всегда понимала, правильно и сразу.)

Полетаев прошел через прохладный холл с полом из красного гранита, с мебелью под «грубую» и «старую», с киноафишами пятидесятых в темных деревянных рамках, между лотками с неправдоподобно красивыми морскими открытками, неправдоподобно дорогим серебром и салфеточками и оказался на площади перед отелем, под белесым солнцем, среди плотно-зеленых кипарисов и красных бархатных цветов на газонах.

А через двадцать минут он уже расспрашивал яркую полную брюнетку в «rent-a-car». Девушка, осторожно улыбаясь, сказала ему, что лучшие пляжи — на севере острова и что, если он хочет ловить рыбу, то не надо нанимать лодку в порту, там дорого, пусть он лучше наймет «motoboat» в деревне Мораитика, это тоже на севере. А в порту его станут вынуждать купить блесны и оплачивать бензин отдельно. «Эвхаристо», — сказал Полетаев. «Паракало», — улыбнулась брюнетка.

Еще через десять минут он вывернул легкий и жесткий «судзуки-самурай» на шоссе и поехал по направлению к городу. Полетаев еще не знал, что будет там делать, но джип без верха так радостно ревел, за кипарисами, справа от шоссе, вспыхивало бликами море, навстречу жужжали стайки мотороллеров, солнце жгло лоб.

«Вот, пожалуйста, неотложное дело в городе — купить темные очки», — подумал Полетаев. Ему было светло и радостно.

Он въехал в городок, опасливо пробрался через бойкую толчею разнообразных малолитражек, мотоциклов и таких же, как у него, «самураев». Пассивно, в общем потоке он сделал круг по площади со сквериком в центре (успел заметить посреди скверика три вросшие в газон муртиры и поясняющий обелиск рядом), увернулся от фаэтона, обвешанного воланами, колокольчиками и кистями, увидел просвет между «копейкой» (да нет же, не «копейкой», а «фиатом»)!. «Фиатом» шестьдесят седьмого года, тем самым!) и «Renault-twingo» и юркнул в этот просвет.

Все... «Благороднейшее искусство парковки...» Ключ из замка зажигания он не вытащил и нашел в этом некую приятность. Однако мимолетно подумал: «Только не надо к этому привыкать... Вот, скажем, оставляю я машину на Пушкинской и этак вальяжно не вынимаю ключ... Ой! И где же вскоре мой автомобиль?.. Ой, нет автомобиля...»

Теперь он собирался выпить холодного пива, посидеть за столиком и посмотреть вокруг. И чувствовать, что здесь к его, Полетаева, гигантской стране не просто относятся так или этак, а о ее существовании почти ничего не знают. Чувствовать это ему почему-то всегда было приятно. Его всегда радовало другое, ежедневное, житейское, никак не соотносимое с его жизнью чужое.

Полетаев немного прошелся по теплomu, чистому, желтоватому, в выщерблинах, тротуару. Потом он, конечно, зашел в бар. Собственно, зашел он под тент и сел к стойке.

«Brandy, please».

«Паракало...»

«Косо пани?»

Бармен показал три пальца — триста драхм. Полетаев выпил бренди и спросил бармена, с какого момента им, Полетаевым, начинает интересоваться полиция. Бармен поднял брови. Полетаев кивнул на рюмку и показал руками, как он крутит руль.

«Oh! Driving and alchogol! — понял бармен и рассмеялся. — С того момента, как вы въезжаете в патрульный автомобиль».

Полетаев допил бренди, поблагодарил бармена, спросил, где продают серебро («Везде», — лаконично ответил бармен), и пошел дальше. Ювелирный квартал начался через десять шагов.

Полетаев, не торгуясь, купил красивый, необычный, зернистый могоендовид для Гарика и два кольца с нормальным для здешних широт орнаментом Вере (размер Вериного безымянного пальца был размером его мизинца), себе он купил массивный браслет все того же орнамента.

«Белое ионическое серебро!» — со значением сказал продавец.

Продавец пришел в ужас и несказанно огорчился, когда оказалось, что браслет великоват. Браслет унесли в глубь магазинчика, постучали там, позвякали, пошуршали, вынесли горячим и совершенно подходящим к запястью.

— Машину подловим? — спросил он Катю, когда они вышли на Комсомольский проспект.

— Давай, — согласилась Катя.

Всего лишь однажды Полетаева прорвало. Да и то потому, что он хорошо наелся у Темы (это, понятное дело, случилось не «однажды», но, когда Полетаев увидел, как Марта обращается с Темой, пьяным вдребезги, когда он не разглядел, как ни разглядывал, на ее лице никакой брезгливости, никакого холодного терпения, ему стало грустно и обидно), и Вера была страдальчески вежлива.

«Ну чего тебе надо? — неожиданно для самого себя трезво сказал Полетаев. — Рекордсмена тебе надо, красавица? Ты ж когда-нибудь поумнеешь, помягчаешь, дура, тебе под бочок захочется... Что ж ты коллекционируешь мои проколы, супруга?»

Вера поджала губы — грубости она не терпела. Полетаев махнул рукой и ушел спать в свой кабинет. Он вот так всегда махал рукой и недоговаривал. А надо было, наверное, надо было проораться. Может быть, даже врезать Верке разок. Но он всегда не договаривал и уходил к себе.

Вера качала головой, курила на кухне, Катя тихонько шла к ней, они начинали шушукаться, папа был зверь, так было много лет, и никаких надежд на то, что когда-нибудь будет иначе. Над столом в кабинете Полетаев сто тысяч лет тому назад приколот иглой к обоям фотографию Кати. Ей на той фотографии было полтора месяца. Так с тех пор фотография и висела. Полетаев почему-то не вставил ее в рамку. Так и висела все эти годы на иголке. То есть первые два года фотография висела на Ордынке, в коммуналке, а потом, когда они переехали на Сретенку, Полетаев так же, иглой, прикрепил ее в кабинете.

Когда Полетаев с Верой, а вскоре и с Катей жили на Ордынке, у них была огромная комната с голландской печью. Когда поздней осенью шалило отопление, они топили печь. Забавное было время, Веру совсем не тяготила коммуналка. И когда стирать приходилось в общей ванной, и когда пеленки и подгузники висели поперек их комнаты — не тяготила.

«Главное — психологический климат!» — смеялась Вера.

В роддоме Катю завернули в два одеяла.

«Ленту давайте», — равнодушно сказала грузная пожилая медсестра.

«Какую ленту?» — не понял Полетаев.

«Красную... Или синюю...» — сказала медсестра. — Ну ленту — перевязать...»

Полетаев сообразил, что красивая лента нужна, чтобы перевязать конверт с Катей.

...Катя тогда еще не была Катей, ее так называли только через неделю, Вера звала ее «масечка»...

У Полетаева не было никакой ленты, ни синей, ни красной. В машине он нашел скотч, и конверт с Катей перевязали скотчем.

Когда все они приехали на Ордынку, Полетаев вдруг испугался. Он представить не мог, что дитенок будет такой маленький, такой червячок. Дитенок совсем не мог жить без Полетаева и Веры, он разевал синюшный ротик и даже не плакал, не кричал, а мявкал.

Вера немного пометалась, но что-то — кровь, генетическая память — ей сказала, что надо делать. У Веры быстро появился командный голос, она несколько раз коротко глянула на мужа и, видно, сообразила, что теперь она — главная. Полетаев еще пару недель побаивался купать и пеленать Катю. Что Катя — Катя, тоже решила Вера. Коротко и командно.

Вскоре Полетаев взял себя в руки, почувствовал свое счастье, научился всему — спать пунктиром, присыпать, смазывать, кормить, непрерывно стирать. Но тот, первый его испуг Вера увидела и запомнила.

«Another brick in a wall...»

Вечером Полетаев вернулся в отель. Вера была тише воды, ниже травы.

«Вер, я взял машину, нечего тут сидеть, — сказал Полетаев. — На севере, мне сказали, хорошие пляжи... Потом рыбалка... Катюш, рыбу ловить поедем?»

Они долго ехали по узкому шоссе, обгоняя женщин, ведущих осликов с мешками и грудями хвороста на спинах. Они проезжали меж оливковых рощ, через пустые городки с розовыми и голубыми церквями, обгоняя допотопные пикапы с мегафонами — здесь так торговали овощами. Потом Полетаев сворачивал с шоссе на проселок, осторожно выруливал на песок, включал оба моста и ехал вдоль воды. Когда никого вокруг не оставалось — веснушчатых немок «топлесс», дочерна загоревших английских студентов с высокими рюкзаками, таких же, как они, семей на «самураях» и «витарях», — Полетаев останавливал машину и говорил: «Давайте здесь, ребята... Идите в воду, а я быт создам...»

Катя прыгивала с заднего сиденья, бежала к воде, на ходу сбрасывая сандалии и футболку. Вера аккуратно снимала темные очки, стаскивала с ног кеды, приплясывая и чертыхаясь, шла по горячему песку к морю. Полетаев сдвигал на затылок армейскую панаму, подарок Гариваса, закуривал и еще некоторое время сидел в раскаленном «самурае». Потом он тушил в пепельнице окурок, быстро раздевался, бросался в теплую стеклянню-прозрачную воду, возвращался к машине и создавал быт. У «самурая» был небольшой багажник, туда вмещалась вся хурда-мурда. Тент, пенопластовая сумка-холодильник, ласты, надувной зеленый матрас.

Но первым делом Полетаев включал приемник «Филипс» и ставил его на капот.

«Па ме гиа ипно Катерина, па ме гиа лаксу ме зои...»

Полетаев вкручивал в песок желто-красный зонтик тента, стелил покрывало из отеля. На покрывало он бросал бутылку «Перье», Верину книжку, очки для плавания, маленькие деревянные шахматы, «Амбрэ соляр». Из пенопластовой сумки вынимал холодную, без наклейки, бутылку розового вина, одну из

пяти. Молодое вино продавали вдоль шоссе. Полетаев сразу же отпивал половину, поправлял на голове панаму, сидел на мокрый песок, опускал ноги в теплую воду Ионического моря и смотрел на горизонт, где в ирреальной голубизне виделось лиловое, расплывчатое пятно Кефаллинии.

Здесь плавал Одиссей, жесткий, умный мужик, всегда знавший, чего он хочет, но и желавший странного. Здесь жили ионические племена, не подозревавшие, что они «ионические». Люди с коричневой кожей, со спутанными выгоревшими бородами, в заскорюзлых овчинах, с тусклым оружием из бронзы, на маленьких кораблях, пропахших рыбой, тухлой водой и прогорклым жиром, они ни черта не боялись и не подчинялись никому, они были рыбаки, торговцы, скопологи и пираты.

Полетаев доставал из нагрудного кармана сигарету, прихлебывал из бутылки и снова смотрел на горизонт. За спиной у него играла музыка: «...Па ме но лаксу ме зои, на вуме ро мера покино...»

Он прекрасно помнил себя молоденького, помнил, как до двадцати пяти лет точно обреченно, окончательно ЗНАЛ, что нет другого мира, кроме того, где так вольно дышит человек. Нет и никогда не будет. И теперь, когда ему под сорок, он впитывал Корсику, Итаку, Португалию, как этот желтый крупный песок впитывал ленивую мелкую волну, — готовно и жадно. Поэтому он везде пил местное, поэтому злил Веру туземной музыкой.

Он влюбился в эту пустоту и прозрачность сразу. Вправо и влево расстилась широкая полоса бледно-желтого песка, за спиной высился обрыв, поросший поверху сероватой сухой травой и низким кустарником. А перед Полетаевым лежало чистейшее, покойное Ионическое море.

Он допивал бутылку, вставал и вынимал из сумки-холодильника мясо. На берегу повсюду валялся плавник, прокаленный солнцем. Полетаев рыл неглубокую яму, валил туда деревяшки, бросал спичку — плавник мгновенно занимался огнем, вскоре была готова горка красных углей. Полетаев заворачивал куски мяса в фольгу и палкой зарывал свертки в угли. Потом раскладывал на полотенце большие пурпурные помидоры, чеснок, фиолетовый лук, оливки и маслины, свежий хлеб, пластиковые стаканы и тарелки, виноград и белый сыр. Он брал с заднего сиденья огромную глиняную тарелку, которую купил еще в первый день, резал на ней лук, сыр, перец, помидоры, сыпал маслины, солил, перчил, заливал все это оливковым маслом. Потом ставил на полотенце холодную, запотевшую бутылку, сок для Кати, натирал хлеб чесноком и возвращался к мясу.

«Па ме гиа ипно Катерина...»

Вера с Катей лежали на зализанных каменных плитах или бродили по колону в воде, отыскивая крабов и скатов. Полетаев вытаскивал из углей пузырящие жиром свертки, обжигая пальцы, раскрывал фольгу и укладывал мясо на тарелки. Потом звал. Вера подбегала — холодная, мокрая, — целовала Полетаева в висок и кричала: «Катюш! Папа уже все приготовил!»

К ночи они возвращались в отель, бросали «самурай» с ключом в замке где попало, окунались в бассейн и укладывали Катю. Иногда не укладывали, если принцесса желала прожигать жизнь.

Полетаев всюду носил с собой приемник. Сиртаки звучало по всем волнам с перерывами на футбол и прогноз погоды. Из приемника лилось — аккордеон, бузука, барабан — «Па ме гиа ипно Катерина...». Везде — в лавках, магазинах, тавернах.

«Это "хава нагила", балканский вариант», — насмешливо говорила Вера.

Ужинали они в одной и той же таверне, рядом с отелем. На третий раз к ним вышел хозяин — собственноручно выбирать для них рыбу.

«Что такое немцы? — важно спросил господин Закариас, когда в половине второго Катя спала головой на коленях у отца, а Вера, позевывая, ковыряла ложкой десерт. — Что такое немцы? Или шведы?.. По бутылке пива на каждого, и они весь вечер занимают столик... Что такое русские? Они делают заказ! Они хотят филе меч-рыбы, грик-сэлад, креветок, десерт! Их приятно кормить! Это клиенты! Иногда они шумят. Но они столько пьют, что имеют право шуметь!»

«Господи, Боря,— устало вздохнула Вера,— но он же изъясняется совершенно, как бабелевские персонажи!»

«По-английски!.. Говори по-английски! — сердито сказал Полетаев.— Человек к нам со всей душой! Это невежливо».

На пятый вечер Закариас принес к их столик маленький, тяжелый бочонок.

«Локаль вайн,— важно объявил Закариас.— Это подарок».

Полетаев под насмешливым взглядом Веры снял с руки часы «Командирские» и вложил в ладонь Закариаса.

«Надо соответствовать национальному образу»,— виновато объяснил же-не Полетаев.

Полетаев открыл дверь, пропустил Катю и шагнул в квартиру. Он услышал, как Вера говорит по телефону: «Брось, Мартик, это все ерунда... Ничего я про себя не знаю, и никакого отпуска у меня долго не будет... Скорее всего вы сами приедете... Не зарекайся... Вот когда твой загадочный муж и мой загадочный муж будут пить на кухне, мы это обсудим. Привет Теме... Хорошо, Борис ему перезвонит... Целую тебя».

— Ма, мы на машине ехали,— сказала Катя.

— И мы на машине ехали,— весело ответила Вера.— Привет, Борь.

Она поцеловала Катю и сняла с ее головы берет.

— Боря, Марта звонила.

— Да, я слышал... Что у них? Привет...

— У них все хорошо,— сказала Вера.— Тема просил тебя позвонить ему, когда придешь.

Вера недавно пришла домой, она не успела переодеться.

— Марта звала нас на Рождество,— сказала Вера из комнаты.— Что ты думаешь?

— Глупости! — буркнул Полетаев.

— Что?..

— Посмотрим... Катюш, не бросай плащ...

Полетаев разделся, сунул ноги в войлочные тапочки и пошел в свой кабинет.

— Тема сейчас в Нанте! — крикнула из комнаты Вера.— Я записала его телефон. Он просил тебя позвонить.

— Я понял,— ответил Полетаев из кабинета.— А что случилось?

— Боря, может, будет удобней разговаривать в одной комнате? — раздраженно спросила Вера.

Полетаев вошел в гостиную. Вера просматривала Катину тетрадку, Катя стояла рядом с ней и негромко говорила про Гольдони и апельсины.

— Извини,— сказал Полетаев.— А что случилось?

— Он просил тебе передать, что Фриц заболел и переехал.

— Фриц?.. Горчаков?.. Ах ты черт...

— Что случилось? — встревожилась Вера.

— Нет, ничего... Это Темины дела...

— Боря, разбери свою сумку,— попросила Вера.

— Какую сумку?

— Твой «рибок» дорожный. У тебя в берлоге, под столом. Три недели прошу тебя — разбери.

«Там же "Бучананз"...— подумал Полетаев.— Очень кстати...»

В аэропорту, на Керкире, Полетаев собрал по карманам последние драхмы и купил бутылку "Бучананз".

Они вернулись больше месяца назад, прилетели поздно вечером, наутро Садовников срочно вызвал Полетаева на оперативку. Потом Полетаев поехал на директорат — там разбирался скандал, который устроил Вацек на ученом совете. Потом сел читать статью Гариваса в «Мониторе». А в одиннадцать часов вечера Садовников приехал за ним и увез во Внуково. Поэтому сумку Полетаев так и не разобрал.

Вера с Катей пошли на кухню, вскоре там зазвякало и зашкворчало.

— Боря, ты ужинать будешь? — крикнула Вера.

— Нет, спасибо...

— Ты дневник смотрел?

— Нет...

Он мог проверить Катин дневник, мог не проверять — Вера заглядывала туда по утрам. И Катя всегда была дисциплинирована и сообщала о форс-мажорных записях.

Полетаев прикрыл дверь, выволок из-под стола большую красную сумку и открыл «молнию». Сверху лежала карта Итаки. Полетаев бросил карту на стол и сунул руку в сумку, нащупывая там «Бучананз». В аэропорту он завернул бутылку в свитер. Но вместо пузатой четырехгранной бутылки его рука наткнулась на пластмассовую обтекаемую коробочку.

«Это что такое?»

Полетаев вытащил предмет из-под шорт, ласт, пляжных сандалий, каких-то сувенирных раковин и свитера с твердым внутри.

Это был маленький черный приемничек «Филипс».

«Хм... Во дела!» — подумал Полетаев и улыбнулся.

Он не прикасался к приемнику с последнего дня на островах. Выключил его, когда они подплывали к Керкире, и уложил в сумку. Передвинул тумблер на «off», а верньер настройки не трогал. И «Филипс» остался на частоте радиостанции Керкиры.

Полетаев сел в кресло, протянул руку, взял со стола пачку «Голуаз», закурил и посмотрел за окно.

Там шел дождь.

«Я нормальный взрослый человек,— подумал Полетаев,— и эта "зима тревоги нашей" кончится рано или поздно. И Катя поумнеет... И Верка поумнеет. А не поумнеет — так черт с ней. Но мне бы знамение... Именно сейчас, и именно мне...»

Он глубоко затаился, еще раз посмотрел за окно, на крупный частый дождь, на светофор и серых голубей на карнизе. Он представил белесое небо, осликов, навьюченных дровами, оливковые рощи. Он подумал, что можно уйти к Аландарову. Сектор Аландарова занимался спецразработками, для Аландарова у Штюрмера руки были коротки.

Полетаев вдруг передвинул тумблер на «on».

«...Па ме гиа ипно Катерина, па ме но лаксу ме зои...»

Бред...

Полетаев потряс приемник.

«Па ме гиа ипно Катерина...»

Изнывающий голос, бузука, скрипка, аккордеон.

Он расплющил окуроч в пепельнице и обеими руками схватил приемник.

«Филипс» звучал негромко и чисто. Полетаев бережно положил приемник на пол, закурил новую сигарету — руки тряслись, он не сразу попал кончиком сигареты в пламя зажигалки.

«...Па ме гиа ипно Катерина...»

«Судзуки-самурай» взрывал на узком серпантине, розовое вино по трис-та драм за бутылку без наклейки, со светлой пробкой без клейма холодило рот, мелкие волны лизали плоскую бесконечную полосу желтого песка...

«...Па ме но лаксу ме зои...»

Где-то жили страховой агент Лопес и контрабандист Гомес, шумели под ветром араукарии. За сеткой здешних дождей нездешние каравеллы пробивались в бакштаг, силясь достичь горизонта.

«Что же я так раскис? — просветленно подумал Полетаев. — Стыдно...»

Вера Полетаева обеспокоенно прислушалась — в кабинете Бориса было тихо. Обычно, когда муж уходил к себе, оттуда еле слышно доносилось легкое постукивание клавиатуры, громче — телефонные разговоры, скрип плетеного кресла — если Борис вставал из-за стола или садился, шорохи, чертыханье — если он ронял книги со стеллажа.

Сегодня Борис мазнул по ней пустым взглядом и ушел к себе. И там затих.

Пару минут она прислушивалась — из кабинета тихо зазвучала та греческая музыка, что совершенно осточертела ей за время отпуска.

Она негромко постучала — Борис не ответил. Вера толкнула дверь.

Борис сидел в кресле, курил третью сигарету (два окурка лежали в красной керамической пепельнице) и, улыбаясь, смотрел в окно.

— Боря, хочешь чаю? — осторожно спросила Вера.

— А?.. Что?! — Борис вздрогнул и посмотрел «сквозь нее». Он часто так смотрел.

— Хочешь, чаю тебе принесу? — повторила Вера.

— Ты знаешь, — тускло сказал Борис, — знаешь... Вот какое дело...

Вере Полетаевой стало холодно и страшно.

Ну дура же она, дура!.. Господи, что же она за дура!.. Борька последние месяцы глядит нехорошо... Кто ж ее, дуру, тянет за язык?.. Он скажет сейчас, что уходит «пожить» в Темину квартиру... Господи, Борька... Она, дура, не сказала ему, что тайком прочитала последние главы из «Лекций на набережной...» — он же лучше всех... Все эти найманы-шмайманы, рыжие, прочие — ему за пивом должны ходить... Но он читать не дает, а признаться, что сама к нему залезла, — так взбесится... И с Садовниковым у него какие-то странные дела. Две недели жил неизвестно где. Она боялась спросить. Что не у бабы — понимала. А спросить боялась... Он мягкий-то мягкий, а может так отшить... А эта жуткая ссадина на шее, она откуда? И рубец на бедре... Это она недавно заметила, когда Борька выходил из душа... Рубец на своем муже она не сразу заметила! Так не спали же вместе после отпуска, ни разу с того времени вместе не спали!.. Откуда царапина и шрам? Борька что-то бормотал про рыбалку, про расщепившийся сук — этому лепету и Катька бы не поверила... Ох, как нехорошо он смотрит! Вот он сейчас скажет страшное... И Катьку она совсем распустила, если Катька еще вякнет на отца — надо так ей дать!.. Да что Катька — сама виновата... И хватит трахать ему мозги: мол, до сих пор не защитился... Да он мог бы быть вор, педофил и наркоман, а он всего лишь до сих пор не защитился... И что она, дура, может знать про их институтскую кухню? Говорила Марта: там такой серпента-

рий... Какая, к черту, карьера!.. И что же она, дура, сучка дешевая, за спектакли ему устраивает?.. Это же последнее дело — в койке отыгрываться... Борька совсем сник, поди, думает, что она его не хочет, что иногда только чудит, устраивает себе редкие всплески. Чтoб не забыть, как это делается... А она иногда его так хочет, что во рту сохнет... И надо купить ему плащ... широкий, удобный, небрежный дорожный плащ...

— Верка... — Полетаев вытащил из сумки свернутый свитер и достал из него широкую четырехгранную бутылку. — Будь другом — принеси стаканы... Посмотрим на жизнь сквозь вино...

Вера часто закивала, быстро вышла из кабинета, мягко отстранила бросившуюся к ней Катю. На кухне она взяла два стакана, низких, под виски. Держала их в руках, улыбалась и тыльной стороной ладони стирала слезы.

### *Эти двери не для всех*

Я устал сбивать подошвы о бульжники мостовых,  
И английский мелкий дождик сеет дрожь в костях моих.

*Киплинг. Мандалей*

— Ага! — азартно сказал Гаривас. — И ты, значит, тоже считаешь, что солдат главнее физика?

— Нет же! Не так! — Берг махнул рукой. — Период первичного накопления капитала многое ставит на места!

— И что же в этот благословенный период так удачно ставится на места, о Берг? — утомленно спросил Гаривас. Ему был скучен период первичного накопления.

— Я вижу, тебе мои нынешние кореша не нравятся, — запальчиво сказал Берг.

— Да с чего ты взял, что они мне не нравятся?

— Ну у меня глаза есть...

— Ладно, с другого бока зайдем: а чем они тебе ТАК нравятся?

— Вот! — Берг воздел указательный палец. — Объясню. Изволь. У меня к ним, понимаешь, такое отношение... Вот как тебе сказать... «Брат-храбрец»... да! Понимаешь?

— Прекрасно понимаю. — Гаривас кивнул.

Берг махнул рюмку.

— Ты вчера нос воротил за столом...

— Кто нос воротил?

— Ты. Невежливо себя вел. Натан тебе рассказывал про корма, а ты сучал...

— Саня! Окстись! Ну какое мне дело до куриной еды?!

— Хейфецы купили помойку и сделали из нее конфету! Они мне здорово нравятся! У них не было папика за спиной — и у меня не было! У них птицефабрика, у меня магазин. У нас с ними одна группа крови. Ты когда-нибудь слышал такое слово — «партнеры»?

— «Я слово дал. Купеческое слово...» — ехидно сказал Гаривас. — Саня, ты просто увлечен. Остынь.

— У нас же всегда: по ноль семь — и о поэзии... — презрительно сказал Берг.

— Ну, дружок...— Гаривас развел руками.— Кто же виноват, что у твоих нынешних корешей не в чести поэзия?.. Да, впрочем, и проза. И кто виноват в том, что ты был интеллигент, а стал бизнесмен?

— Да... Тебе это скучно. Но в том, чтобы прокормить семью, есть своя поэзия,— убежденно сказал Берг.— В это сучье время...

— В это сучье время надо почаще вспоминать о поэзии,— сквозь зубы сказал Гаривас и закурил.

Берг недовольно промолчал. От Машки, своей жены, он перенял неприязнь к отвлеченным разговорам.

Берг с Гаривасом в пятницу вечером сидели в маленьком офисе на втором этаже магазина «Berg Ski Locasion», разговаривали, попивали коньяк, курили, никуда не торопились. Час тому назад Берг позвонил Машке и предупредил, что задержится потому, что приехал Гаривас.

Машка не возражала.

На углу серого письменного стола, рядом с тарелкой тонко нарезанной бастурмы, рюмками и бутылкой коньяка «Васпуракан» стояла пара ботинок «Доломит». Ботинки сверкали никелированными клипсами и бликовали гладкими шоколадными боками, ботинки хотелось лизнуть.

— А за ботинки ты еще скажешь спасибо,— сказал Берг.

Гаривас кивнул. Ботинки обошлись ему очень дешево, он уже второй год покупал инвентарь в «Berg Ski Locasion».

— Третья клипса утягивает пятку,— сказал Берг.— Утром надеваешь, вечером снимаешь. И весь день — как дома у мамы.

Гаривас еще раз кивнул. Он знал, что Берг сам катается в «Доломитах». У Берга была оперированная стопа, он знал толк в ботинках.

— Хейфецы кормят свои семьи,— миролюбиво сказал Берг.— Их жены могут заниматься детьми. В этом есть своя поэзия. И Хейфецы — приличные люди.

— Да я же не спорю,— сказал Гаривас.— И Хейфецов уважаю.

Это значило: «Я тебя уважаю, Берг. И мнение твое уважаю, не рефлексируй. Но время все равно сучье».

Натан Хейфец и Гриша Хейфец были порядочные, умеренно богатые, способные люди. Берг два года ставил их, плоскостопых, на лыжи. Он выкатывал их в Терсколе и Цермате. И они помогли Бергу открыть «Berg Ski Locasion».

— Время... Время как время... Бывало и хуже время.— Гаривас завел руки за затылок и мощно, похрустывая, потянулся.— «Времена не выбирают — в них живут и умирают...» Но вот какая штука — хорошим людям природа иногда открывает некие потаенные двери. Эти двери не для всех.

— Чего? — недовольно покосился Берг.— Мистика-схоластика... Попроще, Вова, попроще...

— Плесни,— попросил Гаривас.

Берг разлил коньяк. Они чокнулись, выпили.

— Хочешь, врежу по твоему марксизму-материализму? — лениво спросил Гаривас и стал жевать с кожурой лимонный кружок.

— Проще, проще, Вова,— повторил Берг и взял ломтик бастурмы.

— Покатаемся завтра?

— Конечно,— сказал Берг и с удовольствием съел бастурму.— Тебе вообще надо больше кататься. У тебя живот...

— Какой живот? У кого живот? — забеспокоился Гаривас.— Нет никакого живота... Вот и поехали кататься. Ботинки я купил... Завтра и поедем.

— В «Турист» поедем?

— Э, нет... Нет, партайгеноссе Берг. Дай мне трубочку...— Он стал набирать номер.— Врежу-ка я все-таки... По мировоззрению...

— Ты кому звонишь? Поздно...

— Не поздно... Аня? Добрый вечер. Я не поздно? Ага... Володю будь добра... Спасибо... Володь... Привет... Все хорошо. Завтра приехать можно? Прекрасно, Володь, я хочу друга привезти. Ты не возражаешь?.. То есть абсолютное соответствие, можешь мне поверить! На мой взгляд, даже чересчур... Саша Берг, из Крылатского, ты про него слышал наверняка... Да, хроменький, точно... Тот самый. Ну! Я всех знаю. И меня — все... Спасибо, Володь. Два бугеля... До завтра.

Берг внимательно дослушал переговоры, придвинул пепельницу и закурил. Гаривас положил трубку.

— Вот так, майне кляйне либер Берг! — торжествующе сказал Гаривас.— Завтра поедем кататься в чудесное место.

Берг промолчал, он знал все горнолыжные места в Подмосковье и Вовкиного воодушевления не разделял.

— Кстати, ты в горы почему не ездил? — спросил Гаривас.

— А... — досадливо махнул рукой Берг.— Ты не поверишь... Был я старший лаборант, был мэнээс, денег ни черта не было — каждый год ездил. И в Кировск в апреле... Денег, конечно, не очень прибавилось, больше головной боли... Но вот машину поменял, квартиру тоже поменял... Большая теперь квартира... А в горах не был два года. А что ты хочешь — ДЕЛО, едрена матрена...

— Вот-вот... — с неопределенной интонацией сказал Гаривас.

Берг опять махнул рукой и разлил по рюмкам.

— Любишь горы? — грозно и одобрительно спросил Гаривас.

— Кто не любит...

Гаривас — смуглый атлетический сангвиник, всегда готовый к выпивке, приключениям тела и самоиронии — доброжелательно посмотрел на друга и сказал:

— Ладно, не унывай. Ты горный человек, все еще будет. И горы будут. И собираться еще будешь. Любишь собираться в горы?

— Ну!

Они рассмеялись, отсалютовали друг другу рюмками и выпили.

— Куда завтра, Вовка? — спросил Берг, морщась от лимона.

— В хорошее место. В очень хорошее место... В правильное...

— А что ты сказал про двери?

— Двери?

— Ну двери, которые природа... И так далее...

— А! Двери!.. Я тебе подарок сделаю завтра,— сказал Гаривас, выпил коньяк и шумно выдохнул, сделав губы трубочкой.— Я же человек романтический... Рос книжным ребенком... Всегда считал, что для носителей разума и доброты мироздание изредка оставляет этакие... поблажки. Завтра покажу.

— Ну-ну... — сказал Берг.

— Давай собираться. Утром созвонимся.

Они простились, пожали друг другу руки. Гаривас надел меховую куртку, сцепил липучками ботинки, повесил их на шею, громко и нетвердо спустился по лестнице. Внизу он запел: «Лыжи из печки торчат, гаснет закат за горой...». Потом крикнул: «До завтра, Саня!» — и ушел.

Берг сполоснул рюмки и блюда, позвонил Машке, сказал, что выезжает, включил сигнализацию, оделся, вышел и с жестяным грохотом опустил жалюзи. Он пошел к Рублевке, вскоре остановил такси, сел на заднее сиденье и задумался, уткнув подбородок в воротник свитера.

«Да, сборы — такая же равноправная составляющая счастья, как и само катание, — думал Берг. — Говорят, что на свете есть люди, которые аккуратно заканчивают сборы к семи вечера, а в десять ложатся спать... Эти люди не из нашей компании. Они не с нашего двора. Раньше одиннадцати закончить со всеми делами не получалось никогда. К полуночи я делал все предотъездные звонки, укладывал Машку спать и начинал собираться. И, конечно, выпивал. И раз, и два, и три... То есть натурально ставил бутылку коньяка и рюмку на пол. Мог даже для полного соответствия тихонько включить: «Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу...». Или: «А ты приди сюда и в холод, и в жару, на веселую планету простактов. Розовеет ввечеру Донгуз-Орун, и Эльбрус пошит из красных облаков...» — тихо, потому что Машка спит. Она вообще всегда спит. А путешествует «багажом», как она говорит. Чтобы никакой ответственности. Свой паспорт берет в руки два раза — на таможенном контроле. И потом быстро сдает мне... И так, к четырем остается вбить в сумку камеру и всякую мелочь. Ну а потом ложиться уже просто нет смысла. Знаю, что отосплюсь в самолете. В «Шереметьево» обычно приезжаем рано утром, на месте будем к вечеру. Все равно в первый день лучше не кататься. В «duty-free» на бутылки надевают такие мягкие сеточки, чтобы не бились... В самолете еще пара глотков, и это уже «Баллантайнз» или «Джонни Уокер». И на бочок. В Цюрихе пересаживаемся на «Cross-Air»... Совершенно иные сенсорные воздействия... Там сиденья синей кожи, волнующие чужие запахи... А в Женеве уже можно позавтракать. Там во «французском коридоре», на втором этаже есть кафе. Яичница с беконом... И пиво. Высокий холодный стакан. После — некоторая возня, света — штабелюешь лыжи на тележку, потом перекидываешь лыжи и сумки в автобус, сигарета, большой глоток из фляжки (теперь уже никаких бутылок, у нас тут, в Альпах, из бутылок не принято, только из тонких стальных фляжек!) — и поехали из этой весенней Швейцарии в весеннюю Францию! Грязный пористый снег, серое небо — все осталось в Москве. Здесь пробивается первая зелень, чуть ниже шоссе пролетают назад красные черепичные крыши, на франко-швейцарском несокрушимом рубеже пограничники в свитерках с погончиками на мгновение отрываюются от домино и машут водителю, чтобы проезжал. Мы дремлем, просыпаемся, спрашиваем водителя, далеко ли до Гренобля, он по-английски ни черта ни понимает, но улыбается, значит — недалеко... Проезжаем заправки, городки, вокруг сплошной плюшевый газон... Ах, Европа, как мы по тебе соскучились за последние триста лет...»

Однажды, лет пять тому назад, Берг с Гаривасом вышли из автобуса и заглянули в кафе. Они сели за столик и смотрели на площадь, на фонтан с позеленевшим в швах мрамора бортиком, коричневую ратушу и невыразительный памятник гражданам города, погибшим в первую мировую войну.

«Мсье, а на втором этаже живут?» — спросил Берг у гарсона.

«Да, мсье, — сказал гарсон. — Моя семья. Я владелец кафе».

«Вы извините мою бесцеремонность... А давно ваша семья живет в этом доме?»

«Семь поколений», — не задумываясь, ответил тот.

По серому булыжнику ходили толстые голуби, седенькая дама в бежевых брюках поливала из шланга синий «ровер», за соседним столиком тихо разговаривала пожилая азиатская пара, бутуз в наколенниках неуверенно ехал на стучащих по булыжнику роликовых коньках... «La vie en rose...»

«М-да...» — выразительно сказал Гаривас и на школьном французском попросил еще пива.

Гаривас родился и вырос за Уралом, в пыльном панельном городе с нефтекомбинатом, десятком секретных заводов, общевоинским училищем и хоккеем.

ной командой первой лиги. Он не раз говорил Бергу, что можно сколь угодно клясть провинциалов, заполонивших Москву, но, ей-богу, никто ее, Москву, так не любит, как они, провинциалы. Потому что никто так не тоскует по вековому городскому уюту, как интеллигенты, живущие в невыразительных панельных городах.

Когда-то все они — Берг, Гаривас, Тема, Ванька Никоненко, Фриц Горчаков — истово исповедовали городской культ прежних лет:

На Песчаной — все песчано,  
Лето, рвы, газопровод,  
Белла с белыми плечами,  
Пятьдесят девятый год,  
Белле челочка идет...

Ну и, конечно, «Последний троллейбус», «...и выезжает на Ордынку такси с большими сиденьями...»... Всякое такое... Потом каждый выбрал свой круг рая. Тема преподает славистику в Монтрё и Нанте (хотя, черт его, Тему, разберет, чем он там на самом деле занимается, таинственный бывший «безопасник» муниципального батальона «Берта»), Гаривас полгода назад стал главным редактором журнала «Время и мир», Ванька пребывает в молекулярной биологии — от Октябрьского поля до Сан-Диего, водит дружбу с Соросом, Боруховым из «State New-York University» и Риснером, Бергу подай горы и еще эти вот городки с ратушами и фонтанами.

А тогда они с Гаривасом переглянулись, допили пиво и вернулись в автобус.

«Ну что тебе сказать... — Гаривас развел руками. — Слава Богу, что все это существует. Это же и есть НОРМАЛЬНО».

«У нас, блин, как будто жизнь украли!» — злобно сказал Берг.

«Да брось ты, ничего у нас не украли, — беспечно отмахнулся Гаривас. И с удовлетворением добавил: — Не успели, суки».

Утром Берг проснулся от того, что рыл Томас. Томаса подарил Вацек два года назад. Томас ходил на пуховую детскую варежку и пронзительно пищал по ночам. Его вообще сначала называли Тамарой, но вскоре в гости пришел Гаривас, друг животных и детей, произвел исследование и сказал, что это кот.

Томас рос, много ел, апатией отличался как до кастрации, так и после, вырос в мягкого бело-рыжего красавца. Не переносил поездок в машине — его тошнило. Машка была привязана к нему, говорила, что Томас — сапиенс.

Корытце с песком стояло в туалете. Около семи часов Томас совершал отправления и рыл.

— Замри, придурок, — тихо сказал Берг.

Томас затих, а Машка заворчалась.

— Маш... Машунь, кататься поедешь? — прошептал Берг.

Машка невнятно ответила и придвинулась к Бергу теплой попой.

— Ясно, — сказал Берг.

Он осторожно встал, укрыл Машку поверх ее одеяла своим, взял телефонную трубку и ушел в ванную. Там он набрал номер Гариваса и спросил:

— Вовка... Ну чего, едем?.. Доброе утро...

— Доброе утро, — сипло сказал Гаривас и прокашлялся. — Да, конечно...

Поехали.

Берг принял душ, побрился и поставил чайник.

— Саш... — позвала из спальни Машка.

Берг заглянул к ней.

— Ты поехал?

— Ну да... Мы с Гаривасом. Я вернусь к шести.

— Там отбивные в холодильнике,— сказала Машка и с головой накрылась верблюжьим одеялом.

Берг позавтракал, положил в сумку готовые отбивные в фольге, залил термос и подумал, что его холостой друг Гаривас, конечно, ничего не возьмет, а к трем часам пополудни проголодается и станет недоуменно оглядываться в поисках кафе с глинтвейном, шпикачками и камином.

Когда он подъезжал к «Юго-Западной», часы на запястье пискнули — десять.

Гаривас стоял у метро и протирал очки.

— Привет,— сказал Гаривас, положив лыжи на траверсы, а палки и сумку — на заднее сиденье.— Который час?

— Десять... Привет.

— Так,— сказал Гаривас.— Рули. Поезжай по Кольцу. К Дмитровке.

— Ты не темни,— сказал Берг и тронул машину.— Куда едем?

— Ты помнишь поворот с Дмитровки на Ярославль?

— Ну... Через канал? В Яхрому едем?

— Рядом.

— В Ильинское?

— Рули, Саня.

— Хорошо, саиб. Слушаюсь, саиб,— сказал Берг.

Они поехали по Кольцу, Гаривас достал из кармана кассету и поставил — у него была такая причуда, он носил с собой кассеты и ставил их в чужих машинах, домах и даже в барах.

— Это что? — спросил Берг.

— «Скрипач на крыше»,— ответил Гаривас.— Марк мне позавчера записал.

«To life! To life! Lekhaem! Lekhaem! Lekhaem! To life!» — нормальный мюзикл.

Гаривас любил такие. Первая жена Берга говорила Гаривасу: «Вова! Я ничего не имею против национальной культуры... Но только — если это не через край. Ты представь, что моя мама, Минасян, начинает при твоём появлении шпарить главами из «Давида Сосунского», а мой папа, Лысенко, заводит «Ничь яка мисячна...», а после пускается в гопак...»

«Антисемиты — это которые против семитов!» — остро реагировал Гаривас.

Берг убавил звук.

За Икшей Гаривас попросил остановить. На маленьком базарчике он купил ветчины и пива.

— Я взял поесть,— сказал Берг, когда Гаривас вернулся в машину.

— Ты взял, так и я взял... Слушай, дай порулить, а?

Они поменялись местами.

— Черт, приятно...— сказал Гаривас.— Сколько литров?

— Два... Ты летай пониже.

Берг-то свою «вектру» знал хорошо — она вылетала сильно, отлично держала дорогу, но была тяжеловата. А Гаривас несколько лет подряд ездил на легоньком старом «Гольфе» и мог не рассчитывать.

— Что там твой бегунок?

— Скоро...— довольно сказал Гаривас.— Дня через три. Вчера звонил из Хельсинки.

Последние недели Гаривас жил без машины, ждал, когда ему пригонят из Голландии «омегу».

— Коробка — автомат?

— Ясное дело... — сказал Гаривас. — На то и «омега».

— Какой цвет?

— Беж, — торжественно ответил Гаривас.

— Цвет неброский, — одобрительно хохотнул Берг.

— Кстати, ты знаешь, кто поехал за моей машиной? Коныч.

— Надо же! — усмехнулся Берг. — Помню его. Он же был вундеркинд, да? Звезда курса...

Коныч, Гаривас, Бравик и Генка Сергеев учились в одной группе, в Первом меде. Гаривас теперь даже не вспоминал, что когда-то был ГОСПОДИН ДОКТОР. На подначки друзей и вопросы интервьюировавших он отвечал цитатой: «Не знаю, что в моем лице приобрела литература, но медицина — точно ничего не потеряла».

— Коныч — голова, — сказал Гаривас. — Знаешь, он единственный из всей компании, кто защитился в двадцать четыре. А докторскую — в тридцать два. Сильно?

— Сильно... А где он защищался?

— В Институте трансплантологии.

— А теперь гоняет машины? — спросил Берг.

— Ты не нагнетай. Ну гоняет. Он же не героин продает.

— Бравик говорил, что он чистоплюй.

— Господи... Ты-то что в этом понимаешь? Ну говорил что-то Бравик... — Гаривас достал из кармана куртки пачку сигарет, тряхнул, вытянул сигарету зубами и вдавил прикуриватель. — Коныч защитился, стал работать в институте... Нормальный доцент... Вскоре стал бы вторым профессором.

— И что?

— Да, в общем, ничего... — Гаривас прикурив и пустил толстую струю дыма в ветровое стекло. — На кафедре все было отлажено. Человека только поднимали из приемника — он уже все знал. Что почем. Все было четко. Правильно. Без постыдной, так сказать, суеты. И заметь: сплошной кэш. Страховые полисы там никого не интересовали. Впрочем, можно было и с полисом... Кафедрой тогда ведал Пушкарев. У него была секретарша, мышка такая... Она всех обходила — накануне операций и перед выпиской. Докторам оставалось, собственно, работать. Вроде бы порядок... Но, с другой стороны, знаю я этот порядок... Как в кабаке — чаевые поровну. Опять же: все равны, но есть которые равнее... Фуфло все это... Пушкарев приходил в операционную к раскрытому животу. Анестезистки вытирали салфетками его высокий профессорский лоб. Он делал все самое вкусное и интересное. Ассистенты ушивались... Это мы проходили... Все это фуфло.

— Короче, Коныч не вписался, — сказал Берг.

— Еще как не вписался! Он ведь считал, что кто даму обедает, тот ее и танцует. Раз он принимает и ведет, то он и оперирует. И все деньги ему. Тут он и вошел в конфликт с реальностью. Ему бы многое простили — понты, амбиции, склочность... Четкого разграничения обязанностей не простили. Коныч ведь как думал: ребята, вы прагматики, я прагматик... Чего нам, прагматикам, делить? Но так ведь черт знает до чего можно договориться... Так можно договориться до того, что Пушкарев — никакой не вождь. Нормальный рукастый оператор, но не вождь. И что у Пушкарева бывают — и нередко — свои обсервы. И что Коныч, если разобраться, ничем не хуже Пушкарева. Да просто лучше. Короче, Коныч нарушал равновесие. А потом еще был эксцесс. У них был скоропомощной день, привезли тяжелого больного... Не помню подробностей... Пушкарев сказал ФРАЗУ, он скор на фразы: «Я трупы не оперирую...». На беду ря-

дом случился Коньч. Он завелся, настоял, устроил, блин, романтику хирургии... Удачно прооперировал.

— Ну понятно,— брезгливо сказал Берг.

— Его начали есть,— сказал Гаривас.— Кушать. Его начали подставлять. То есть его перестали прикрывать, что, в сущности, одно и то же. А иногда и хуже.

— А что дальше?

— С кафедр он ушел. Работал в сорок шестой больнице. Это было просто ни к чему... Там никто ничего не умел. Коньч умел. Умничал... Чрезбрюшинный тораколломпальный доступ... Какие-то пластические чудеса по дежурству... Заведующий был алкоголик, оперировать лез все время... Убийца. Коньч ему по морде дал...

— Ну?

— Ага... Уволили по статье... Потом его Кучерский пригласил. В андрохирургию. Он к Коньчу хорошо относился, уважительно. Дал ему два операционных дня. Живи — не хочу... Но амбиции... Кучерского он тоже начал учить... Опять ушел.

— Но он не забухал? — тревожно спросил Берг.

— Нет! — твердо сказал Гаривас.— Это — нет. Кстати, стал много кататься. Приезжал на мою гору каждый день. Выговаривался.

— На какую ТВОЮ ГОРУ? — ревниво спросил Берг.

— Скоро увидишь... Он хорошо катается... Пива хочешь?

— С удовольствием,— ответил Берг.

Он потянулся к заднему сиденью и вытащил из сумки Гариваса банку пива.

— Ох, как оно хорошо! — сказал Берг, сделав несколько больших глотков.

— Отдыхай,— добродушно сказал Гаривас.— Мастер ведет машину. А ты отдыхай. А вчера мы по-взрослому... Пора, наверное, тормозить с этим? Годы свое берут, нет?

— Тебе пора — ты и тормози,— заносчиво сказал Берг.

— Я уснул в такси,— пожаловался Гаривас.— Ты не лечишься по утрам?

— Нет. А ты?

— Не лечусь. Нормально... Над моей печенью трудились многие поколения непьющих евреев.

— Ты скажи, куда мы едем?

— Куда надо едем... К Володе Немчинову на базу. Я вот о чем тебя попрошу — ты там поменьше расспрашивай. Особенно сначала. Нет, серьезно. Я сам все объясню, Володя Немчинов объяснит. Все поймешь, когда надо будет.

— Да чего пойму-то? — улыбнулся Берг.

— Кстати, о Коньче — он ведь бесплатно поехал за моей машиной. Ты не думай, что я старого товарища пошло нанял. Я ему очень настойчиво деньги предлагал. Но он взял только на дорогу, бензин и визы.

— А почему?

— Точно не знаю, но догадываюсь. Я привозил его к Немчинову в январе. Теперь он катается только здесь. И ты свою гору теперь забудешь и только здесь будешь кататься.

— Ты очень таинственный человек, Гаривас,— сказал Берг.— Но ты все-таки летай пониже... (Гаривас выехал на встречную и обогнал три машины подряд.)

Через некоторое время они переехали по мосту через канал, свернули налево, поднимались и спускались по заснеженной дороге по холмам, проезжали лесочки, церковь, дачи. Гаривас повернул в последний раз, и машина по глубокой колее подкатила к длинному одноэтажному дому с красной жестяной кры-

шей. Горок вокруг видно не было, и Берг подумал, что дом как раз на горе и стоит. И верно — вскоре он увидел метрах в пятидесяти от дома опору подъемника. Трос уходил вниз, барабан вращался. Гаривас осторожно пристроил машину между желтым четыреста двенадцатым «Москвичом» и старым, коробчатым «исудзу-труппер».

— Ну вот, приехали,— сказал Гаривас.— Посиди минутку, я сейчас.

Он вылез из машины, подошел к крыльцу, открыл дверь и пропал.

Берг немного посидел, потом тоже вышел, закурил и осмотрелся.

Здесь он прежде не бывал. Хотя он бывал, кажется, во всех лыжных местах вокруг Москвы. Дом был большой и ухоженный. Крышу красили этим летом, оконные рамы — тоже. Штукатурка не осыпалась нигде. В центральной части фасада угадывалась столовая, из открытых форточек пахло едой и слышался работающий телевизор. На коньке крыши сверкала новенькая параболическая антенна. Перед домом стояли несколько машин — «шестерка», «Москвич», «исудзу», две «Волги» и новый «пассат». Еще стоял «Буран». Было тихо. Слабое поскрипывание барабана подъемника и негромкое бурчание телевизора из дома лишь завершали эту тишину. Берг с удовольствием затаился. Погода была неважная, пасмурно, но предстоял день с катанием, может быть, какие-то приятные люди (Гаривас всегда обитал там, где встречались приятные и умные люди), вкусный обед в теплом доме, рюмка-другая коньячку, еще немного катания, может быть, бильярд... У Берга было хорошее настроение.

Входная дверь два раза дернулась, приоткрылась, и на низкое крыльцо с утоптанном снегом выскользнул рыжий коккер-спаниель. Он глянул на Берга, поводит носом, твякнул и побежал за дом.

Потом на крыльцо вышли Гаривас и невысокий брюнет с проседью, лет сорока, в старой нейлоновой куртке, мешковатых джинсах и сноу-бутах.

— Саня! — позвал Гаривас.

Берг бросил сигарету и подошел.

Гаривас с брюнетом шагнули с крыльца и шли ему навстречу.

— Здравствуйте,— сказал брюнет и протянул большую ладонь.— Володя.

— Добрый день.— Берг пожал протянутую ладонь.— Берг... Саша.

— Располагайтесь,— приветливо сказал Володя.— Гаривас вам все покажет. Мы с вами встречались.

— Да?

— Вы не помните? В Цее, в восемьдесят восьмом... Мы с вами немца спукали.

Сезон восемьдесят восьмого года Берг проработал спасателем в Цейском ущелье.

И тут он вспомнил Володю.

Тогда поломался немецкий лыжник — на большой скорости зарылся по колени в фирн. Из спасателей наверху оказался один Берг. Спускать немца в стальной «лодке» ему помог доброволец из публики. Это был Володя.

— Точно... Здравствуйте, Володя! — Берг обрадовался.

— «Буран» можно взять? — быстро спросил Гаривас из-за Володиного плеча.

— Не надо! — уже недовольно сказал Володя и резко повернулся к Гаривасу.— Я вас сам отвезу.

Берг сразу догадался, что Гаривас когда-то взял «Буран» и произошло что-то плохое.

— Переодевайтесь,— говорил Володя.— Чайку попейте. Вечером баня будет. Останетесь?

— Посмотрим,— обиженно сказал Гаривас.— Свободная комната есть?

— Идите в мою. Я буду в мастерской. Ты, Гаривас, загляни ко мне, когда оденешься.

Володя пошел к дому, потом остановился и поманил Гариваса пальцем. Тот послушно приблизился, Володя тихо спросил о чем-то.

— Нормальная реакция.— Гаривас пожимал плечами, смотрел себе под ноги и кивал.— Свободно говорит... И по-английски... Упаси Бог... Да был он там сто раз...

Володя внимательно посмотрел на Берга и ушел в дом.

Они сняли лыжи с траверсов, прихватили из машины палки и вошли. За входной дверью оказался маленький тамбур, там стояли лыжи — спортивный «Династар X-9» с виброплитами, очень модные «Саломон» этого года и жуткие, исцарапанные «Полспорт» с веревочками. Друзья поставили свою амуницию в угол. В тамбур выглянул Володя и сказал Гаривасу:

— Лыжи в дом не носи. И снег сметай с ботинок.

— Избегай случайных связей и не стой под стрелой,— ответил Гаривас.

— И не кури траву в столовой,— строго сказал Володя.

— Боже упаси! — Гаривас сделал большие глаза.— Нам можно пройти?

Володя одобрительно посмотрел на берговские лыжи «Хэд», на спортивный неавтоматический крепеж и посторонился.

За тамбуром начинался длинный, выстланный чистым линолеумом коридор с дверями по обе стороны. Они пошли по нему и сразу столкнулись с густо загоревшим крепышом в голубом комбинезоне.

— О! Привет, Гаривас... Здрасьте...— сказал крепыш и широко улыбнулся.

— Леха, мы крем забыли.— Гаривас ткнул крепыша кулаком в живот.

— Там, на подоконнике.— Крепыш махнул рукой и посмотрел на Берга.

— Это Саша Берг,— сказал Гаривас.

— Сашу знаем,— бодро сказал Леха.— Саша, вам экспертные «Доломит» завезли?

— Да.— Берг кивнул.— Приезжайте... Двести восемьдесят пять... «Технику» тоже завезли.

— Двести восемьдесят пять,— уважительно сказал Леха.— У людей есть совесть.

— Слушай, дай пройти,— попросил Гаривас.

Крепыш посторонился и сказал им в спину:

— Да вы не спешите. Там только включили все. Десяти еще нет.

Друзья вошли в комнату с латунным номерком «19», и Берг спросил:

— Что включили? Где десяти нет? И чего — десяти?

— Десяти часов нет,— сказал Гаривас.— Переодевайся.

Последние четверть часа все только и делали, что входили, выходили, выглядывали и говорили малопонятное. Бергу это надоело. Он хотел кататься.

— Сходи за сумками,— желчно сказал он.

Переодевать-то ему было нечего. В сумке лежали еда, термос и ботинки. Гаривас ушел, а Берг присел на коечку гостиничного типа, немного посидел, встал и направился в столовую. Там «покоем» стояли столы, застеленные цветастой клеенкой. Работал телевизор, наверное, спутниковый канал — диктор бойко говорил по-французски. На стенах висели схемы Инсбрука, Валь-д-Изера и Ле-Доз-Альпа. На двух подоконниках стояли цветочные горшки с зеленью, пахло котлетами. В углу пили чай двое кряжистых мужчин в футболках и девочка лет десяти. Девочка, беловолосая, угловатая, с «пони-тейлом», вертела головой и двигала по столу пустую зеленую кружку.

— Пап, я же знаю — как...— говорила девочка, и видно было, как ей хочется, чтобы мужчины поскорее допили свой чай.

— Что за глупости! — недовольно буркнул один.

— Я же знаю, как попросить! — не унималась девочка. — Вот слушай: фортаж до ски, силь ву пле!

— Зачем там? — возражал мужчина. — Я вчера тебе точил.

— Катя, — басом сказал второй, — там нужно только кататься. Больше ничего. Только кататься.

— Меня не выдергивает... — канючила девочка. — Меня совсем не выдергивает! Пап... Ну пап!

— И не надо ничего покупать! — твердо сказал «пап».

— А в туалет?

— В туалет... Да, в туалет можно, — вздохнул «пап».

— А меня не выдергивает! — хвастливо повторила девочка.

— Надевай куртку и иди на гору, — пробасил второй.

Девочка поставила на стол кружку и выбежала из столовой.

— Ее действительно не выдергивает, — сказал «пап».

Бергу стало неловко от того, что он их разглядывает. Он негромко сказал «добрый день» и сел перед телевизором, спиной к мужчинам.

— Добрый день, — ответили двое, допили чай и вышли из столовой.

И мужчины, и девчонка — Бергу это сразу бросилось в глаза — были еще чернее того крепыша в коридоре. И еще они были похожи друг на друга. Ну просто как близнецы.

По коридору шумно прошел Гаривас, задевая сумками за стены.

— Саня! — вскоре крикнул он. — Ты где?

— Я здесь, — громко ответил Берг и вернулся к комнате номер девятнадцать.

— Чай пить будешь? — спросил Гаривас.

Он сидел на кровати и втискивал ногу в ботинок.

— Нет, — ответил Берг. Он достал из сумки очки, перчатки и сел напротив Гариваса. — Там чай пили... Два мужика и девочка. Слушай, чего они все тут такие загорелые?

— Загорели, — сказал Гаривас. — Это Игорь с Олегом. А девочка — Игоря дочка. Костю Бурого помнишь? Архитектор, Темы Белова дружок... Бурый с Олегом в Ираке работали... Олег с Игорем — близнецы. Заметил? Они инженеры. Строители.

Он защелкнул клипсу и встал.

Берг тоже надел ботинки. Они прогрохотали по коридору, взяли в тамбуре лыжи с палками и пошли к горе. Им навстречу прошли пять человек с лыжами на плечах, они улыбочиво здоровались с Гаривасом и приветливо кивали Бергу. Берг всмотрелся в лица — трое были совершенно коричневые, а двое сгорели, носы пылали, губы растрескались.

«Что же, Олег с Игорем как загорели тогда в Ираке, так до сих пор...» — озадаченно подумал Берг.

— Комон са ва, Гаривас! — крикнули от подъемника.

— Са ва бьен, — ответил Гаривас.

— Кто это с тобой? — бесцеремонно-дружелюбно крикнули еще раз.

— Саша Берг!

— Комон са ва, Саша!

— Здравсьте, — ответил Берг и тихо спросил: — А это кто?

— Наш народ, интели, — легко сказал Гаривас.

Они вышли к склону.

— Смотри, — Гаривас показал рукой, — вон та гора называется Север. Эта соответственно — Юг.

За горой, на вершине которой сейчас стояли Берг с Гаривасом, стелилась равнина, метров триста. Из снега жидко торчал камыш с пушистыми метелками.

«Болото», — подумал Берг.

За равниной круто поднималась вверх другая гора, поросшая высокими со-снами. У подножия стояли будки подъемников, а возле них — несколько фигурок. Одна из фигурок поползла по склону вверх под невидимым отсюда тросом.

Горка, на которой они стояли, была раскатана. Посередине росла кряжистая разлапистая сосна. Внизу, широко расставив руки и ноги, сползал на лыжах ребенок, совсем маленький, лет четырех. Он походил на Нила Армстронга на Луне, сходство умножал оранжевый пластиковый шлем. У подножия стояла девушка в вязаной шапочке и красном комбезе.

— Поворачивай, Костик!.. И еще раз поворачивай! — донеслось снизу.

— Чего я не люблю — так это детей на горе, — с душой сказал Гаривас.

Берг усмехнулся — детей Гаривас терпеть не мог, это было общеизвестно.

— Ты с возрастом помягчаешь, — пообещал Берг.

— Мамаша! — зычно крикнул Гаривас. — Уберите дитя с горы! Во избежание!

Девушка подняла ладонь козырьком к глазам, посмотрела наверх и четко ответила:

— А пошел бы ты, Гаривас!

— Бардак на палубе, — беззлобно сказал Гаривас. — Никакого уважения к ветеранам.

— Вовка, мы будем кататься? — спросил Берг.

— погоди... Продолжаю... Итак, Север. Все сюрпризы ждут тебя там. Сейчас должен приехать Немчинов... Он нас отвезет.

И действительно, послышался нарастающий мотоциклетный звук. Подка-тил «Буран» с Володей за рулем.

— Чего вы стоите? — недовольно спросил Немчинов.

Он подгазовывал и, привставая, смотрел на дальний подъемник.

— Отвезешь? — спросил Гаривас.

— Бугели возьмите. — Володя протянул им скрученные бугели.

Берг сунул бугель за пазуху.

— Значит, так, ребята... — сказал Немчинов. — На все про все вам три часа. Гаривас, ты слышишь меня? Если выдернет — сворачивайтесь.

— Ты чего? — изумился Гаривас. — Саню с непривычки выдернет — концерт окончен?

— Ну, значит, окончен! — зло сказал Немчинов. — Ты почему так себя ведешь, Гаривас? А может, тебе показать, где дверь, а? Гаривас? Чтобы ты потом в Крыле шкрябал?

— Как я себя веду? — огрызнулся Гаривас.

— Короче, все! — Немчинов был рассержен не на шутку. — Спускайтесь.

Он газанул и поехал вниз.

— Что происходит? — Бергу все это не нравилось.

Гаривас наобещал ему чего-то необычного, а сам втянул в свои непонятные дразги.

— Да ладно! — отмахнулся Гаривас.

Они толкнулись палками и поехали. Берг прислушался к своим ощущениям — «Доломиты» держали ноги сильно и удобно. Внизу он остановился, нагнулся и утянул клипсы еще на одно деление.

Немчинов ждал их у опоры. «Буран» стрекотал и обдавал выхлопом.

— Цепляйтесь, — сказал Немчинов. — Гаривас, договорились?

— Да, саиб. Слушаюсь, саиб,— буркнул Гаривас.

— Вот тебя выдернуло в прошлый раз,— уже спокойно сказал Немчинов.— Ты опять полез. Потом еще раз. И снова ты полез. Потом неделю никто не катался.

— Ну да? — ошеломленно сказал Гаривас.— Неделю?

— Вот тебе и «ну да»!

Гаривас выглядел виновато и сконфуженно. Берг его давно таким не видел.

— Я не знал,— убито сказал Гаривас.

— Вечером извинись перед всеми.

— Извинюсь,— послушно сказал Гаривас.

Они привязали фалы к скобе за сиденьем, и Немчинов быстро повез их замерзшему болоту. Осторожно проехав по камышу, Немчинов газанул, и накапанная заснеженная дорога полетела им под лыжи. Подъехав к горе на той стороне, они отцепились от «Бурана». Немчинов обернулся и сказал:

— Давай, Гаривас, покажи все Саше... И поспокойнее... И на немцев, пожалуйста, не ори. Без толку... Бараны...

Он кивнул Бергу и, вздымая белый бурунчик, покатил обратно, через замерзшее болото. Берг огляделся. Два подъемника расходились кверху V-образно, тросы тянулись за сосны и там пропадали из виду. Между будками стояли двое на лыжах, они не обернулись на шум двигателя, от одного из них тянулся дымок. Берг почувствовал сильный аромат трубочного табака. До того, как те двое повернулись, Берг знал, что увидит загорелые лица. И он их увидел.

— А ты не торопиться, Гаривас,— сказал один, вынув изо рта трубку.

— Всем привет,— сказал второй.

— Что, Гаривас, жаба давит? — спросил тот, что курил трубку.— Через наш подъемник будешь кататься?

— Хоть говенная, а все же валюта. Все же тратить исключительно жалко...— ответил Гаривас и подмигнул трубачу.

— После двенадцати «ски-пасс» на «Жандри» стоит сорок франков,— укоризненно сказал второй.— В полтора раза дешевле. Зато не надо дыру грузить.

Берг испытал мимолетное раздражение, он не любил бывать в чужих компаниях, где говорили на своем жаргоне. Еще он увидел, что у этих двоих к петлям «молний» пристегнуты закатанные в пластик карточки.

«Прямо настоящий клуб...— уважительно подумал Берг.— Даже "ски-пассы"...»

Вдруг раздался неясный звук — то ли хлопок, то ли щелчок. Слева от Берга неожиданно показалась полная женщина лет пятидесяти, в полартексе и на красных «Россиньолях». Она подъехала к будке подъемника, слегка потеснила Берга, сказала: «Разрешите...», подцепила бугель к тросу и стала подниматься.

— Вера Сергеевна, вы обедать пойдете? — крикнул ей в спину тот, что курил трубку.

— Я не хочу,— громко ответила женщина.— А Николай Федорович скоро спустится.

Она поднялась выше и пропала за соснами.

«Что за чертовщина...» — подумал Берг.

От подножия горы до будки было метров тридцать. И Берг хоть и стоял лицом к горе, не видел, чтобы дама на «Россиньолях» проехала эти тридцать метров. И она не стояла у подъемника, когда Немчинов подвез их на «Буране».

— Ну что, Сань, поднимайся,— сказал Гаривас.

Берг достал из-за пазухи бугель, бросил под ноги свернутый фал, подцепился к тросу и стал подниматься. Склон располагался слева от трассы подъемника, и что-то показалось Бергу странным.

Тут он сообразил — что. Лыжню под тросом укатали до льда. То есть поднимались здесь сегодня много раз. А склон слева — он оставался нетронутым. На эту горку поднимались сегодня, и лыжню под тросом раскатали сегодня — снег последнюю неделю шел ежедневно, и вчера тоже шел. Лыжню под тросом раскатали, а горку — нет. А всего-то склона было (Берг уже прикинул) — метров двести. Пять человек за час разъездили бы всю гору.

Тогда Берг решил, что поднимаются здесь, а катаются справа от подъемника. Наверное, из-за сосен склон, где катаются, не виден. Но странно, потому что гора-то — отличная. Крутая, без бугров, чего здесь не кататься? Но, видно, справа — еще лучше...

Берг выкатился к верхней опоре, бугель звякнул об отбойник. Возле мачты лежали шишки и окурки, а снег был разбит и расчерчен лыжами. Толстушка на «Росиньолях» сматывала фал и косилась на Берга. Нос и щеки толстушки (надо ли говорить — «покрытые густым загаром»?) были жирно намазаны зелеными полосами из «карандаша».

Берг смотал фал, посмотрел на кроны поскрипывающих под ветром сосен и сказал толстушке:

— Погода, конечно, не очень...

— Не знаю...— недоуменно ответила та.— Разве что задувает... И то редко...

Берг вежливо улыбнулся и поехал. На нетронutom снегу ехалось прекрасно. Он взял чуть левее, поюлил между соснами и выскочил к нижней опоре. Там не было ни Гариваса, ни трубача. Стоял второй из той пары и держал в руке маленькую плоскую выгнутую фляжку в желтой коже. У Берга была похожая фляжка, лежала в кармане. Он посмотрел на склон — склон отсюда просматривался на две трети,— по горе никто не ехал. Он накинул бугель на промасленный трос и стал подниматься.

Сосны шумели от ветра, крутились, поскрипывая, колесики на мачтах, гудел мотор подъемника. Обычные звуки. Но чего-то не хватало... Звука лыж.

Гариваса на горе не было, не было толстушки, не было того курильщика со «ски-пассом». Никого. Только сосны. Берг спустился — на этот раз с противоположной стороны. На горе по-прежнему не было ни души, а у подъемника уже толпились люди. С десяток лыжников.

Берг остановился возле худого лыжника с торчащей седой бородой. На макушке у бородача еле держалась вязаная шапка с помпоном, одет он был в допотопную выцветшую штормовку поверх свитера, он навалился грудью на палки, тяжело дышал и улыбался. Седые пряди на лбу слиплись от пота.

«Астматик, что ли? — подумал Берг.— Горка короткая, а он так устал...» Он сочувственно и уважительно посмотрел на бородача. Берг тепло относился к тем, кто катался, невзирая на возраст и болезни. А еще к тем, кто приезжал кататься на электричке. Когда-то он сам тоже ездил кататься на электричке. И на автобусе.

Седой выпрямился, оказался на голову выше Берга, мощно толкнулся палками и одним движением скользнул к подъемнику.

«Вот тебе и астматик!» — хмыкнул про себя Берг.

— Саня! — рядом, как чертик из табакерки, возник Гаривас.

— Где ты был? — обиженно спросил Берг.

— Проехался разок,— ответил Гаривас. Он сиял.— Погода чудесная.

Дул порывистый, промозглый ветер, над соснами нависало тяжелое серое небо.

— Цепляйся,— сказал Гаривас.— Давай, Сань. Пора. Сейчас все покажу...

Наверху они смотали фалы, Берг достал сигареты, закурил. Гаривас попросил у него сигарету и тоже закурил.

— Ну вот что, Саня,— сказал Гаривас торжественно.— Значит, так... Реакция у тебя хорошая. Я так полагаю, что без истерик обойдется... Здоровая у тебя, значит, психика... Да. А я все время рядом буду. Понял, да, я рядом?.. Ну-ка, посмотри вон туда...— Он показал палкой.

— Ну? — недовольно спросил Берг.

Ему все это не нравилось. Эти исчезновения, появления, пронизывающий ветер, множество незнакомых людей... Черт, ведь мог же спокойно выспаться с теплой Машкой... позавтракали бы вдвоем, сделал бы ей оладьи с яблоками, покатались бы в Крылатском...

Гаривас взял его за плечо, слегка тряхнул и спросил, показывая подбородком вниз:

— Сосну с отметиной видишь?

— Вижу.

Ну, ясно, Гаривас затеял очередной свой розыгрыш...

На склоне, ниже, стояла сосна, на стволе — жирная синяя метка.

— Сильно толкнись, разгоняйся и проезжай,— сказал Гаривас.— Понял?

— И чего? — сердито спросил Берг.

— А ничего! — Гаривас вдруг хохотнул.— Будет тебе и материализм, и прагматизм, и кофе, и какава с чаем!

Берг посмотрел в лицо своему другу и вдруг понял, что тот вовсе не собирается его разыгрывать.

Гаривас тоже смотрел на него — как смотрят на именинников и победителей международных конкурсов. Обещающе, радостно и слегка завистливо.

— Главное — не останавливайся,— серьезно сказал Гаривас.— Иначе выдернет... Захочешь вернуться — выбери горизонтальный участок и встань. Я буду рядом. Да, еще... За сосной тряхнет... Приготовься... Давай. Уэлкам ту клуб. Давай.

Берг еще раз посмотрел на сосну. Склон до нее был очень раскатан.

«Ладно,— подумал Берг.— Прокачусь и пойду в дом... Ничего тут нет особенного. Гора короткая, погода плохая. А в доме — бильярд... Заварю кофе, телик посмотрю».

Он толкнулся и поехал к сосне, прямо, не поворачивая.

«Тряхнет!» — крикнул позади Гаривас.

Берг катился к сосне с отметкой и видел, что за ней следов лыж нет. Нет. Лежит ровный снег и сосновые иголки на нем.

Он обо всем догадался за мгновение до того, как в глаза ударило солнце.

Когда Гаривас повернул машину на Дмитровку, стемнело совсем. Шел крупный густой снег. У поста ГАИ их остановили, инспектор наклонился к приопущенному стеклу, узнал Гариваса и махнул жезлом, чтобы проезжали. Берг еще раз (в десятый уже, наверное) глотнул из фляжки.

Полчаса назад Гаривас вызвался вести машину. Иначе, впрочем, и быть не могло. Уж Берг-то точно машину вести не мог.

Гаривас вел себя деликатно. Он только довольно поглядывал на друга и покровительственно улыбался. Он ни разу не спросил: «Ну как?»

Он стоял на огороженной флажками площадке у креселки. У него пересохли губы, и его знобило. Гаривас крепко держал его за плечо и тихо приговаривал: «Саня, спокойно... Спокойно...»

Гаривас сказал ему правду, после сосны сильно тряхнуло. Так, что Берг прикусил щеку и во рту стало солоно. Солнце ослепило Берга, но он автоматически повернул, он не успел испугаться. Его ноги заработали прежде головы.

Берга уже несло по склону, он стал поворачивать. Он еще ничего не чувствовал и не понимал, но стал поворачивать, постреливая глазами по сторонам.

Вокруг не было ничего из того, что окружало Берга несколько секунд тому назад. Не было подмосковного февральского неба, липкого снега, шумящих сосен, роняющих иголки... Вокруг лежал только чистый, сухой, голубоватый снег. Склон рывком разлетелся в стороны и вниз, склон стал безмерно длинным и широким, рельефным и разным.

«...Не останавливаться... Он сказал — не останавливаться...» — Берг шел по склону, делал повороты и вертел головой. Перед ним простиралась горная страна. Берг не успевал рассмотреть детали, но уже видел серые зазубренные пирамидки, проросшие из снегов, гребни и пики.

«...Тысячи три... — мелькнуло в голове. — Не ниже... Что это, господи?.. Он сказал — не останавливаться...»

Там, под соснами, он оставил очки на лбу, от скорости и солнца на глаза навернулись слезы. Берг сделал длинную дугу, подтормозил, опустил очки. Он увидел нехитрую «зеленую» трассу, разрабоченную до последнего метра, обставленную желтыми пластиковыми вешками. Он прошел под тройной креселкой и увидел внизу большой дом с черной крышей и просторной террасой, там сидели в шезлонгах и стояли люди, много людей. Берг все летел, конца склону не было, сотни звуков рухнули на него... Свистел ветер, но это был не тот влажный ветер, что минутой раньше лениво тормозил кроны сосен, этот ветер пел, звенел между редких скал, срывал сухие щепоти снега и развеивал за лыжами... И лыжи под Бергом свистели — вшшшихь... вшшшихь... Стали доноситься редкие голоса, и нахлынул сильный гуд горного воздуха. А Берг вкатился, он вкатился в это чудо, у него времени не было на изумление. Ноги трудились, ноги все вспомнили с позапрошлогодней зимы... Берг пошел — «укол-поворот, укол-поворот», четкими ударами кантов он стал делать дуги короткими.

— Саня! Я здесь! — Гаривас вынырнул слева, вильнул, пристроился рядом, чуть позади.

Склон, скалы, снег, воздух — все было осязаемо, обоняемо, зримо.

«Это не может быть галлюцинацией!» — решительно подумал Берг.

И вот они с Гаривасом спустились к дому. На террасе стояли дощатые столы и синие шезлонги. И лыжи — прислоненные к стене, лежащие на снегу, торчащие из снега. И ходили люди — пили из белых стаканчиков, разноязыко гомонили, фотографировались.

Берг и Гаривас резко остановились, запорошив снежной пылью чужие лыжи. Гаривас поднял очки на лоб и прищурился на своего друга.

— Вовка... Вовка, что это? — хрипло спросил Берг.

— Горы, Саня, — улыбаясь во весь рот, ответил Гаривас. — Альпы. Департамент Савойя.

Александр Всеволодович Берг, тридцати девяти лет, женатый, совладелец магазина горнолыжного инвентаря, проехав в течение полутора часов по Кольцу и Дмитровскому шоссе, оставив машину возле одноэтажного дома со свежеевыкрашенной крышей, телевизором и спаниелем у крыльца, остановился возле станции канатки во Французских Альпах, дышал ртом и вытирал со щек слезы.

Здесь сильно грело солнце — грело щеки, лоб, руки под перчатками. У Берга тряслись колени.

Гаривас сказал: «Саня, садись...» Берг нечувственно опустился на подплывшее сиденье, на толстую пористую резину, и снег ушел из-под лыж. Гаривас что-то говорил, успокаивал, сунул Бергу в рот сигарету и поднес зажигалку. Креселка плавно качнулась и тихо подняла их над склоном.

— Смотри... Монблан. Вон там...— Гаривас рукой в перчатке показал на одну из серых пирамидок вдали.

Под ними с еле слышным шорохом стелились, проносясь, сноубордисты. Берг закрыл глаза и стал слушать горный гуд и «соль» ветра в тросах. Гаривас торопливо рассказывал, но Берг не открывал глаз. Тогда Гаривас расстегнул на нем куртку, достал из кармана фляжку и вложил ему в руку. Берг свинтил крышку, сделал два больших глотка и лишь после этого открыл глаза.

И все осталось — солнце, мачты, двойные, тройные и четверные креселки, оранжевые эллипсоиды гондол, бело-красные вагоны, бело-голубое космическое небо и бесконечные трассы.

— Ничего,— говорил Гаривас и обнимал Берга за плечи,— ничего... Сейчас спустимся пару раз, отдохнем, ты в себя придешь... «Ски-пасс» не спросили, здесь уже вторая очередь, здесь обычно не спрашивают, раз сюда поднялся — значит, «ски-пасс» есть. Но могут спросить, попозже купим, после двенадцати он в два раза дешевле. Еще можно...— Тут Гаривас отнял у Берга фляжку и сам глотнул.— Еще можно чуть-чуть постоять, медленно покатиться вниз и ЗАХОТЕТЬ вернуться на немчиновскую гору. Тогда слегка затошнит, мелькнет в глазах и вернешься...

Креселка выплыла наверх, они встали, откатились в сторонку. Гаривас ободряюще подтолкнул Берга к «зеленому» склону слева. Но Берг заупрямился, мотнул головой, сказал:

— Нет... Туда.— И показал палкой на стенку справа.

— Ну да! Хорош! — резко сказал Гаривас.— Постепеннее, дружок!

Тогда Берг сам сообразил, что не нужно горячки, не нужно голеней переломанных вообще непонятно где...

Они спустились, потом спустились еще раз (Гаривас отнял у Берга палки и придирчиво смотрел на друга, пока тот ехал без палок, проверял, так сказать, квалификацию и боеготовность), затем Гаривас пустил Берга на спортивную гору и только крикнул в спину:

— Летай пониже!

К тому времени Берг вспомнил все. Руки вспомнили, ноги вспомнили. Он так четко и РЕЗАННО пошел вниз, что лыжники, стайкой стоявшие поодаль, обернулись все, как один, ему вслед. Бергу что-то крикнули по-итальянски с одобрительной интонацией.

У другой креселки, с нагретыми сиденьями, Гаривас восторженно бил Берга по плечу и говорил: «Есть порох в пороховницах и пепел в пепельницах!»

Они спустились по сложной — местами со льдом — крутой, бугристой горе. Потом еще раз. Гаривас кричал, нагоняя: «Показывай европеоидам — как надо!»

Но у Берга наконец заболела стопа — она, курва, всегда болела, если ее не берегли. И Гаривас сказал: «Домой, Саня... Домой. Все еще будет. Это не последние выходные».

Они выкурили по сигарете, сделали по глотку. Берг еще раз ошалело посмотрел вокруг, вытер слезы, не стесняясь Гариваса. Потом они несколько секунд постояли у троса с флажками, Гаривас крепко взял Берга за руку, они толкнулись палками, проскользили и рывком очутились во влажном воздухе, под низким серым небом. Берга качнуло вперед. Потому, что лыжи попали на другой снег — сырой, пористый, присыпанный сосновыми иголками. Берг еще не открыл глаза, но чувствовал, как остывает лицо. Потом он открыл глаза.

За будкой подъемника сидел верхом на «Бурани» Немчинов, озабоченно посматривал на часы. Он увидел Берга с Гаривасом и успокоенно улыбнулся. Толстушка на «Россинолях» совала Гаривасу тюбик с кремом от ожогов, рас-

хаживали, отстегнув крепления, люди, галдели дети, суматошно носился тьявкajúщий спаниель.

— Мессиры и дамы! — зычно говорил человек с ароматной трубкой, причручивая фал бугеля к скобе «Бурана». — Обедать! Давно пора обедать! — И он мягко вложил в руки Бергу перекладину бугеля.

Берг услышал, как кто-то добродушно сказал: «Wellcome to club!» Еще он услышал, как Гаривасу посоветовали отвезти неофита на базу, потому что хватит с него на сегодня — сгорит неофит и переволнуется, надо его кремом помазать, покормить, и пусть выпьет немножко. Берг безропотно потрусил за «Бураном» на базу. Там Володина жена мазала ему кремом лоб и губы, а Гаривас наливал грамульку и подкладывал жареную картошку, квашеную капусту и котлеты.

Гаривас вел машину по темной, узкой Дмитровке и рассказывал, как в прошлом году в дыру возле сосны провалился Володя Немчинов.

Володе, военному топографу, полковнику Генштаба, сейчас пятьдесят два. А юнцом он катался на горных лыжах, когда от «Кругозора» до «Мира» нужно было полдня идти пешком, когда в «Азау» жили в фанерных домиках с буржуйками, когда за день спускались один, от силы — два раза. И Володя, он не просто ворчун в старой куртке. Он эпос. Мифология во плоти. Он дружил с Крыленко, с Хергиани... «Кататься ты не умеешь и никогда не научишься... Чайник — как состояние души, — не раз говорил Немчинов Визбору. — Но без тебя горы — не горы. Ты, как знаменосец... или трубач — от тебя шашкой махать не требуется, ты труби и знамя вздымай...»

Володя пропал на горе посреди бела дня, до смерти напугав свою жену Аню. Объявился около полуночи — Аня ездила на «Буране» по соседним деревням, а Володины друзья бесцельно бродили по горе с фонарями. Возникнув возле нижней опоры обесточенного подъемника, Володя бормотал несуразное, его било крупной дрожью, он прихлебывал холодный кофе из пластикового стаканчика, а в другой руке крепко сжимал яркий буклет — приглашение на рождественский бал в Ле-доз-Альпе. Палок при Володе не было. Палки он потерял во Франции.

Володя не вернулся в Москву в понедельник. Неделю он провел на базе, вышагивая по коридору, невпопад отвечая на вопросы и пытаясь найти материалистическое обоснование произошедшему. Но профессиональный и житейский опыт не помогли Володе найти это обоснование. Тогда Немчинов взял отпуск и во вторник отправил Аню в Москву за эзотерической литературой. В пятницу вечером осунувшийся, почерневший Немчинов сбросил со стола на пол стопку книг и брошюр и разочарованно буркнул: «Бред...» Он поцеловал жену и сказал: «Ничего не бойся, там о людях заботятся...» Застегнул клипсы и скатился по темной горе. И пропал до утра.

Он вернулся на рассвете (впоследствии выяснилось, что здешнее подмосковное время с тамошним, французским, соотносится очень произвольно, разница могла составлять три часа, могла пять, а могла и двенадцать) с обветренным, обгоревшим до струпьев лицом, жадно поел, выпил два стакана водки и мертво уснул. А проснувшись, дал Ане список телефонов, сел на «Буран» и помчался на гору обставлять вешками участок вокруг сосны. К полудню на базу съехались его знакомые — математики, физики и топологи. Два дня под препирательства, тушенку и растворимый кофе шел неформальный симпозиум.

Итогом симпозиума стали следующие тезисы:

1. Спускаясь на горных лыжах близ Яхромы, представляется возможным продолжить движение по одному из горных склонов департамента Савойя Французской Республики.

2. Как все это происходит — одному Богу известно.

3. Следует меньше трепаться и кататься себе в Альпах, раз есть такая возможность.

Володя исхудал, издергался, вскрикивал по ночам по-французски, потом махнул рукой и стал вместе с Аней кататься в Альпах. Еще через неделю он составил свод нехитрых правил и пометил сосну.

Гариваса, человека разгильдяйского, но крайне опытного в горнолыжных делах, Немчинов пустил в Альпы после того, как Гаривас вправил плечо голландцу. Тот вывалился на склон в начале апреля, ударился о мачту и вывихнул плечо. Он ошарашенно смотрел по сторонам, выл от боли и отбивался. Гаривас стремительно скрутил голландца, узнал, что того зовут Йозеф Кнехт, отвел его на базу, профессионально вправил вывих, напоил до беспамятства и помог Володе вывезти того на гору с сосной. После этого Гаривас, естественно, потребовал объяснений.

Потом, конечно, были инциденты...

Упоенная «Пшеничной» до положения риз смена спасателей на «Жандри Гляссир»... Ювелирно подделанные «ски-пассы» с пометкой «кататься везде»... Гаривас, носившийся с молодецким гиканьем на «Буране» по леднику, и потрясенный экипаж спасательного вертолета, кружившего над Гаривасом...

— Вот что хочешь говори, Саня,— сказал Гаривас, когда они выехали на Кольцо,— но неспроста эта дыра образовалась здесь. Это база Института среднего машиностроения. Ее сто лет тому назад строили такие визборы, каких теперь днем с огнем не найдешь. Тут средний возраст докторов наук — тридцать два года... Даже теперь... И дыра открылась здесь, а не где-нибудь... А «Турист»... Что «Турист»? Туда красавцы на «Олдсмобилях» съезжаются по воскресеньям... Там такая дыра не откроется, смешно даже думать... И никакой это не снобизм, а просто спокойный логический вывод. Психологический климат в «Туристе» не тот. А здесь тот самый... А летом, слушай, возьмем серфы, покажу тебе одно местечко на Селигере,— Гаривас подмигнул,— так оттуда — на Оаху...

Берг вздрогнул и жалко посмотрел на Гариваса.

— Шучу,— успокаивающе сказал Гаривас.— Хорошо, что есть такие двери, правда, Сань?.. Эти двери не для всех...

«Зря я продал ему "Доломиты",— подумал Берг.— Надо было подарить».

### *Все ждали Гариваса*

Поминутно жалуются, что у нас нет людей практических, что политических людей, например, много, генералов тоже много; разных управляющих, сколько бы ни понадобилось, сейчас можно найти каких угодно — а практических людей нет...

*Ф. М. Достоевский. Идиот*

Галка, стоя в проеме балконной двери, махнула рукой, подзывая Вацека,— он встал с дивана и пробрался между гостями.

— Устал, Вацек? — спросила Галка.— Что-то у тебя глазоньки не смотрят.

— Не выспался,— ответил Вацек.

— У тебя все авралы?

— Авралы,— сказал Вацек.— Всегда авралы. Специфика работы. Знаешь, как у нас,— пока не сверстано, я курю. А когда сверстано — подайте макет.

— Уложить тебя? — спросила Галка.

— Вот еще! Что я, ползунок?.. Где ты меня тут уложишь?.. Давай выпьем.

Галка протянула ему стакан с красным вином.

— А ты? — спросил Вацек, приняв у нее стакан.

— Вот. — Она показала свой.

Они стояли на балконе, над крышами Новых Черемушек воздух синел и сгущался.

Галка созвала гостей к пяти, непривычно рано потому, что на этот раз она устраивала не обычную вечеринку, а настоящий прием — с долгим осмотром ее новой квартиры, с ахами и охами, со сменой блюд и танцами.

Из квартиры шел многоголосый гомон, Конрой в этом гомоне был слышнее остальных.

— Скоро он начнет петь, — сказал Вацек и сделал глоток.

— Прекрасно...

— А петь он любит вместе со мной.

— Ничего, — благодушно сказала Галка. — Не убудет от тебя.

— Ну, ты довольна? — спросил Вацек.

— Боже мой! — с чувством сказала Галка. — Ты представить себе не можешь, что это за счастье! Мой дом! Господи, мой дом!

— Поди, в долгах как в шелках?

— Плевать! — беспечно сказала Галка. — Мой дом... А ты чего пригорюнился, Вацек?

— Нет, все в порядке... Знаешь, меня такое зло берет, когда я вижу, КАКИЕ простые вещи делают нас счастливыми. А еще от того, КОГДА они делают нас счастливыми. Всего лишь своя собственная квартира. Всего лишь стены, пол, потолок, немного мебели... И добрый, умный, красивый человек счастлив, как ребенок. Свой дом — чудесно. Но ТАК радоваться хочется от другого.

— От того, как пассат поет в снастях? — засмеялась Галка.

Вацек пожал плечами.

— Да... — Галка взяла у Вацека сигарету. — Я тоже когда-то поеживалась, глядя на тех, кто упоенно достраивал дачи. Тоже думала, что уж это-то фуфло в моей жизни много места занимать не будет. А потом выяснилось, что писать кандидатскую в коммуналке очень неудобно. И сохранить человеческое достоинство, проводя в общественном транспорте три часа в день, тоже непросто. Затруднительно.

— Реалии, в бога душу мать... — вздохнул Вацек.

— Мне сорок два, и никаких пассатов... И плевать. Мой дом.

— За твой дом, — сказал Вацек.

Они отсалатовали друг другу стаканами и выпили сладкого массандровского портвейна.

Вацек подумал, что кабы не бунтарная Галкина натура, то не пришлось бы ей жить в коммуналке. Галка, родив своих близнецов, в дым рассорилась с родителями, ушла из генеральской квартиры на Куусинена к отцу близнецов, после все-таки вышла за него замуж. Закончилось все это комнатой на «Соколе» — там близнецы и росли.

— У пацанов — по комнате, — сказала Галка.

Вацек восхищенно поднял брови: «Ну надо же!» — однако спохватился:

— Постой... Тут же всего две комнаты... А ты?

— Ты неисправим, Вацек. — Галка покачала головой. — У меня собственная кухня. Четырнадцать квадратных метров. Сто тридцать квадратных футов.

— А кто это с Ванькой?

— Не знаю... Барышня... Лида. Нет, Лиза. Тебе-то что за дело?

— А Темка почему один?

— Марта уехала в Прагу, к своим. Я слышала, ты будешь теперь работать у Темы?

— Да,— сказал Вацек.— Тема теперь будет завсектором. А я — его замом.

— Странная у вас контора,— задумчиво сказала Галка.

— Да брось! — Вацек скривился.— Ничего странного.

Он обернулся и посмотрел через оконное стекло на Тему Белова. Тема обнимал за плечи Сашу Берга и что-то говорил Конрой. Конрой уже взял гитару и крутил колки.

— А где Гаривас? — спросил Вацек.

— Не знаю,— ответила Галка.

— Но ты его звала?

— Я два раза звала его автоответчик.

— Может, его в Москве нет?

— Может, его нет в Москве. Может, его несколько дней нет дома... Кошка по имени Гаривас, которая гуляет сама по себе... Может быть, он очень занят. Может быть, болен. Может быть, он последнее дерьмо...

— Так,— сказал Вацек,— чего мы стоим?... Я стулья принесу...

Гариваса он видел в редакции позавчера. Гаривас без придинок завизировал обложку и ни словом не обмолвился о приглашении к Галке.

Вацек осторожно поставил стакан на пол и шагнул в комнату.

— Вацлав! — требовательно рявкнул из-за стола Конрой.— Милый Вацлав! Где вы?

— Где надо! — буркнул Вацек и стал протискиваться вдоль стола за спинами гостей.

— Вы не с нами, Вацлав,— грустно сказал Конрой.— А кто не с нами — тот против нас.

Вацек увидел, что его друг Конрой благополучно вплыл в свою песенно-афористичную фазу.

Предстояла еще агрессивно-полемическая фаза, и до нее оставалось буквально три-четыре рюмки.

— Миха, дай стул,— попросил Вацек.

Майкл встал и пересел на диван.

— Слышь,— сказал он,— а Гаривас где? Он будет?

— Не знаю,— сказал Вацек.— Будет, наверное.

Он взял стул, поднял над головой и стал пробираться к балкону.

— Поет твой дружок? — спросила Галка.

— Начинает,— сказал Вацек.

За столом запели Конрой с Темой: «Один интеллигент влюбился в тетю Зину. Сломал он ей диван и швейную машину. И кое-что еще, чего ломать не надо, и кое-что еще, о чем сказать нельзя...»

— О чем тебя Майкл спросил? — Галка склонила голову к плечу и прищурилась.

— Когда?

— Да только что! Когда ты из-под него стул вынул.

— Он спросил, где Гаривас.

— Там нет ни одного человека,— Галка большим пальцем показала на комнату, где вокруг стола сидели гости,— кто не интересовался бы, где сейчас этот гад Вова Гаривас. Вот есть такие люди, чье отсутствие не менее ощутимо присутствия. Это их способ напомнить о себе... Без него, понимаешь ли, народ не полный... Дерьмо такое...

— Будет тебе! — недовольно сказал Вацек.

Двадцать лет назад Галка была красавица и выдумщица. Она спала с Вацеком, тогда еще своим однокурсником. Через несколько лет она почти вышла замуж за Майкла. А один из самых феерических ее романов состоялся с Гаривасом. Но это случилось много позже. А когда Галка была звезда, ее хотели все, кроме Гариваса. Он ее не клеил. Она позже сама его склеила. Звезда Галка была невероятно привередлива. Гаривас, видать, построил ее на подоконнике. Она это помнила, и ее это до сих пор злило.

— Чего ты заводишься? — спросил Вацек. — Чего он тебе именно сегодня понадобился? Столько лет ты прекрасно жила без Гариваса.

Полгода назад Галка отлично перевела антологию Фроста и получила, помимо высокого гонорара, ежегодную премию Итона. Она купила эту квартиру, каждому гостю написала однотомник Фроста. За версту было видно, как ей хотелось, чтобы Гаривас увидел, какая она молодец. Так что именно сегодня Гаривас Галке и понадобился.

«Трамвай подорожали, — пели Конрой с Темой. — Вот и едем в телеге. Сам себе — вагоновожатый, а сено — не деньги...»

Галка без всяких тостов в три больших глотка выпила свой стакан. Вацек опасно на нее покосился. Он любил Галку, но побаивался пьяных дамских откровений.

— Знаешь, кто он? — спросила Галка.

— Владимир Гаривас — мой главный редактор, — твердо сказал Вацек.

— Он педагог, — сказала Галка. — Макаренко. Сухомлинский. Песталоцци. Однажды я его трахнула...

Вацек промолчал.

— А потом я... закапризничала. Он уехал открывать корпункт в Будапеште. Мне стало обидно: ну как это так он отвлекся от моей африканской страсти? И я завела кавалера. Да так, чтобы он узнал. И что ты думаешь? Он мне чеканно выговорил и велел больше не звонить. Я-то, дура, подумала, что это все истерики, обижалочки... А он все со мной закончил. Ты представляешь? Вот так просто. Взял и отставил. И уже много лет доброжелателен и вежлив.

«Конечно, ты дура, — подумал Вацек. — Игратья с Вовкой в эти игры... Смешно».

— К вам можно? — спросил Майкл.

— Заходи, — сказала Галка.

Она посторонилась, пропустила Мишку и ушла в комнату.

— Миха, ты Гариваса давно видел? — спросил Вацек.

— Давно. Недели две... А что? Вацек, а чего Галка ушла? Я вам разговор поломал?

— Нет... Что ты!

— Вацек, дай сигарету. — Галка опять выглянула на балкон.

— Держи... Ты куда?

— Надо кролика вынуть, — озабоченно сказала Галка.

— Какого кролика?

— В духовке у меня кролик. — Галка вытянула из пачки сигарету. — На кошку похож...

Она что-то шепнула Романовой, и они вместе пошли из комнаты.

«Не тает ночь и не проходит. А на Оке, а над Окой...» — пели Конрой с Темой.

— А у тебя что, тоже зуб на Гариваса? — спросил Вацек.

— Что значит «тоже»? — не понял Майкл. — У кого еще на него зуб?

— У Галки.

— А еще у кого?

— Ну вот... У Галки еще...

— Ясно,— ухмыльнулся Майкл.— Гаривас — то, Гаривас — се... Если человек сам по себе, то люди просто кушать спокойно не могут. Ты вот что... Ты Галку в голову не бери... Я всю их историю хорошо представляю. Там все ясно, как день. У них свой скелет в шкафу. Галка обожает тонкие психологизмы. Трепло она вообще, наша Галка... Это притом, что ей наплевать, что человек, к примеру, с дежурства... А утром пожрать не даст. Спит.

— Ты-то откуда знаешь?

— Это я-то откуда знаю?

— Ах, ну да...

— А Гаривас... Вовка пулю на себя возьмет... Если увидит встречное движение. Галка, поди, ему тогда любовь наобещала, а потом стала нервы трепать. А у Гариваса разговор короткий. Надел кепку — и пока. Что для Галки свобода маневра, то для Гариваса — простая нечестность. Вот так. А ты ведь у него сейчас, да?

— Я вообще-то в Институте. Ну и у него тоже.

— И как тебе у него?

— Даже не знаю,— сказал Вацек.— Я не в штате. Так — обложки, титулы...

Тут Вацек подумал, что теперь может легко уйти из Института. Есть куда уходить. И все — благодаря Гаривасу. Два года назад Вовка пригласил его во «Время и мир», теперь почти всю графику в журнале рисовал Вацек. И это Гаривас помог ему создать профессиональную репутацию. Гаривас настойчиво вытягивал Вацека на все мероприятия в Домжуре. И Гаривас очень поощрял заказы «Монитора», «Большого Города», он просто радовался, когда главного графика «Времени и мира» начинали сманивать на сторону.

Майкл вернулся в комнату, а Вацек стоял и думал, скольким он Гаривасу обязан, всегдашней его хорошей снисходительности.

«И вот ведь черт — рукоплексал всегда моему рисованию... Переоценивал... Я левой ногой накалякаю, а он — трудяга, мускулистый романтик, УМ-НЫЙ — всю эту дребедень обсасывает, подвергает анализу, тенденции-фигенции усматривает. И жить хочется после этого... Да и рисую лучше. Потому, что хочется еще и соответствовать его исключительно завышенному мнению о моей абсолютно заурядной персоне...»

— Ты чего тут один?

Вацек вздрогнул. Рядом с ним стоял Конрой.

— Ты бы притормозил, певун,— нелюбезно посоветовал Вацек.— Нажрешься.

— Отлезь, гнида! — ответил Конрой.— Кстати, мамочка, что тут у тебя за совещание? То Галина, то Миха...

— Да все Гаривас. Про Гариваса говорим.

— А чего про него говорить? Про него потом в учебниках пропишут. И бюст... на родине героя. Хороший человек... Самодостаточный. Он мне звонил на той неделе, сказал, что тебе заплатят за какой-то альбом...

— Альбом... Сам ты альбом... За альманах.

— Вот-вот... За альманах. Тебе когда заплатят за альманах, ты денежки отложи. И поедем с Бергом в Червинью. В феврале. А?

— Дожить надо до февраля. Пойдем столы сдвинем, потанцуем. Девки хотят потанцевать, я же вижу...

— Да попозже...

— Попозже ты нажрешься.

— Отлезь, гнида... А где Гаривас?

— Не... Это массовый психоз... Мы же собрались праздновать Галкину квартиру. И все разговоры, заметь, о Гаривасе.

— А что тут странного? — рассудительно произнес Конрой. — Он, это... заметный человек.

На балкон, потеснив Конроя, вышел Ванька.

— Конрой! Перестрой гитару, — требовательно сказал Ванька. — Будь другом, перестрой гитару.

Ванька в компании любил попеть, но у него что-то странное было со слухом — совершенно отсутствовало сопряжение. Слышал он все верно, но с трудом воспроизводил. К тому же Конрой оставлял после себя гитару на семиструнном строе.

— Чего вы тут засели? «А чо это вы тут делаете, а?» Курите, отцы? Хорошую сигарету хотите? — Ванька протянул им пачку.

Он неделю назад вернулся из Сент-Луиса и привез огромное количество «солдатского», как и до сих пор принято говорить, стилижного «Кэмела» — крепчайшего, простого, вкусного, без фильтра.

— Сколько раз, Иван, тебя Минздрав предупреждал? — грозно спросил Конрой.

— Вань, — сказал Вацек и подмигнул Конрою, — кого тут не хватает?

— В каком смысле?.. — Ванька оглянулся на гостей. — Гариваса не хватает... А ты что имел в виду?

— Ответ положительный, — вздохнул Конрой.

Он встал со стула и увел Ваньку перестраивать гитару.

Вацек посмотрел им вслед и стал вспоминать, как Гаривас летал в Пекин.

Это случилось два года назад.

У Ваньки погибала жена. От лимфогранулематоза. Ванька исхудал, посерел, метался во все стороны, как курица по проезжей части. То он пробивался на прием к генералам науки, то отыскивал целителей.

Генералы солидно сопели, превозмогали свою чрезвычайную занятость. Целители много говорили. К одному целителю Ванька пришел с Гаривасом. Целитель жил в Сокольниках, плотный, седенький, бодрый. Когда Ванька с Гаривасом вошли, в прихожей сидели отец безнадежного семилетнего мальчишки с лимфолейкозом и осунувшийся цирковой атлет с остеосаркомой. Чудодей с порога объявил, что денег брать не станет, потом сделал несколько осторожных оговорок. Некоторое время Гаривас послушал. После того как целитель прописал мальчишке браслеты из меди и пластины из олова, Гаривас шумно вздохнул, взял целителя за воротник, несколько раз сильно потрянул и неинтеллигентно спросил: «Что же ты, сука, дуешь в уши несчастным людям?»

На следующий день Валера Новиков отвел Ваньку к доктору Киму. Валера сказал, что Виктор Ким — доктор наук, его выжили из «Блохинвальда», он слишком громко говорил о том, что официальная онкология преступно задавила неофициальную. Валера заговорил с Кимом на их птичьем языке, Ванька увидел, что Валера слушает Кима внимательно и почтительно.

«Он очень грамотный... Правильный, — сказал Валера, когда Ким вышел из кабинета. — Он ей поможет. Если я что-то понимаю в людях».

Ким приносил Ванькиной жене какие-то отвары — ее перестало тошнить, она начала есть (потом, когда было совсем плохо, Ким приносил комки опия — это помогало лучше аптечных наркотиков). Ким подолгу говорил с ней и просил Ваньку в это время к ним не входить — и она перестала плакать часами, чаще вставала, как-то сосредоточилась. К тому времени Ванька списался с двумя американскими и тремя европейскими клиниками. Из четырех клиник ответили, что время упущено, а из пятой прислали подробные рекомендации, как пра-

вильно подготовить свою жену к смерти. Типа, чтобы она все верно понимала и не обижалась.

«Все неправильно,— грустно сказал Ким через три недели.— С самого начала все нужно было делать не так. Но ведь вы этого знать не могли...»

Он сам проводил Ваньку в китайскую лечебницу на Мосфильмовской. Там присюсюкивавший моложавый доктор сказал Ваньке вежливо и прямо, без восточных околичностей: «При этой болезни очень трудно помочь. Трудно, даже если лечить сразу, лечить китаянку, которая всю жизнь жила и питалась, как китаянка... У нас в Китае существует сеть лечебниц (он быстро произнес китайское слово), там занимаются такими болезнями... Я напишу туда».

«Но вы же китайский врач... Вы же учились...» — Ванька глядел собачьиими глазами.

«Я учился в Германии,— сказал врач.— Но этому я тоже учился. Я буду ее лечить. Мне нужны лекарства. Запишите». И он стал надиктовывать труднопроизносимые транскрипции.

Тут опять появился Гаривас. Он накануне звонил Валере, потом Киму.

«Дай мне тот списочек,— сказал Гаривас.— Все равно мне туда лететь».

Позже выяснилось, что это было не «все равно». Гаривас планировал серию статей о литературном наследии русской колонии. Но лететь предстояло не в Пекин, а в Харбин. И не самому Гаривасу, а кому-то из его сотрудников. Но так или иначе Гаривас улетел в Пекин и привез много мешочков и коробочек с порошками и пилюлями. Ванькина жена вскоре умерла, но Вацек, Берг, Ванька и все остальные запомнили, как Гаривас без разговоров летал в Пекин.

— Ух ты! — бодро сказал Ванька за спиной у Вацека.— Ух ты, как я наелся!

Он пошатнулся, нетвердо прошел мимо Вацека и оперся о перила. На просторном балконе была заштабелевана всякая хурда-мурда — велосипед «Урал», торшер без абажура, разошедшая тумбочка, кафельная плитка, стопки старых журналов, завернутые в полиэтилен.

Ванька шумно вытащил шезлонг, неверными движениями разложил, постоял, прицеливаясь, и со скрипом улегся.

— Вот... — одобрительно сказал он.— Здесь и ляжем... Здесь, значит, станем отдыхать... А ты, Вацек, не пускай ко мне никого... Пожалуйста.

И через несколько секунд он спал, отвесив нижнюю губу.

Вацек стащил с Ванькиных ног мокасины, снял с себя свитер, свернул, подложил Ваньке под голову, накрыл его каким-то покрывалом и ушел с балкона.

В комнате уже было очень накурено, так, что не спасала открытая балконная дверь.

Майкл вяло спорил с Гариком Браверманом: «...сентенция... канденция...» «Зануды...» — мимолетно подумал Вацек.

Он постарался быстро пройти мимо Мишки. Окажись он нерасторопен, Майкл усадил бы его рядом сильной рукой и принудил к тяжелому разговору о судьбах российской словесности. Вацек был сыт этими разговорами по месту работы. Или, того хуже, Мишка мог затеять рассуждение о драме профессионала, пребывающего в гуще национальных реалий.

Мишка, когда поддавал, на ерунду не разменивался.

Выходя из комнаты, Вацек услышал, как Майкл сказал Гарику:

— Это кто декадент? Это я декадент? Вот сейчас дам тебе в рыло, посмотрим, кто из нас декадент!

Гости тем временем собрались на кухне. Так обычно и случалось — начинали в гостиных, на верандах, на балконах, за столом, а собирались на кухнях. Закон жанра.

«Мы кухонное поколение,— рисовалась Галка.— Мы иначе не можем».

«Ну и нормально,— отвечали Галке,— поколение как поколение».

А на кухне Витя Князькин сидел на подоконнике и рубил на Галкиной гитаре: «Панджшер... Кандагар...»

Его вежливо слушали, курили, негромко разговаривали. Вацек любил и уважал Витьку, мужественного человека. Но никогда никого не одергивал. Потому что Витькин личный кошмар не должен был становиться кошмаром каждого. А Витя не знал угомону. На всех посиделках устраивал десантную патетику, объявлял третий тост...

«Вить, ты вообще соображаешь, где ты? — однажды спросил Вацек.— Вить, та война кончилась».

«Вацек, ты меня не ругай,— потерянно ответил Витя.— Я же без головы, меня нельзя ругать...»

Витька был героический человек. Он окончил особенный факультет курганского общевоинского училища, в восемьдесят третьем стал рекордсменом мира по марафону, девятьсот раз делал «подъем переворотом». В восемьдесят восьмом он командовал спасательно-поисковой группой «Скоба», летал на «Мивосьмах» и выручал тех, кто попадал в оборот. Весной того же года он «поймал в жопу стингер», вертолет падал с трехсот метров, пилот смог что-то сделать, поэтому четверо остались живы, Витька — в их числе. Еще через три дня Витя по горячке полетел воевать. То, что показалось заурядной контузией, было на деле страшным внутричерепным абсцессом, и окончательно Витя приземлился в Красногорском госпитале. Тяжелым инвалидом с эпилептиформными припадками Витю без сантиментов списали из несокрушимой и легендарной. Добрейший Витя временами становился опасно гневлив, однажды во время какого-то геополитического спора с Темой начал хватать ртом воздух и потерял сознание. «Кретины! — зло сказал подскочивший Гарик Браверман.— Это посттравматическая энцефалопатия... Не надо с ним спорить...» Витя долго лечился, потом работал в ветеранском фонде, собирал деньги для детей. Он заходил в кабинеты и говорил: «Дайте двести долларов, и мы сможем отправить детей погибшего майора имярек в летний лагерь».

Несколько раз он приходил к Гаривасу.

«Список... Список детей!» — требовательно говорил Гаривас.

Он открывал визитницу и набирал номера телефонов, делал скидки рекламодателям, в Витькин фонд мешками привозили зимнюю одежду.

«Время и мир» отправил в Болгарию восемнадцать детей, и Витя сказал: «Ты, Гаривас, какой-то неправильный еврей...»

«Антисемиты — это которые против семитов,— сварливо ответил Гаривас.— Филантропировать надо прицельно...»

— Вацек! — крикнул Витя.— Вацек, а Гаривас где?

— Господи, воля твоя... — прошипела Галка.

— Все тебе будет, и Гаривас будет,— пообещал Вацек.— Мне выпить дадут?

Тут все разом зашумели, задвигали стульями, Романова бережно подала Вацеку полную рюмку водки.

— За Галку, ребята! — громко сказал Вацек.

— За Галку... За Галку... — Гости чокались, обнимали Галку.

Витя на подоконнике вновь запел, но, слава Богу, не армейское, а любимый романс Вацека «Белой акации гроздь душистые». Вацек сообразил, что Витя поет для него, постоял, послушал, показал Вите большой палец и увидел Боря Полетаева.

— Привет, Вацлав! — сказал Боря.

— Здравствуй, Борис! — сказал Вацек. — Я и не заметил, как ты пришел.

— Ты курил на балконе.

Витя закончил пение, и Вацек мог покинуть кухню.

— Давай, Боря, вернемся на балкон, — сказал Вацек. — Там, знаешь, прохладно. Бери свою рюмку и пошли.

Они оба работали в Институте прессы, только Борис заведовал сектором «Берн», а Вацек был ведущим графиком у Темы Белова в секторе «Берлин». Правда, внештатным. Но ведущим.

Они с Борей гуськом прошли через комнату — Мишка с Гариком продолжали спорить, но вполне миролюбиво — и вышли на балкон. Боря покосился на спящего Ваньку и уважительно сказал:

— Вот это темпы...

— Где твоя жена? — вежливо спросил Вацек и протянул Боре сигареты.

— В отъезде, — коротко ответил Боря. — Спасибо... А где ваш Гаривас?

— И где тут Ленин? — сказал Вацек. — А Ленин в Польше...

Они с Борей редко встречались в приватной обстановке. Все чаще на планерках или в буфете. Иногда встречались у Темы. Боря был загадочный человек. Своим сектором он рулил ни шатко ни валко. Но пользовался непонятным благоволением Управления. Ежегодные конкурсы проходил легко, вновь и вновь утверждался на заведование.

«Этот Полетаев ваш, — как-то сказал Вацеку Витя Князькин, — он, может быть, и не Полетаев вовсе... Я таких знаю. Я их кожей чувствую. Он смерть видел...»

Про Бору в Институте «шептались». Вацек был знаком с Полетаевым восемь лет. Полетаев, как и Вацек, воевал в батальоне «Берта», но они были в разных взводах, и у Полетаева была какая-то особенная работа. Вацек однажды попробовал расспросить Тему, но тот решительно не поддержал разговора. «Не важно... — недовольно сказал Тема. — Чего теперь вспоминать...»

В Институте — случайно ли или не случайно — работали несколько ветеранов «Берты». Вспоминать прошлое они не любили. Ненавидели то «время крушения надежд». Вацек знал, что Боря был вхож к штабистам и имел какое-то отношение к Теминой службе внутренней безопасности муниципальных батальонов.

— Вот что, Вацлав... — сказал Боря. — Тебе, наверное, завтра принесут мой запрос. Если можно — ты поспеши. Пожалуйста...

Вацек покивал. Приятельский перекур с любым из заведующих почти всегда заканчивался просьбой поспешить. Просьбами, требованиями и заклинаниями поспешить сопровождалась и официальные запросы.

— Я поспешу, — согласился Вацек. — А что там?

— Суцая ерунда... Не сложно... Готические шапки из «Фолькишер беобахтер». Немного работы... Я все знаю — Тема насаждает на тебя с голландцами... Но Тему не поджигает, а меня очень поджигает.

— Хорошо, я все сделаю, — пообещал Вацек.

— Спасибо. Это будет открытая публикация. Тут оказалось, что у меня мало открытых публикаций... Меня очень выручил Гаривас. Весьма.

— Как он тебя выручил?

Впрочем, Вацек знал, как может выручить Гаривас.

— О! Иметь дело с Владимиром Петровичем Гаривасом — одно удовольствие! — Боря оживился. — Он сам взял три статьи и две присоветовал в «Монитор».

— И, наверное, так присоветовал, что там взяли без звука, да?

— Ну да! — Боря довольно кивнул.

— Он не формалист? Правда?

— Хороший человек, — убежденно сказал Боря.

— Тут его все обождались.

— Еще бы! — сказал Полетаев. — Я слышал, ты у него работаешь.

— Да, — сказал Вацек. — А я слышал, что он звал тебя.

— Это было давно, — спокойно сказал Полетаев. — Год тому назад. Потом я сам просился к нему, но он мне отказал.

— Почему?

— Сказал, что у меня пламени в душе нет. Он умеет очень элегантно отказывать. Он даже не просто отказал мне, а популярно объяснил, почему мне не стоит уходить к нему. Когда я попытался настоять, он сказал, что разговор окончен.

«Вот тебе и Гаривас, — подумал Вацек. — "Разговор окончен..." Это при том, что Борис ему — человек не посторонний...»

— А теперь как ты с ним?

— Нормально. Он ведь мне уважительно отказал. Он сам по себе и желает остальным быть самими по себе.

Через полгода после того, как Вацек вернулся из Канады, его друг Саша Берг женился. На свадьбе Берг рассказал Вацеку, что Машка, его жена, долго не могла определиться. За пару месяцев до этого она с трудом выбралась из застарелого романа. Выбралась со скандалом и побоями. Берг был деликатен и неназойлив, а прежний скандалил, угрожал и вообще всячески мотал сопли на кулак. Машка жила с Бергом, но замуж за него не шла. Вечерами долго говорила по телефону в ванной и выходила оттуда с красными глазами.

Берг созвал друзей, чтобы отпраздновать в «Ту степе» их с Машкой день рождения. Дни рождения у них мистически совпадали — двадцать четвертое мая. Они уже собрались выходить, как позвонил Конрой и дурашливо сказал, что за ним заезжать не надо, он уже в «Ту степе», и, кстати, тут Машкин бывший, хотите — сам ему навалюю, хотите — вам оставляю... Черт его тянул за язык, дурака...

Машка подобралась, поскуцнела и сказала: «Саш, давай куда-нибудь в другое место...»

Берг взбесился, ничего не мог с собой поделаться: «Конрой там, Ванька с Гариком приедут туда! Тема тоже! Какое нам дело до него? Возьми себя в руки!»

«Ну уступи, Саш, — просила Машка. — У меня день рождения».

«И у меня!» — резонно отвечал Берг.

Гаривас сидел на кухне, курил и смотрел телевизор.

«Скажи ей», — попросил Берг, в сердцах хлопнув стопарь.

«Нет, — сказал Гаривас и отрицательно покачал головой. — Сам. Все сам».

«Я тебя прошу! — зашипел Берг. — Иди к ней! Поулыбайся, уболтай! Она тебя слушает!»

«Нет, — сказал Гаривас. — Твоя женщина — ты и убалтывай».

«Ну и пошел в жопу!» — бешено сказал Берг.

Гаривас пожал плечами, аккуратно погасил сигарету и ушел.

Берг вдребезги разругался с Машкой, швырнул в стену духи, цветы и серебряный браслет, выпил три таблетки тазепама, стакан коньяка и уснул на кухне.

Утром, слава Богу, Машка была дома: «Прости, Саш, дурака сваяла...»

Телефонные разговоры в ванной прекратились, спустя два месяца Машка вышла замуж за Берга. А Галка тогда же, на свадьбе, сказала Бергу: «Сашок, поверь, мы очень ценим деликатность. Но еще больше мы ценим то, как в нужное время нас крепко берут за шкуру и отводят, куда положено. Даже если со скандалом...»

В комнате заиграла музыка. Танго... Танго!!! Пам-пам-пам-пам... У Галки было под сотню виниловых пластинок. Галкин отец многие годы был резидентом в Аргентине.

«Все вы щенки! — объявляла Галка еще на институтских посиделках. — О вас газеты писали? А обо мне писали! Мне пять лет было, а обо мне писали газеты!»

И она, смеясь, показывала всем вырезки из аргентинских газет: «Советский атташе по культуре Пасечников объявлен “персона нон грата” и в среду ночью покинул Буэнос-Айрес». На пожелтевшей газетной бумаге — фото. Мама несет спящую пятилетнюю Галку к трапу самолета. Спустя год Галкин отец Борис Борисович вновь был атташе по культуре и вновь резидентом — в Перу. А двойняшек Галка принесла в подоле, когда папа Боря консультировал разведку Фиделя. В семье Пасечниковых культивировали «латино» — и кухню, и музыку. А вот Гариваса папа Боря не терпел, хотя ко всему прочему был снисходителен — к гулянкам в просторной квартире на улице Куусинена, к диссидентскому пению, к терпкому запаху шмали из комнат дочерей. Младшая Галкина сестра Света вышла замуж за Федю Горчакова, папи-Бориного подчиненного и протеже, а во времена Галкиного студенчества была в свои пятнадцать — семнадцать конченной шалавой... Гаривас же как-то раз пылко сказал папе Боре (папа Боря посягнул на покровительственный разговор с юношеством): «Специфика вашей профессиональной среды, Борис Борисович, еще в том, что подвизаются в ней главным образом обалдуи, циники и интриганы. И не надо, пожалуйста, красивых легенд про советские плащи и советские кинжалы...»

Папи-Борины предтечи выкосили Гаривасу полсемьи, историю своей страны Гаривас знал, от гэбэшных сказок его натурально тошнило. Еще тогда, в студенчестве. А впоследствии Гаривас только укрепился в своем отношении к тайным службам. От чего, кстати, пострадала его дружба с Темой и Федей Горчаковым.

Вацек вошел в комнату — там стояли по стенам. Галка с Гариком танцевали. Вацек с удовольствием поглядел на Галку. Она танцевала. Она была ИНТЕРЕСНА. Качнула бедрами — нет пяти лет из ее сорока двух. Быстрый поворот головы — еще минус пять. Короткий взгляд темных глаз, тряхнула челкой на третьем такте — вот та двадцатилетняя Галка... Крепкие тонкие лодыжки, круглые колени, гибкая спина... И сохнет во рту, и вспоминаешь, как она сидит, голая, скрестив ноги, и протягивает раскуренную сигарету...

— Вацек...

Вацек с нежностью и грустью смотрел на дружище Галку...

— Вацек, потанцуем?

Он обернулся.

Рядом с ним стояла Ленка Романова.

— Давай, Ленка, — сказал Вацек. — Потанцуем.

Он приобнял ее и повел. Куда ему было до Галки с Гариком... Но танго он мог. Без излишеств, без чувственных прогибаний, без концентрированной страсти окраинных «melonges»... Но провести в полном согласии мог.

— Теперь танго не танцуют, — сказал он в теплую Ленкину щеку.

— А что танцуют? — Романова ласково поглядела на Вацека и шагнула ближе.

«Какие у нас классные девки! — подумал Вацек. — Как мы их любили, Боже... Они настоящие друзья, наши девки... До сих пор нас любят».

— Сальсу, — сказал Вацек. — Теперь танцуют сальсу. Знаешь, как танцуют сальсу в Берлине? Огненно!

— Я бы танцевала сальсу.— Романова усмехнулась.— И дракончика бы на заднице наколола. Если бы была помоложе...

— Куда моложе-то? — искренне сказал Вацек.

Танго закончилось, но Вацек видел, что Галка с Гариком друг от друга не отходят, ждут, когда пластинка опять заиграет. И Полетаев с Нинкой Зильберман тоже стоят рядом.

— Ленка, пойдём-ка на балкон,— сказал Вацек.— Я там полвечера провел. Привык... Пойдём покурим. Поговорим.

Романова вяло улыбнулась и сняла руки с плеч Вацека.

Опять зазвучало танго. Гарик с Галкой быстро обнялись, они что-то говорили друг другу, Гарик целовал Галку в ухо. Гарик, лысеющий толстячок, про которого Галка еще пятнадцать лет назад сказала: «Единственный настоящий мужик среди этих ковбоев Мальборо...»

Боря Полетаев танцевал с Нинкой — она возвращала Борины руки со своих ягодиц на талию и гладила его по щеке.

«Девчонки как сговорились — все без мужей»,— подумал Вацек.

Они с Романовой прошли между танцующими на балкон, Вацек галантно усадил Ленку на табурет. Ванька спал в шезлонге и тихо постанывал.

— Переверни его на бок,— сказала Романова.

— Зачем? — не понял Вацек.

— Затем! — деловито сказала Романова.— Переверни. Он очень быстро нажрался. Я видела. Не надо на спине... Он уже блевал? Нет? Переверни его на бок!

Вацек опустил спинку шезлонга и перевернул Ваньку.

— Ты выпьешь? — спросил он.

— «Налить вам этой мерзости? Налейте...» Выпью.

Вацек нагнулся, взял бутылку массандровского портвейна. Ленка подхватила с перил стакан и протянула Вацеку.

Темнело, и стало прохладнее, после комнаты и танго — совсем хорошо.

— Гариваса все нет,— сказала Романова.

— Уж полночь близится, а Вовика все нет...

Вацеку всегда нравилась Романова. Она в отличие от Галки никогда не устраивала сцен. Галка всем устраивала, и Романовой тоже: «Холодная сука!»,— Галка была чересчур изобретательна... «I want it all, I want it now!..» Кареглазая смуглая Галка некогда попыталась утащить в постель белокожую пепельново-лосую Романову. «Обойдешься»,— спокойно ответила ей Романова, Вацек слышал из соседней комнаты, это было на турбазе в Звенигороде. Ленка была сдержанным и доброжелательным человеком, мастером спорта международного класса по лыжным гонкам. Она рано вышла замуж — на третьем курсе. Ни с кем из компании у нее ничего не было, а с Гаривасом было.

— И ничего,— сказала Романова.— Он еще придет.

— Он еще покажет,— зачем-то сказал Вацек.

— Что покажет?.. Ах, покажет... Да. Покажет. Он всю жизнь показывает.

— А чего в нем такого особенного? — ревниво сказал Вацек.

— Ты сам знаешь... Но это не важно... У нас,— Романова кивнула в сторону комнаты,— куда ни плюнь — попадешь в особенного. Укомплектованы страстями по самое «не могу»... И все друг на друге завязаны... Вот черт! Все друг на друге завязаны!.. Не сейчас, так когда-то... А Вовка для наших — как та точка, которую ловят глазами, когда крутят двадцать четыре фуэте.

— Ленка, а что у тебя с ним не срослось? — грубовато спросил Вацек.

Романова слегка удивленно посмотрела на Вацека:

— Он трус...

— Да ладно!

— Помнишь, как я замуж вышла? — задумчиво спросила Ленка.

— Конечно,— кивнул Вацек. Он до сих пор чувствовал досаду от того, что их милая Ленка стала женой какого-то неизвестного типа.

— Это был обычный, нормальный студенческий «замуж»,— сказала Романова.— Через год Антон родился... Через пять лет развелись. Два года спали врозь. Тут Гаривас вспыхнул. Загорелся. Увез нас с Антошкой к себе... Потом поехали в Новый Свет. В августе.

— А потом?

— Потом он испугался... Дрянь... Слабак... Антошка к нему сразу привыкать не пожелал. Родители мои уперлись. Вовка же инфантилен! Дарить — умеет, помогать — умеет. А свою жизнь менять — не умеет.

— Развели вы вокруг него...— недовольно сказал Вацек.— Пуп земли... Красноармеец Сухов...

— Зато он всех объединяет! — неожиданно рассмеялась Романова.— Его все любят, и он всех объединяет!

— «Даже память не обязательна для любви... Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь. Единственный смысл, единственное спасение...» — замогильным голосом сказал Вацек.

Романова светло улыбнулась и растормошила Вацеку волосы.

— Верно,— сказала она.— И нечего вспоминать плохое.

— Знаешь, что я тебе скажу...— Вацек поставил стакан на пол, взял Ленку за руку и поцеловал прохладную ладонь.— Женщина не должна быть такой умной. Машина думать не может — машина должна ехать.

— Вацек! — Галка выглянула на балкон.— Вацек! Быстро! Растащи их!

Вацек раздраженно поморщился и шагнул за Галкой. Он много лет разнимал Гарика с Майклом, потому что те начинали с литературы, а заканчивали старыми обидами. Когда Вацек вошел, Майкл с Гариком уже сопели по разным углам, их разнял Витя.

— Ну, чего ты, Гаря...— Витя держал Бравика за локоть и успокаивал.— Конечно, поколение ему обязано... И мы обязаны...

Наверное, Майкл прошелся по кому-то из светочей, «делать жизнь с кого»...

— Никто, видишь ли, никому не обязан...— Гарик Браверман слабо вырывался.— Он воевал, он сидел, он литературу делал... А ему никто не обязан!.. Ты ведь, мать твою, и детям своим так станешь объяснять — что никто никому ничем не обязан! А существует только индивид, белокурая бестия с ее сраными воззрениями и сраными достижениями!

— Да не воевать же надо было, баран! А семью спасти! Себя спасти! — выкрикнул Майкл и попытался вернуться к барьеру, но Нинка твердо усадила его на диван.— Не было в той войне победителей! Не было! Ты-то не дед-пердед, живот в орденах, ты-то должен понимать! Это потом навертели вокруг мифологии!.. Одно рабство победило другое рабство!.. Он за Эльбу мог уйти! Мог — и опять себя в рабы записал! И детей своих в рабы записал!..

Но они уже успокаивались. У Бравика имелся очень типичный комплекс — «воевал, сидел, делал литературу». Вацек, по простоте душевной, не раз пытался объяснить Бравика, что раз уж на то пошло, то людям пристало только делать литературу, а на остальное людей обрекала жуткая эпоха и брутальная самопожирательная страна. Но Бравик, кажется, в детстве не доиграл в войнушку. Бравик, прекрасный хирург, ощущал себя неполноценным. А может быть, так испытывал вину перед теми, кого почитал. Бравика вообще надо было отправить за впечатлениями к Вите Князькину. Витя не сидел, не писал, но навоевал

ся досыта. Но они бы друг друга не поняли. Все-таки Бравик был УМСТВЕННЫЙ, а Вите муторно было вспоминать политотделы, дизентерию, то, как он штык-ножом отрезал голову своему комэску,— голова держалась на кожном лоскуте, иначе извлечь тело из расплющенного вертолета было невозможно...

— Гариваса на тебя нет, романтик долбаный! — зло, но уже негромко сказал Майкл.— Он бы тебя укоротил...

— Сталина на меня нет! — огрызнулся Бравик.

Галка, досадливо поджав губы, меняла пластинку. Нинка придерживала Майкла за плечо и по-матерински смотрела на него.

Нинка жила между Москвой, Хайфой и Нью-Йорком. В Хайфе жили родители. Нью-Йорк она обожала так, как могут обожать его только люди, полжизни прожившие при советской власти. А в Москве жил Мишка, в которого злоязыкая Нинка была — тайно для Мишки и явно для всех — влюблена с первого курса.

«Рядом с Мишей я чувствую себя мужчиной!» — смеялась Нинка, пока у нее была еще охота смеяться.

Вацек оглядел гостей.

Боря Полетаев уныло кушал салат. Саша Берг, горнолыжный человек, листал альбом с фотографиями. Конрой (он самовольно влез в духовку), шкодливо улыбаясь, откусывал от кроличьей ноги. Федя Горчаков — «Фриц» — тихо разговаривал по сотовому телефону. Тема Белов, доставая из нагрудного кармана рубашки сигареты, осторожно пробирался на балкон, в левой руке он бережно нес полную рюмку водки.

Они собрались здесь, чтобы отпраздновать новую квартиру друга Галки.

«По наступление дня пятидесятницы все они были единодушно вместе...»

И тогда, как в плохой пьесе, грянул дверной звонок.

Все замолчали. Звонок грянул вновь. В Галкиной квартире стало тихо. Потом, что все ждали Гариваса.

### *Наш человек в горах*

...Когда мне плохо, я работаю... Когда у меня неприятности, когда у меня хандра, когда мне скучно жить — я сажусь работать. Наверное, существуют другие рецепты, но я их не знаю. Или они мне не помогают...

*А. и Б. Стругацкие.*

*За миллиард лет до конца света*

Выходя из подъезда, Тема пропустил Худого и прикрыл за собой дверь.

— И залпы башенных орудий в последний путь проводят нас,— сказал Худой и утешающе похлопал Тему по плечу.

Они постояли, Тема поправил шарф, Худой закурил.

— Ты извини,— сказал Худой.— И перед ним потом извинись... Зря я...

— Да ладно,— мрачно сказал Тема.— Он привык.

— Мы же ему не заплатили! — спохватился Худой.

— Да ладно,— повторил Тема.

— Ладно — у попа в штанах,— укоризненно сказал Худой.— Вернемся, надо заплатить...

— За что ты заплатишь, господи?.. Не возьмет он. Не берет он за такие разговоры.

— Сознательное в бессознательном...— Худой поднял воротник куртки,— бессознательное в сознательном... Бред.

«Я хотел как лучше», — подумал Тема и сказал:

— Не нужен тебе психоаналитик, это точно.

— Куда уж точнее, — согласился Худой. — Что я, дикий?

«Знаю я, что тебе нужно, — подумал Тема. — Только бы ты не скис».

— Ты извини, Тем. Время на меня убил. Дунешь?

— Не... — Тема принялся к дыму сигареты. — Я по другой части. Я другое поколение.

— Ну да, — кивнул Худой. — Вы — пьющее поколение.

— Мы — героическое поколение, — назидательно сказал Тема.

Он уже нес что ни попадя, ему было все равно, что говорить.

— Куда тебя отвезти?

— Я пройдусь, — сказал Худой.

— Вадик...

— Что, Тема, дорогой?

— Вадя, ты третий... Ты умный...

— Тема, прекрати, — твердо сказал Худой. — Пока, брат. Я пройдусь.

Он бросил в урну окурки, пожал Теме руку и пошел через дворик.

Тема смотрел, как Худой идет мимо детской площадки, как горбится от мороза в своей короткой куртке, и думал:

«Ну да, он третий и умный... Сема Пряжников не глупее был... Помогло это Семе? Дела — дерьмо...»

Он постоял минуту возле подъезда, пробормотал: «Вот черт!..» — и шагнул к машине.

Едва он повернул ключ зажигания, запиликал телефон.

— Да! — раздраженно сказал он.

— Что «да»? — спросил Никоненко. — Что «да»? Ты водил его?

— Ну, водил... На кой черт я только его водил!

— И что?

— Он посидел там... немного. Он не захотел разговаривать!

— Как не захотел? С кем?

— С психоаналитиком.

— С каким психоаналитиком? — брезгливо спросил Никоненко. — Что за чушь? Слушай, ты чем там занимаешься? Ты его к Валере водил?

— К Валере? Ах, да! — спохватился Тема. — Водил... Утром. Делали компьютерную томографию... Я правильно говорю — компьютерную, да?

— Да, правильно. И что?

— А что я в этом понимаю? Лера сказал, что позвонит тебе.

— Ни черта от вас от всех полезного! — злобно сказал Никоненко. — Сам сейчас Лере позвоню... Занимаетесь какой-то херней...

— Иди ты... — с душой сказал Тема.

— Сам иди... — сказал Никоненко и положил трубку.

Вадик действительно очень хотел пройтись. Сегодня с утра у него не болела голова, сегодня отчего-то отпустило. И не двоилось в глазах. Иногда его пошатывало, но с этим он научился справляться — нужно было дунуть, и головокружение прекращалось. Ненадолго. Он уже было стал сживаться с головной болью, он уже знал, когда принять таблетку, когда погодить, когда дунуть, когда просто полежать в темной комнате. Вот только беда, что головная боль усиливалась понемногу от недели к неделе. И вечером еще наваливался страх. Но сегодня-то грех было жаловаться. Сегодня был хороший день.

Он шел по Русаковке к метро. День был морозный, искрящийся такой денек, пуржило, поземка полировала снежком серые полоски трамвайных рельсов.

Вадик вспомнил, что вечером на Нагорной включают свет, и взбодрился. «Ну, конечно, как забуюсь, так возьму доску и поеду на Нагорную... Ух ты!.. А чего на Нагорную? Надо же к Сане поехать... Саня мне свет включит...» — Тут он малодушно подумал: а как же он станет возвращаться потом, после катания, на ночь глядя, во Фрязино? — У Сани и переночую... Верно...»

Он представил себе квартиру Саши Берга в Крылатском, самого Сашу.

«Даже можно будет выпить с ним немного... А уж страшно-то точно не будет, тепло у Саши, спокойно... Был бы дома...»

Он сразу стал искать глазами автомат, засуетился, увидел, быстро подошел и сунул в щель карточку.

— Сань...

— Вадя,— сказал Берг,— Машка — аферистка... Она мне только что сказала про психоаналитика... Вадя, это все фуфло... Не нужно... Вечерком приезжай покататься. Бери доску, приезжай. Я вашу шпану не пускаю. Склон убивают. Тебе свет включу. Ночевать — у меня... Фильм купил — «В три-десять на Юму». Ты видел?.. Вадя, приезжай, я жду.

Вадик потер лицо, сказал: «Я к семи...» — и заплакал. Берг еще что-то говорил, а Вадик кивал, всхлипывал и царапал ногтем на заиндевевшем стекле волка из «Ну, погоди!».

Вадик по прозвищу Худой был двоюродным братом Гены Сергеева, то есть человеком априорно неслучайным. Он был моложе всех, лет на шесть-семь моложе, но его привели. В конце концов Берг с Гаривасом тоже когда-то числились «юношами». Покойный Сеня Пряжников барственно и добро говорил: «юноша Владимир» и «юноша Александр». Никоненко плавно вынимал изо рта трубку и кивал Сене, соглашаясь: мол, да, молодежь, молодежь должна быть рядышком, это и ей и нам полезно. Тема Белов говорил: «А на прошлой неделе, мессирь, юношу Вадима видели читающим Пушкина!..»

«Я думал, это про летчиков, — придурковато оправдывался Вадя, — Ас Пушкин...»

В компанию он был вхож около двух лет. «Набережную неисцелимых» он не читал и не цитировал, но определенно читал Шервуда Андерсона, Салтыкова-Щедрина и Уайлдера — проверяли. И он знал разницу между Тушинским Вором и Воренком. А это на фоне повсеместного интеллектуального оскудения было каким-никаким цензом. К Ваде уже было привыкли, как случился «шкандаль» — неожиданно оказалось, что Вадя сноубордист. Досочник. Шпана. Пятью-шестью годами раньше Ваде было бы с треском отказано от дома. Но с возрастом отцы-основатели помягчали. Отнеслись с юмором. «Он не виноват, отцы,— терпимо говорил Тема,— может, детство было тяжелое... Или еще что...» Вадя даже ездил со всеми в Терскол (пока они еще ездили в Терскол, пока не разлюбили), на «Мире» он коротко переговаривал со спасателями, и они смотрели в сторону, пока Вадя с доской под мышкой уходил куда не положено. Поднимаясь на «Кругозор», Тема, Никон и Гаривас видели росчерки Вадиной доски на девственных каменистых стенках.

«Ты же приличный человек,— уважительно говорили Худому за вечерним коньяком в "Вольфраме".— Ну попробуй лыжи. Ты же по-русски грамотно говоришь, ты же книги читаешь...»

«Хорош, деды,— вежливо отвечал Вадя.— У вас своя мифология, у меня — своя. Свободный человек в свободной стране. И скручивающий момент отсутствует. Летать проще. Ясно?»

А уж летал он... Да. Чего уж! ЛЕТАЛ. По целику летал, по льду, по буграм — где хотел, там и летал.

Он был лучше всех. Когда Вадя приезжал в Азау, вся «молодежь — не задушишь, не убьешь» собиралась вокруг. Патлатые, развязные, понтовые, мажорные с оранжевыми «Мотороллами», в банданах, в полартексе, скромненькие, нафаршмаченные, крылатские, нагатинские, питерские, киевские — все. И он знал для них слово. Тихо здоровался с одним, с другим... Мог дать попробовать свою доску с автографами Гаскона и Шастаньоля — они расписались несмываемым маркером в апреле девяносто шестого в Марибеле. У Худого было много досок, он в горы меньше трех не брал, и была особенная, любимая — «Оксиджен-Глоуб», на ней корифеи расписались, а Гаскон сказал: «У тебя, Вадя, с законами физики какие-то свои отношения...» Правду сказал — то, что делал Худой, даже некоей особой техникой нельзя было назвать. Он знал склон телом — от макушки до подошв. Ему достаточно было видеть ближайшие десять метров горы, а уж как себя дальше повести — разбирался на месте. Он прыгал, кантовался, и еле уловимое касание точно сообщало ему, как поступить дальше. И еще он самым мистическим образом оказывался в горах. Он не раздумывал. Быстро оформлял отпуск за свой счет. Пока Тема с Бергом считали да рядили: «Билет, апартаменты, "ски-пасс"... э, не, дороговато... перебьемся Татрами...» — Вадя выныривал в Червинье со своими досками, зеленым брезентовым рюкзаком и полтинником за душой. Или в Шамберри. День катался, а вечером, похмыкивая, садился за преферанс с чехами, сидел до утра, сердечно прощался и уходил с шестью сотнями. Потом... Словом, было несколько вариантов «потом».

Покупал самый простой пансион, жил неделю, потом последовательно чинил гриль, газовую колонку, усовершенствовал теплоцентральный котел — его приглашали пожить и постоловаться еще неделю. С тем же полтинником возвращался в Москву, покупал в «дьюти-фри» «Баллантайнз» и «Бучананз», приезжал вечером к Бергу. А траву он просто брал из воздуха. Везде. С Вадей всякий делился — от Петропавловска-Камчатского до Кировска, от Цермата до Аосты.

«Хиппи... — говорил Гаривас и разводил руками. — Хиппи поганое... И никаких вам нравственных ориентиров. Улисс, блин, доской стукнутый и доской живущий...»

И такое было. Скажем, в девяносто четвертом, в Червинье.

Вадя тогда впервые приехал в Италию, у него горели глаза, он сходил с ума от счастья. Во вторник он простелил по стенке двести метров, юркнул в кулуар, попетлял, красуясь, и вблизи подъемника оторвал «корскрю». И уже когда с доской под мышкой скромно стоял в короткой очереди, к нему боязливо подошел восхищенный антиквар из Антверпена и попросил «класс». Вадя был смущен. Он прежде не думал, что доска может кормить. Антиквара он после, через год, еще раз выкатывал в Валь-д-Изере, и у них даже нашелся общий знакомый — приятель Темы Белова Йозеф Кнехт, профессор славистики из Утрехта.

Возвращаясь в Москву, Вадя скучнел и шел на работу в НПО «Исток» во Фрязино. Паял, лудил, в девяносто четвертом защитился. По субботам приезжал к Теме, к Бергу, к Никону, немножко выпивал, в спорах о судьбах российской словесности не участвовал, помалкивал (Никон говорил: «Злость копит, щас скажет...»). Сидел на полу у стеллажа, ставил на место книги, которые брал в прошлую субботу, откладывал книги на следующую неделю. Изредка подходил к столу, выпивал рюмку «Дербента» или «Васпуракана», хорошо выдерживал паузу и говорил, как гвоздь вбивал: «Ерунда все это, Темка... Нет никакой такой "ментальности Нового Света", и не надо ее приписывать ни Эллиоту, ни Фросту. Они над временем и над географией...» «Вундеркинд... — ворчал Гаривас, — интуитивное у него понимание, блин...» А Гаривасу он мог сказать: «Тебя "Письмо к Горацию" только тем и привлекает... хоть ни черта ты в нем не понял... что это просто образец хорошего русского языка...» Правильно говорил. Тема тогда

еще был трепло, журналист, любитель от литературы. А Гаривас наслаждался русским языком тех эссе, что Рыжий писал на английском. Тема же тогда угадывал и все не мог угадать отличие ВСЕЙ американской литературы от ВСЕЙ литературы европейской.

Гаривас — педант, потаенный эстет — сквернословил и бурчал: «Оборот... Закрой рот, бери гитару...» Вадя покладисто брал гитару, пел любимый в компании романс «Белой акации гроздьа душистые».

Еще он пел:

Редееет круг друзей, но — позови,  
Давай поговорим, как лицеисты,—  
О Шиллере, о славе, о любви...  
О женщинах — возвышенно и чисто...

«Что у него в голове за салат? — продолжал бурчать Гаривас. — И Шиллер тебе, и лицеисты... Каэспэшные вирши — как коклюш, надо болеть в детстве...»

И получал: «Был такой поэт — Пушкин,— вежливо отвечал Вадя, откладывая гитару,— написал в числе прочих стихотворение “19 октября 1824 года”... Посвящено, по слухам, Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру... У Шпаликова, стало быть, оттуда цитатка... “Приди, огнем волшебного рассказа сердечные преданья оживи. Поговорим о бурных днях Кавказа, О ШИЛЛЕРЕ, О СЛАВЕ, О ЛЮБВИ...” Ты бы книжку какую почитал, Вовка...»

Все похихикивали, Гаривас говорил: «Смотрите-ка — досочник, а в галстукее...» И все были до крайности довольны. Выпивали коньяк помалу, Гена с Бравиком играли в нарды, Никон ароматно пыхал трубкой, Гаривас читал фрагменты из не опубликованного еще тогда «Путешествия в Крым», Вадя пел спиричуэлз, чудил... Пили чай... Расходились за полночь, Вадю забирал к себе ночевать Берг... Так и жили.

В конце января Вадя отозвал Никоненко на кухню и сказал: «Никон, чо-то со мной не то...»

«Я вижу»,— ответил Никоненко. Последние недели Вадя часто морщился, тер ладонью лоб и затылок, прилюдно пил баралгин.

«Ты расскажи...— встревоженно говорил Никон и усаживал Вадю на стул.— Ты почему раньше не говорил?»

«Думал — как-нибудь рассосется... Но, ты знаешь, все хуже и хуже... Голова кружится... Болит всю дорогу... В глазах стало двоиться...»

Никон видел, что Вадя напуган. Так напуган, как только пугаются боли и недомогания всегда очень здоровые люди. Напуган и растерян.

«Вадя, мы завтра во всем разберемся,— сказал Никон и приобнял Худого за плечи.— Потерпи до завтра. Завтра ко мне приедешь. Знаешь, где Первая Градская? Я сейчас всем позвоню, завтра тебя обследуем... Полечим».

Никон любил Вадю. Он проводил его до метро, а сам вернулся и суетливо говорил с Гариком Браверманом. Сам он заведовал урологией в Первой Градской, а Бравик был просто велик, все на свете знал. Сам Никон боялся лечить друзей. Пять лет назад умерла от лимфогранулематоза жена его младшего брата Ваньки, с тех пор Никон вздрагивал от малейшего насморка любого из СВОИХ.

«Ну... Не суетись,— отмахнулся Бравик.— Надо обследовать... Не суетись. Может, он просто перекурил».

Назавтра Вадя к Никону не приехал — наверное, ему стало лучше, он застенялся, устыдился своих страхов и не поехал. Но через неделю его привез Берг. Накануне у Вади сильно разболелась голова, болела несколько часов подряд все сильнее и сильнее, а потом были судороги. Это случилось дома у Берга. Судорог Вадя не помнил, но напуган был сильнее прежнего.

Невропатолог сказал Никону: «Очаговая симптоматика... Это может быть все что угодно...»

«Так, ты только время зря не теряй,— сухо сказал Никону Бравик.— Договорись с Новиковым и вези Вадю на Каширку».

Валера Новиков был гематологом. Собственно, онкологом. Он очень скоро все организовал. Вадя послушно ходил за ним с этажа на этаж. Ваде делали исследования, где подрагивали стрелки приборов, помигивало, попискивало, выползала бумажная лента. Вадю ставили перед экранами в затемненных комнатах, крепили к голове электроды, водили по животу датчиком, брали кровь.

В шесть часов вечера Валера позвал в свой кабинет Никона с Бравиком и сказал им, что у Вадика опухоль головного мозга. У Никона противно задрожали губы, а Бравик зло засопел.

Около восьми Вадя приехал в Крылатское. Свет на горе включили, Вадя увидел еще из машины, сам Берг, наверное, и включил. Вадя расплатился с таксистом, бережно вытащил с заднего сиденья доску и пошел к горе.

Саша Берг к тому времени два года работал «тренером-разнорабочим-сторожем» на замечательной горке слева от улицы Крылатские Холмы. Справа были эллинги, гребной канал и всем известные горки в Крылатском, «Крыло». А слева — не всем известные. Гора, где Саша Берг работал, была похожа на пианино — крутой короткий склон, затем короткий выкат, потом еще один крутой склон. Два подъемника — слева и справа. Хороший яркий желтый (теплый, а не синюшный) свет. Эту гору так и звали — «пианино».

Берг сидел на стуле возле трансформаторной будки. Он курил и глядел на свои валенки. Саша Берг вообще был непрезентабелен. Что до инвентаря — это да. Сашин инвентарь в сборе стоил подороже иного автомобиля. А в быту — так, куртка «эскимос», грубой вязки свитер с терскольского базарчика возле Чегета, на горе — валенки.

— Привет, Сань.— Худой снял перчатку и пожал Бергу руку.

— Привет. Пойдем на базу. Чаю выпьешь?

— Давай потом. Через часок. Сам-то не покатаешься?

Берг махнул рукой и сказал:

— Накатался по самые уши.

— Учишь детишек? — сурово спросил Худой.— Правильно учишь?

— Ой, правильно! — вздохнул Берг.

— Смотри...— Худой погрозил пальцем.

Сашу Берга, доктора биологических наук, в компании звали Гуру и Макаренко-Сухомлинский.

Два года тому назад он ушел из Молгенетики и устроился («Классно ты устроился», — говорили Тема и Гаривас. Непонятно только было, чего больше в их «устроился» проглядывало — иронии или зависти) разнорабочим на небольшой базе олимпийского резерва в Крылатском. Он ухаживал за горой, лопатил снег, ратрачил, включал и выключал свет и подъемник. Еще он обучал детей из окрестных дворов — начальство ему позволяло. Берг был терпелив и добродушен, детей к нему вели охотно, он даже не всех брал в свою группу.

А Гуру друзья его называли оттого, что Берг ненавидел спорт в чистом виде, считал горные лыжи высшим, сакральным занятием. Он учил своих ребяташек любить не горнолыжную технику, а горы, скорость, Визбора и все прочие производные.

— Ну, ладно, — сказал Берг.— Переодевайся и катайся. Пойду, чай заварю.

— Давай покурим.

Берг протянул Ваде сигареты.

— А Машка здесь не катается? — спросил Худой.

— Здесь она не любит кататься. Она любит в горах. И не во всяких горах...

Худой промолчал, Санина Машка была той еще штучкой, это было общеизвестно, предпочитала Куршевель.

— Хорошо тут у тебя, — сказал Худой. — Тихо.

— Всех разогнал — вот и тихо, — сказал Берг.

Под ветром легко шумели деревья, внизу поскрипывал барабан подъемника.

А Худой понял, что Берг специально для него, для Худого, постарался сегодня всех спровадить с горы.

— Саш, я, пожалуй, не буду сегодня кататься, — вдруг сказал Худой.

Берг не удивился. Он поднял со снега Вадину доску и ответил:

— Пойдем чай пить.

Накануне вечером Тема звонил Бергу.

— Что, Тема? — спросил Берг.

— Да плохо там все, — сказал Тема.

— Что доктора говорят?

— Они между собой говорят. Никон кидается на всех, психопат. Бравик не лучше.

— Ты с Лерой говорил?

— Единственный вменяемый человек, — сказал Тема. — А с Никоном разругались вчера окончательно.

— И что Лера?

— Короче, Вадя тяжело болен. Такая... самая страшная опухоль в голове... Не запомнил названия. Самая страшная. Лечить бесполезно, оперировать бесполезно. Все бесполезно.

— А Вадя как?

— Черт его разберет... Плохо ему... Страшно.

— Что ты думаешь?

— Слушай, пусть Никон с Бравиком думают. Пусть Сергеев думает... Марта говорит — нужен экстрасенс.

— Где она видела экстрасенсов? Одни жулики... А моя Машка говорит: к психоаналитику...

— Те же яйца, только в профиль...

— Запиши телефон, а? — попросил Берг.

— Ну, диктуй.

Тема записал телефон.

— Никон вот тоже: «Отправим его в Штутгарт...» Он, Никон, мол, денег даст.

Год тому назад на конгрессе во Франкфурте Никон подружился с роскошным онкологом из Штутгарта.

— Денег он даст... Откуда у него деньги? — вяло сказал Тема. — И потом, что там такого есть, чего здесь нет? Что здесь Вадя умрет, что в Штутгарте. Уж лучше здесь.

— Что ты панихиду устроил, мать твою?! — разозлился Берг. — «Умрет»... Может, проживет еще!

— Слушай, Сань, — осторожно сказал Тема, — Никон, конечно, землю рыть будет. Вадю будут обследовать... Лечить будут... Как они говорят: «Умереть не дадим — залечим насмерть...» Но знаешь, что я думаю, — пусть он в горы едет. Ты не смейся...

— А я и не смеюсь, — сказал Берг.

— Пусть он едет в горы. Самое ему там место сейчас. Ты не смейся, Берг... Я только не знаю, как ему сказать...

— Я знаю, как сказать,— терпеливо ответил Берг.— Я скажу.

— И я не знаю, что теперь делать...— Вадя покачал головой, в глазах у него плавала смертная тоска.— Ой, ну погано!.. Ну страшно... И как поступить — не знаю. Я же не раскис... Ты не думай... Но поступить-то как правильно? Надо, наверное, в больницу лечь... К Валерию Валентиновичу надо лечь. Он звал. Но знаешь, Саш, мне кажется, что это мимо денег. Я же вижу по Никону.

— Никон не по этим болезням,— глухо сказал Берг.

— Какая разница... Ему же объяснили...

Берг встал, снял с плитки чайник и подлил в Вадину кружку.

— Ты как себя чувствуешь?

— Ничего... Чувствую... Сань, я деятельный, ты знаешь. Я не ботва. А сейчас что делать? — Он посмотрел на Берга, как смотрят больные собаки.— Не хочу в больницу. Не верю, Сань.

«И я не верю,— подумал Берг.— И Никон».

— Страшно так, аж знобит...— Вадя помял сигарету, взял у Берга чашку с чаем и скривился.— Надо, наверное, маме сказать.

Вадя уже несколько дней все знал. То ли подслушал, то ли понял сам. Родителям (он жил вместе с ними во Фрязине) он ничего не говорил. Родители у него были простые. Отец — токарь, мама — кассир на автовокзале. Вадя их берег.

Гарик Браверман приезжал к Никону накануне.

Никон к тому времени вернулся из операционной и сосредоточенно выговаривал ординатору. Тот переминался с ноги на ногу, за версту было видно, что ни черта он Никона не боится.

— Отливай, откапывай... Полтора литра. Лучше — два...— нудел Никон.— И кортикостероиды... Понял? Иди.

— Никон...— Гарик тронул Никона за локоть.

— Да?..— Никоненко обернулся.

— Привет. Пойдем к тебе.

— Что ты вперся в ботинках?! — зашипел Никон.— Что вы ходите все сюда, как в кабак?

Но уже подошла постовая сестра, подала Гарику бахилы.

Бравик заведовал этим отделением до Никона, потом ушел в Институт урологии. Конечно, Бравика помнили и чттили. И, кажется, немного тосковали по твердой руке.

— Не ори! — строго сказал Бравик.— Пойдем к тебе.

Никон махнул рукой и пошел в свой кабинет. Бравик семенил за ним.

— Ну чего, чего ты приехал? — зло заговорил Никон, прикрыв за Бравиком дверь.— Разговоры разговаривать? Тема звонит, Берг звонит... Все звонят. Папа Никон, блин, должен со всеми разговаривать...

— Не ори,— повторил Бравик брюзгливо и положил бахилы на стол. Он сел в кресло, скрестил толстенькие ноги и поскреб лысину.— Ты же сам звонил.

Тут Никон вспомнил, как вчера, после того, как Лера прочитал ему по телефону все протоколы, он в половине первого пьяно канючил в телефонную трубку: «Бравик, ну посоветуйся с Шехбергом... С Мартовым... Ну пусть его еще раз прокрутят, пусть его Новиков к себе возьмет, я же слышал, какая у него выживаемость... Бравик, ну грош всем нам цена...»

Никону стало стыдно.

— Извини,— сказал он.

— Брось,— сказал Бравик.— Только не ори.

— Что ты приехал?

— Это проигранная ситуация,— ровно сказал Бравик.— Я к тебе не просто как доктор к доктору... Не надо Вадика лечить. Ничего не надо. Оставьте его в покое, понимаешь?

— Это на тебя не похоже — оставлять в покое,— сказал Никон, исподлобья посмотрев на Бравика.

— Оставьте его в покое,— твердо сказал Бравик.— Это тот самый случай.

Никон оскалится, буркнул: «Эх!», сел в кресло и закурил.

— Ты поверь мне,— просяще сказал Бравик, он сейчас был совсем непохож на всем привычного, ядовитого, резкого в суждениях Бравика.— Я тебе как другу говорю — не нужно ничего. Вы все потом будете казниться... Его Вайнберг смотрел, Мартов смотрел. Хочешь, чтобы к нему отнеслись формально? Чтобы его замучили химиотерапией? Не надо с ним... упражняться. Когда припрет — мы обеспечим все. И обезболивание... все.

— Хорошо,— тускло сказал Никон.

— И не ори на меня при сестрах,— сказал Бравик.

— Сашка, я же в бога-то не верю... Рад бы, да не верю. Знаю, что ПОТОМ ничего нет...

— Выпить хочешь?

— Может, чуть-чуть...

Берг достал из тумбочки бутылку коньяка «Васпуракан», свинтил пробку и плеснул в Вадину чашку, прямо в чай, Вадя так любил. Потом Берг еще немного посидел молча с бутылкой в руке, посмотрел на нее недоуменно и из горлышка сделал несколько больших глотков.

— Вадик... Чего я тебе скажу...— Он придвинул стул.— Вот как надо поступить... Ты голову не ломай. Ты не умрешь. Я клянусь: не умрешь. Ты катайся.

Вадик безразлично смотрел на Берга.

— Катайся,— повторил Берг.— Катайся, Вадя, дорогой. Что умеешь, что любишь — то и делай. И поезжай, пожалуйста, в Терскол, в Цею, в Валь-д-Изер, к черту на рога... И катайся.

Вадя выпил свой чай с коньяком и растерянно слушал.

— Я тоже неверующий, Вадя... Что там ПОТОМ, что там где... Но что я точно знаю — на «Мире» теперь снега немеряно... Да ты сам вспомни: внизу — выкат, справа — Донгуз-Орун, Когутай... Шхельду видно, Ушбу... Мы же горные люди. Ты — горный человек... Быть того не может, чтобы наш человек в горах вымер. Ванька вот тоже рассказывал мне про одну даму... Колчинская, профессор из Киева. Он у нее защищался. Она самая главная по гипоксии... Знаешь, что такое гипоксия? Это когда на Гара-Баши клипсы застегнешь, разогнешься — голова кружится... Короче, кислорода не хватает. Эта гипоксия, короче, чудеса творит. Да много там чего в горах... Ты знай катайся.

Он замолчал и посмотрел на Вадю. Тот поставил чашку на стол и прищурился. Хорошо так прищурился. И видно было, что он больше не мечется.

— Можно от тебя в Лион позвонить? — спросил Вадя.— Ты мне косарь не займешь?

— Конечно! — радостно сказал Берг.— И звони, куда хочешь.

Они приехали в «Шереметьево» кавалькадой, на трех машинах — Берг с Машкой, Гарик, Никон, Тема, Гаривас и Гена Сергеев. Возле «Departures» Вадя положил на пол чехол с досками и сказал:

— Еще долго. Только объявили. Пошли в бар.

Действительно, оставалось время.

В «Шереметьеве» в ту пору каждый третий был с лыжами и каждый пятый — с доской. Повсюду вздымались, висели на плечах, стояли в пирамидах и лежали на полу зачехленные лыжи, реже — доски.

Гарик сопел и смотрел на часы.

— Что ты сопишь? — сердито спросил Никон. — Тебя поджимает — поезжай. Отметился — и поезжай.

— Общество сегодня, — сказал Гарик.

Заседания урологического общества начинались в шесть на Третьей Парковой, сколько бы Гарик ни сопел — он уже не успевал. Да он и не торопился, он просто чувствовал себя неловко. Гарик не любил авантюр.

— Вы все так себя ведете, — сказал он накануне Никону и Теме, — как будто болеть и умирать могут только люди посторонние и малосимпатичные.

— Ну а что ты предлагаешь? — сразу же завелся Тема. — Что ты предлагаешь? Слезу точить? Апельсины ему в Онкоцентр носить? Да проблюется он твоими апельсинами после химиотерапии.

— Сейчас он счастлив, — примирительно сказал им Никон. — Там будет счастлив.

— А потом? — спросил Гарик.

— Потом — суп с котом! — зло сказал Тема. — Не занудствуй.

Они все вошли в бар, там сразу стало тесно.

— Девять тройных коньяков, — громко заказал Гаривас.

— Але, кто за рулем — легче, — сказал из-за спин Гена Сергеев.

Они разобрали стаканы, сгрудились в кружок и вытолкнули Худого в середину.

«Зря мы его так ПРОВОЖАЕМ, — подумал Берг. — Надо было попроще. Как всегда, когда он ехал в горы, — так и в этот раз надо было».

— Не сломай себе шею и другие части тела, — сказала Машка. Она чокнулась с Вадей, встала на цыпочки и поцеловала его в щеку.

— Ага, — добавил Никон. — Летай пониже.

Все стали чокаются с Вадей, обнимать его, потом поставили пустые стаканы на стойку и вышли из бара.

— Долгие проводы — лишние слезы, — сказал Тема. — Мы поехали, а ты поболтайся за таможей. В магазин сходи, сосиску скушай. Купи «Баллантайнз», там дешевый, одиннадцать долларов литр — поди плохо?

Бравик придержал Худого за локоть.

— Ты как себя чувствуешь? — тихо спросил он.

— Хорошо, — сказал Вадя и улыбнулся.

Но лицо у него было серое.

Накануне Бравик приготовил Ваде сверток, он сейчас лежал в Вадином рюкзаке. Там были всякие анальгетики. На все случаи жизни.

— Я туда записку положил — как принимать и когда, — сказал Бравик. — Звони мне каждую неделю. Ты понял меня, аферюга?

— Я буду звонить, Гарик. Спасибо тебе, — сказал Худой.

Он пожал всем руки, а с Машкой обнялся.

— Шею не сломай, — повторила Машка.

Когда они приехали к Бергу, Вадя позвонил в Лион. После он еще звонил в Дублин и Дорнах, потому что секретарь сказал, что Руби уехал на выходные, а куда — сказать не мог. Дал несколько телефонов. Вадя прозванивался, здоровался на чудовищном английском, произносил пароль «Вадя», переживал взрыв

иноязыкого болботанья. Потом трубку перехватывала Машка и говорила по-французски. Винсент и Фармер были радостно-вежливы — Вадя не стал их ни о чем просить.

— М-да... Ну это европейские дела...— протянул Берг.

— Козлы,— сказала Машка.

Ламма был в горах. В Новой Зеландии. До него дозвониться не удалось. Но Руби они нашли. Тот некоторое время говорил с Машкой, потом сказал:

— Вадя, поезжай завтра в итальянское посольство. Я пошлю им приглашение для тебя. От ирландской Федерации фри-райда. Они дадут визу.

Берг с Машкой закивали — итальянцы быстрее других давали визу.

— А есть такая федерация? — спросил Вадя.

— Если нет — учредим,— сказал Руби.

Берг с Машкой заулыбались и замахали руками: мол, хороший человек.

Потом Руби твердо и ясно объяснил, что он может сделать для Вади. Через восемь дней он начинает снимать ролик для «Хэда». Ролик будет сложный, надо будет много прыгать. Вот тут Вадя и пригодится.

— Мы с женой собираемся провести в Доломитах почти весь февраль,— сказал Руби.— Будешь прыгать... И немного фри-райда. А потом видно будет. На моей странице в Сети будет твой борд-класс... Хочешь много кататься? Будешь много кататься. У тебя хватит денег на «иншурэнс»? — Берг с Машкой опять закивали и замахали руками.— Прекрасно. Получай визу и покупай билет. Я или жена — мы встретим тебя в Милане.

— А я думал, что он меня не вспомнит,— сказал Вадя, когда они простились с Руби.— Он тогда так обкурился, что маму свою мог забыть.

— Хороший мужик,— сказала Машка.— Не то что это жлобье... Винсент этот сраный.

— Французы — это да...— вздохнул Берг.— Это что-то особенное...

— Они хуже фиников,— сказала Машка.— Жлобство — их национальная добродетель.

— Да ладно вам...— Вадя усмехнулся.— Дались вам французы. Это еще ничего. А вот, скажем, арабы...

— А что он тебе будет платить? — спохватилась Машка.

— Что-нибудь да будет,— беспечно сказал Вадя.— Мне бы кататься — тушкой ли, чучелом...

Он прошел через таможню и почувствовал, что проголодался. Ночью сильно болела голова — до тошноты. Под утро Вадя пил трамал и немного поспал. Родителей удивило, что Вадя точно не мог сказать, когда вернется. Но такое и раньше случалось. Отец только спросил, оформил ли Вадя отпуск. Вадя сказал, что оформил. На самом деле он уволился. «Позвони через недельку»,— попросила мама. Вадя обещал звонить часто.

После коньяка в баре есть захотелось еще сильнее. Вадя с удовольствием съел горячий бутерброд, запил холодным легким пивом и сел, дожидаясь, когда объявят посадку. В магазин ему идти не хотелось, к спиртному он был равнодушен. Это Гаривас всегда покупал столько виски, что на него косились таможенники.

Он пристроил в ногах рюкзак, откинулся на спинку оранжевого пластикового сиденья и прикрыл глаза.

Сильнее головных болей его все эти дни мучал страх. Страх начинался холодком по лицу, дрожью и опускался противным нытьем в низ живота.

Вчера, поздно вечером, до того, как навалилась, засверлила головная боль, Вадя собирался в дорогу. Он сидел на стуле, посреди разложенного на полу бутора. Родители легли, но еще не спали — Вадя слышал, как за стеной тихонько бубнит телевизор.

На полу лежали доски, чехлы, рукавицы, очки, всякая мелочь — он так собирался, раскладывал все кучками на полу, оглядывал, проверял, не забыл ли чего, только после укладывал в рюкзак.

Вдруг он взял в руки старый серый свитер плотной вязки и ткнулся в него лицом. Он купил свитер за пятнадцать рублей на рынке возле Чегета одиннадцать лет тому назад. От свитера пахло сырой шерстью, табаком, туалетной водой «Ярдли» и бензином. Всем сразу. В низ живота противно скользнул страх, Вадя с глухой тоской чувствовал, как проклятая головная боль и все, что ждет его дальше, отрывают его от этих родных запахов, от этого чудесного бормотания телевизора за стеной, от покашливания отца, от бутора на темном паркетном полу... Вадя тихо завыл, кусая губы, быстро встал, пошел на кухню, достал из холодильника отцовскую «Старку» и, давясь, выпил стакан. В животе стало горячо, страх потеснился и отступил. Вадя вернулся в комнату, включил Поля Мориа и стал укладывать вещи в рюкзак. Он уже знал, что надо НЕ ДУМАТЬ...

— Да Худой это, говорю тебе... Вон сидит, кемарит... — услышал Вадя.

Он открыл глаза. У прилавка с салатами и сэндвичами стояли два пацана в «полартексе» и смотрели на него во все глаза.

— Привет, Худой, — осторожно сказал один.

Второй несмело помахал рукой.

— Привет, ребята, — сказал Вадя.

— Ты куда, Худой? — спросил первый.

Было видно, как ему приятно, что он запросто с Худым.

— Ты куда, Вадя? — эхом спросил второй и заулыбался.

— В Доломиты, — ответил Вадя. — А вы, ребята, куда?

— Да в Пампорово... Там со снегом ништяк... Там наши уже, с Крыла... Полетаем!... — радостно заговорили пацаны. Они уже знали, как в Пампорове скажут: «В "Шереметьеве" с Худым говорили... Мы, говорим, в Пампорове... А он: ну а я, пацаны, в Италию...»

— Как оно вообще, Худой? — продолжил первый.

— Все в порядке, — приветливо сказал Вадя. Тут объявили посадку. — До встречи, ребята. Удачи.

— Удачи!.. Удачи, Вадя...

Он взял рюкзак и пошел к контролю. За спиной ребяташки взволнованно говорили о нем:

— Он чувак — улет... Он вообще такой чувак... Ты видел его в декабре по «Спорт-Ти-Ви»? Как он в Марибеле...

«Молодежь — не задушишь, не убьешь...» — подумал Вадя, показывая посадочный талон. Ему в августе исполнилось тридцать два. Но он никогда не тяготился ребяташками. И уж, конечно, не тяготился бешеной у них популярностью. Гаривас однажды, шутя, назвал его то ли жиганом, то ли пионервожатым. Вадя серьезно ответил: «Брось, Вовка. Вне горы я с ними никак. На горе — кто смел, тот и съел. Мы же не за Прустом в горы... И не за Кортасаром».

В самолете он выпил таблетку седалгина, почитал «Известия» и уснул.

Он стоял у трейлера и смотрел, как техники открывают «хаф-пайп». Ратрак взрывал, чихал соляром, техники плавно ходили вокруг с лопатами. Руби стоял в стороне и отрывисто говорил по телефону.

Аннушка, жена Руби, сидела на крылечке трейлера, подложив под себя рукавицы, и говорила Ваде:

— Не понимаю, зачем это нужно. Штурм унд дранг... Имитация деятельности. Завтра будет погода, завтра все снимут.

Но Вадя знал, как их поджимает. Вьюжило третий день, Руби нервничал из-за сметы. «Хаф-пайп» заносило за полчаса. Вадя вполне мог прыгать, но Руби нужны были солнце и панорама Валличеты. Он настаивал на том, чтобы Вадя прыгал и сегодня, и накануне, потому что боялся его расхоложивать. Сам он расхоложиваться не боялся — не прыгал, а кричал на техников и говорил по телефону. Вадя старался сопереживать, но, откровенно говоря, ему было все равно.

Сегодня он спустился восемь раз и двенадцать раз прыгал. Он положил себе кататься пять часов в день НЕПРЕРЫВНО.

— Вадя! — крикнул Руби. — Родео-флип! Would you be so kind...

Вадя улыбнулся — оператор Даян, македонец, приятель-волонтер Руби сидел в трейлере и ел колбаски с кетчупом. Снимать было некому. Руби держал Вадю в форме. Смешной человек — Вадя мог прыгнуть среди ночи, только подними.

Он бросил на снег сигарету, застегнул клипсы, взял доску под мышку и пошел наверх. Снег оползал под ботинками, иней, что Вадя надышал на воротник, охлаждал щеки и шею. Вадя выбрался на верхний бугор, постоял немного, хрустнул шеей и вставил ботинки в крепеж.

— Вадя, — крикнул Руби снизу, — рок-н-ролл!

Вадя качнул доску, поплыл вниз, чуть повел задником, вошел в трубу и сделал «родео-флип». Мир провернулся вокруг Вади. Мир состоял из сухой снежной пелены, белесого неба и цветных пятен курток, комбезов и ратраков.

Потом он, шурша доской по снегу, подъехал к трейлеру и отстегнул крепеж.

— Штурм унд дранг, — повторила Аннушка.

Она так и сидела на крылечке. Ей хотелось спуститься в Бормио и поговорить с дочками — она каждый день звонила в Дублин.

— Выпьешь кофе? — спросила Аннушка.

— Да, с удовольствием, — сказал Вадя.

Аннушка была полькой, родилась в Англии. Ее отец был министром связи в правительстве Миколайчика. Вадин английский был так себе, но Аннушка часто вставляла польские слова, это Ваде помогало. Аннушка и Руби были женаты восемь лет, их дочери свободно переходили в разговорах между собой (но только между собой!) с английского на польский.

Неделю назад Аннушка встретила Вадю в Милане, подхватила чехол с досками и на карикатурном «жуке»-кабриолете привезла в Бормио.

Для житья ему приготовили трейлер, и Вадя был в восторге. В трейлере было тепло, тихо и сухо. Вадя там жил один, больше охотников жить в трейлере на верхней очереди не нашлось. Отныне у Вади имелись одиночество (что им ценилось превыше всего прочего), масляный электрообогреватель, умывальник, телевизор и душ с туалетом.

Руби, Аннушка, два оператора и техники жили в Бормио.

Из того сумбурного телефонного разговора Руби понял, что Вадя в депрессии и болен. Переводя, Машка почему-то напирала на депрессию. На эту депрессию Руби и откликнулся со всей душевной теплотой.

«Это у них принято, — сказал тогда Берг. — Твердо и радостно сообщать людям смертельные диагнозы и с бесконечной нежностью нянчиться с неврас-тениками».

И еще Руби понял, что Ваде нужно помочь с жильем и работой в горах. Худой ему, видимо, всегда нравился. Как нравились все катающиеся, прыгающие и

летающие. К тому же Вадя был из лучших — Руби видел его в Марибеле. Он приготовил к приезду Вади трейлер, а потом объяснил Ваде через Аннушку и сам, что Вадя будет прыгать, когда скажут. Вадю эта китайская постановка задачи совершенно не задела — он был очень благодарен Руби.

Вадя рано просыпался, пил растворимый кофе, разминался и спускался к первой очереди. Утром, когда бывало пасмурно, мешал «плоский свет», но это даже было полезно для Вади. Ноги начинали чувствовать гору. Он поднимался два-три раза в полупустом вагончике. К десяти поднималась вся группа. Поднимался Руби с телефоном у уха, его люди расставляли флаги и растяжки, начинали отрывать «хаф-пайп».

Вадю за неделю стали узнавать подъемщики, спасатели, такие же, как он, ранние катальщики. Он завтракал (завтракали почему-то наверху, в трейлере) с группой и несколько раз прыгал без оператора. Потом он прыгал для Руби. Потом что-нибудь ломалось. У «Бетакама» садилась батарея. Приносили истеричный факс из головного офиса. Из факса следовало, что на Ваде и Руби должны быть не синие и желтые рукавицы, а зеленые и красные. Или Руби — человек в общем-то не склочный — замечал, что у Вади повязка «Скотт» и устраивал «шкандаль». Руби всплескивал руками, кричал и пытался втолковывать Ваде про штрафы. Правда, быстро остывал, хлопал Вадю по плечу, показывал на «хаф-пайп» и миролюбиво говорил: «Go... One more...» Вадя прыгал, оператор сдержанно аплодировал, балансируя камерой на плече. Потом опять задувало, Чима Бьянка и Валличету заволакивало серой хмарью, Руби уходил пить кофе. Вадя перемигивался с Аннушкой, шел к канатке, поднимался на ледник и долго, длинными дугами пролетал до нижней очереди, где вокруг кафе, обшитых коричневым тесом и крытых красной металлической черепицей, толпились лыжники и досочники и почти не дуло. Руби мог бы снимать и у нижней очереди, но ему нужна была панорама Валличеты.

Все это было немножко не то, что нужно. Было все это таким физкультурным, совершенно необременительным катанием. Так катаются в Гудаури — от стакана до стакана. Но Вадя точно знал, что впереди и другое катание. А пока он с наслаждением уставал на зализанных, разратраченных склонах. Он катался до съездов, во время и пару часов после. По вечерам Вадя выпивал по стаканчику виски с Руби и Аннушкой, они смотрели снятое за день. Потом еще смотрели старые записи — как Руби спускался в Валдесе с Нью-Уорлд вместе с Фулбрайтом. Или в Чимбулаке с Попорте, или в Марибеле с Вадей. Вадя прощался с Руби и Аннушкой, поднимался на ратраке (ратрачники его приветчали, Вадя уже стал местной достопримечательностью — ратрачники, подъемщики и спасатели много чего видели и Вадю оценили) в свой трейлер, принимал душ и покуривал. К тому времени у него уже болела голова. Он наловчился изобретать микстуры — вытряхивал анальгетики из ампул в стакан, добавлял воды и выпивал. На вкус это было отвратительно, но помогало лучше таблеток. Голова по вечерам болела невыносимо, иногда Вадя поскуливал, сворачиваясь в калачик на кушетке, его кружило, несколько раз он падал и ушибался. Еще он заметил, что хуже чувствует запахи. Но стал быстрее засыпать. Он весь день делал все, чтобы уставать и засыпать быстрее.

На пятый день распогодилось, они сняли все, что хотели. Вадя даже загордился, когда смотрел последнюю запись. Глядя на то, как он все выполняет на «биг-эйр», Вадя подумал, что, наверное, он один из лучших в Доломитах в этом сезоне. И в Европе он один из лучших. Руби не снимал его в экстриме, но Вадя знал, что в экстриме он тоже будет хорош. Лишь бы голова не болела днем. Только бы не болела днем... В последний день съездов он спустился к длинному выкату. На склоне сидели здешние ребята и ждали Вадю. «Как тюлени на

льду...» — подумал он. Лыжники, те, когда останавливались, стояли. А досочки сидели. Стайками. Ребятишки увидели Вадю, вскочили, подпрыгивая на досках, заскандировали: «Вадя! Вадя!», — похлопали рукавицами и полетели вниз. Вадя пошел за ними, обогнал, показал, «как надо», ребятишки восторженно кричали ему в спину. У подъемника они протягивали ему доски, маркеры, он, загордившись, расписывался, фотографировался в обнимку.

Вечером Руби сделал «party», все выпивали. Руби дал Ваде семьсот долларов, еще дал подписать бумагу — Вадя догадался, что это отказ от каких бы то ни было авторских притязаний. Руби сказал, что трейлер оплачен еще на две недели. А Аннушка сказала, что через неделю в Бормио придет их приятель Патрик, которому нужен борд-класс. Патрик — «fat» и «lazy», кататься станет два часа в день, не больше. Он готов заплатить четырехста, но надо запросить тысячу — тогда он заплатит шестьсот. Еще Аннушка сказала, что отец мальчишки, которого Вадя три дня назад научил делать «one-foot» — начальник карабинеров. Поэтому, когда подойдет к концу виза, надо спуститься в Бормио, пойти в околотоку, с визой Ваде помогут.

Утром Вадя сердечно простился с Руби, поцеловал Аннушку в сухую смуглую щеку. Группа приготовила для Вади кассету — смонтировали одного его, как он прыгает, как исполняет фри-райд, как курит на крылечке трейлера, даже как огрызается на Руби, — все это с музыкой: «Кармина Бурана» и «Allegro non molto», «Fore seasons». Вадя был тронут. После завтрака группа сгрузила в вагончик сумки, доски, растяжки и флаги, треноги и осветители. А Вадя докурил, бросил сигаретку на снег и пологими дугами пошел по склону, стараясь держаться под вагончиком. Он так с ними прощался.

В середине апреля, числа, может быть, пятнадцатого, Берг, Никон и Тема подъехали к дому Гарика Бравермана.

Берг вынул ключ из замка зажигания и сказал:

— Могли между тем прекрасно посидеть у меня.

— Не ворчи! — Тема с заднего сиденья похлопал Берга по макушке. — Неудобно. Давно у него не были. Надо соблюдать... ротацию.

— Ты же можешь здесь машину оставить, — рассудительно сказал Никон. — Поезжай домой на такси. На метро поезжай.

Уж Никон-то понимал, что Берг прежде всего недоволен тем, что нельзя выпить по причине руля.

— И то верно, — бодро сказал Берг. До Никона логический ход типа такси ему в голову не приходил.

— Ну вот и хорошо, — сказал Тема. — Вот все и устроилось. Вот и ладненько.

Никон грузно выбрался из машины, шумно вздохнул, хрустко потянулся и сказал:

— Он обижается, если к нему не ездить.

— Ага, — сказал Берг. — Он то брюзжит, то обижается. Одно удовольствие — с ним дело иметь. Редкой души человек...

Бравик открыл дверь, едва Тема нажал на кнопку звонка.

— Здорово, мужики, — сказал Бравик. — Берг, Машка звонила, сказала, чтоб ты здесь машину оставил.

— Наши жены — это пушки заряжены! — хохотнул Никон за спиной у Берга.

— Святой человек... — истово говорил Берг. — Святой. Как чувствует, когда папа хочет выпить!

Бравик был хрестоматийный холостяк. Почти не пил, не курил, не читал беллетристики и отвлеченного, не катался на лыжах и не любил непредметных разговоров. При всем при том оставался цельным и умным человеком, настоящим мужчиной. Разумеется, для тех, кто был способен это разглядеть в тол-

стенком, лысоватом, сварливым Бравике. А Тема, Никон, Берг, Гаривас и Гена Сергеев (трепачи и сибариты) все разглядели много лет назад.

— Горя, положи, пожалуйста, водку в морозилку, — попросил Никон.

— Я вам виски приготовил, — застенчиво сказал Бравик. — «Бучананз».

— О! — сказал Тема и пошел на кухню.

— Сань, чисти картошку! — крикнул Никон из ванной.

— Я в прошлый раз чистил, — сказал Берг.

— Бравик, мы подарок тебе привезли, — сказал Тема из кухни.

— Точно! Чего тянуть? — гаркнул Никон, выходя из ванной.

— Ты стирку там затеял? — спросил Тема.

— Руки мыл... — сказал Никон. — Гигиена... Чего тянуть. Доставайте подарок!

Берг протянул Бравике две книжки.

— Вот те раз... — бормотал Бравик, глядя на обложки и поглаживая. — Ну чего... Спасибо... Чего уж там...

— А ты про нас — алкаши, алкаши... — укорил Берг.

— Сорок шестой год, — благоговейно сказал Бравик. — И «YMCA-PRESS»... семьдесят восьмой. Таких уже ни у кого нет.

Это были «Очерки гнойной хирургии» издания сорок шестого года с лиловым штампом Верхоянской городской библиотеки и «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого».

— Ни у кого нет, а у тебя есть, — довольно сказал Берг. — Где «Бучананз»?

Еще три дня Вадя катался по трассам. Сезон был на пике, на склонах было пестро и тесно, Вадя старался уезжать на малолюдные склоны. На четвертый день он впервые взял доску с длинным носком. Погода была прекрасной, лишь изредка ветер приносил лохмотья облаков со Средиземного моря. Когда облако заслоняло солнце, мгновенно становилось холодно, ветерок тут же превращался в ветер и прохватывал до костей, над площадкой перед кафе у верхней очереди, где стояли шезлонги, поднимался тихий визг, загоравшие лыжницы быстро натягивали верх комбезов.

Вадя поднялся на бугеле, взял доску под мышку и, проваливаясь в снег по колено, медленно пошел по гребню. Брюнет с биноклем и «Мотороллой» что-то крикнул ему. Вадя обернулся и помахал рукой. Спасатель узнал его, что-то сказал в рацию и отвернулся.

Вадя минут двадцать шел по гребню. Иногда он останавливался, доставал из кармана полароидный снимок и сверялся. Снимок он сделал вчера, от своего трейлера. Оттуда целиковая стенка просматривалась на три четверти. Угол у стенки был градусов сорок. И сюрпризов — полок, карнизов, прочего — не ожидалось. И недавно кто-то ниже прошел по целику на лыжах.

«Ага... — подумал Вадя. — Отсюда...» Он остановился возле трехметровой скальной пирамидки. На снимке она была ориентиром. Вадя положил доску на снег, похрустел шеей, снял рукавицы, присел на корточки и слепил плотный шар из снега. Потом он слепил еще несколько шаров, подышал на ладони и надел рукавицы. Затем бросал шары на склон и внимательно смотрел.

«Хорошо, — подумал он. — Все хорошо».

Вадя застегнул крепления, качнул задником доски и стал спускаться. И сразу зарылся, как ни готовился. Он слишком привык к укатанным склонам. Но через несколько секунд он «перегрузился», «всплыл» и пошел вниз, стараясь делать повороты легче, чем того хотели ноги. Слева он почувствовал движение и немного насторожился — не подрезал ли лавину... Лавинку. Нет, не подрезал — снег был великолепен. Сухой, легкий, однородный. Поворачивая, Вадя создавал шуршащие волны, и они нагоняли его на пологих дугах. Он еще подумал, не уйти ли в кулуар справа, но быстро решил не делать этого. Там могли быть сюрпризы, а он еще не раскатался. Он еще не ЧУВСТВОВАЛ целину.

Он взял левее траверсом, ускорился немного, лег грудью на плотный воздух и выскочил к флажкам. Дальше лежал разратраченный склон. Вадя остано-

вился, подышал, сел и посмотрел на стенку. След от его доски был похож на гигантский штопор, который растянули в скрученную ленту. След был хороший, плавный, «без истерик».

На шестой день приехал Патрик. Было ему за сорок, всю жизнь он катался на лыжах, а в этом сезоне захотел встать на доску. Ну захотел, так захотел... — Неделю? All right? Поработаешь со мной неделю? — спросил Патрик. — Конечно, — сказал Вадя. — Sure. Up to you.

Он не стал «поднимать» Патрика ни до косаря, ни до шестисот — он вообще не понимал, почему Патрику не взять нулевой «класс» в Бормио за двести.

Патрик катался азартно, но немного. После двух он плотно обедал и всякий раз приглашал Вадю. Но — у советских собственная гордость. Вадя и на посиделки с группой Руби приходил со своей бутылкой. Да и к тому же за годы у Вадя сложился свой «горный» рацион. Он брал на гору багет, хамон и полбутылки «пино». В «пино» он утром сыпал сахар. Он так привык, это было «необходимо и достаточно».

После обеда Патрик катался символически. Ему часто звонили, он останавливался и подолгу разговаривал. Около четырех они прощались, Вадя поднимался в трейлер, надевал ботинки «Райхл-Кликер», брал доску с длинным носком и крепежом «Росси-Рок» и шел по гребню. Ту, первую стенку он к тому времени облизал вдоль и поперек и теперь уходил дальше, спускался по контрфорсу, прыгал и поворачивал в кулуар.

Он проводил на горе семь часов. И все это время НЕ БОЯЛСЯ. Страху некуда было втиснуться. Если Вадя катался с Патриком или один по трассам, то старался делать больше сложных элементов, он не думал ни о чем плохом, он забивал катанием каждые сто метров горы и каждые десять минут дня. А когда Вадя уходил по гребню, страх и не пытался увязаться за ним, страху нечего было там делать. Там ветер сдувал с серых скальных зазубрин кристаллический высокогорный снег, выводил одну бесконечную песню. Там слева была белая бликующая стенка, а правее — голубая и серая. И не было в жизни задачи серьезнее, чем не «зарезаться» вон там, где в ложбину надуло пухляк, чем, травея, не вылететь под карниз, где еле угадывались подлые камни, чем потом от счастья не потерять осторожность внизу и вновь не «зарезаться».

По вечерам он смотрел MTV и местный канал. Показывали чемпионат мира по скоростному спуску в Валь Торансе, фристайл в Марибеле, показывали хороших лыжников и фри-райдеров. Однажды Вадя узнал себя на «биг-эйре», обрадовался, загордился, но не мог понять, в чем дело. Потом увидел в углу экрана значок «Хэда» и сообразил, что Руби оформил все, что они снимали.

Он регулярно звонил родителям, раз за разом сочиняя, почему не возвращается так долго.

Вадя не любил вин, в традициях компании если выпивал, то коньяк или виски. Но в Бормио он купил корицу, гвоздику, кардамон. Покупал «каберне» в закупатых литровых бутылках, вечерами варил глинтвейн.

Запахи он чувствовать перестал совсем. После пяти двоилось в глазах, а головная боль стала пульсирующей, к полуночи пульсация перерастала в гуд, кто-то злющий и сильный быстро и часто вбивал огромный гвоздь в темя. Тогда Вадя пил очередной коктейль из бравиковских анальгетиков. На Вадино счастье днем ему было неплохо. Собственно, хорошо. И только на третью неделю он подумал, что, может быть, днем ему хорошо потому, что днем он все время на доске.

Патрик уехал. Подарил Ваде коробку сигар и переплатил сверх ожидаемого две сотни.

Вадя съехал из трейлера, спустился в Бормио и оплатил две недели в скромном, чистеньком, ситцевом таком пансионе. Утром он съедал бутерброд с сыром, пил две кружки нормального американского кофе. Днем — «багет-хамон-пино». Вечером — тяжелый мясной ужин. Плитки в номере не было, на кухню ходить было неловко, Вадя приноровился варить глинтвейн кипятивником. Кастрюльку купил в супермаркете.

«Сиротский быт...— думал он, прихлебывая из кастрюльки.— Босятство — это в крови».

Однажды Вадю нашел один москвич и передал от Гарика пакет с анальгетиками. Там даже были ректальные свечи с дионином. Вадя оценил. Вот в этом был весь Бравик. Никаких соплей, но — ректальные свечи с дионином. Это дорогого стоило.

По вечерам было неизменно тяжело. Но уже был совершенно уверен, что в горах ему лучше. Уместнее. Утром вялый, с серым лицом он гнал себя на гору. У него было ощущение правильности происходящего, он чувствовал, что именно теперь нужно терпеть. Корчиться по вечерам от боли, пить микстуры из анальгетиков и поутру идти на гору. Терпеть и кататься. Кататься и терпеть. Так он чувствовал себя два года назад в Аосте, когда выполнял экстрим, а Попорте «наводил» его снизу. Он вспоминал тревожный голос Попорте в наушниках: «Easy... Easy... No fall zone...»

Теперь он вновь был в «no-fall-zone». Он твердо знал, что это тот самый единственный шанс.

В холле пансиона стоял телевизор. Хозяин увидел ролик Руби и долго шептался потом с женой и невесткой. Хозяин сказал Ваде, что если тот будет кататься в куртке с надписью «Vitelli Ski Locasion» (Вителли приходится хозяину пансиона шурином), а с шести сидеть в магазине и рекомендовать инвентарь, то Вадя может жить у него. Жить, завтракать и ужинать. Вадя легко согласился. Куртка была роскошная — гортекс, «Невика», в Москве Вадя ни за что не разорился бы на такую.

Когда подошла к концу виза, Вадя пошел в полицию, они с начальником выпили кьянти, у Вади взяли паспорт и вскоре вернули с визой еще на месяц. Все складывалось отнюдь не трагично.

Иногда Худой думал, что было бы, если бы он остался в Москве. Представлял коричневую слякоть в вестибюлях метро, фрязинские вакуумные генераторы, облезлые землястые горки в Крыле и участливого Валерия Валентиновича в Онкоцентре... Тоска...

Так прошел март. К апрелю лыжная публика стала разъезжаться, катались только на верхней очереди.

Он смог отложить какое-то немыслимое количество лир — в лирах он путался, в долларах выходило под полторы тысячи. Это потому, что он дважды давал «класс» и Руби прислал премию от «Хэда» (а скорее всего от Аннушки — сам-то Руби был скуповат). Вадя выкупил за полцены куртку и катался. Он продолжал быть местной достопримечательностью, у него не спрашивали «ски-пасс». Он вновь жил в трейлере наверху, теперь это было по карману, а в трейлер он влюбился еще в первые дни. У него даже случилось приключение сексуального свойства с голландкой.

«Как я, однако, необременительно болею...» — думал Вадя, прихлебывая вечерами глинтвейн.

Но это все шуточки... Два месяца подряд он тяжело трудился на горе, трудился непрерывно, никогда еще так не трудился.

«Вот теперь у меня техника,— думал он.— Теперь меня можно снимать».

Пятого апреля в дверь трейлера постучал Дин Каммингз. Он сказал Ваде, что «Скотт» будет снимать «хели-ски» на Вальфурве, и если Вадя согласен, то он пойдет на доске за Фулбрайтом.

— Поймите, Дин, это долго объяснять, но я практически инвалид. У меня страшные головные боли... Опухоль головного мозга. У меня на час раньше обычного начнется головокружение — и вам придется снимать меня со склона.

— Я видел тебя, инвалид, вчера, на западном склоне,— сказал Каммингз, пригубив кофе.— И жена Руби сказала, что ты лучше всех... Ну что, ты пойдешь по Вальфурве?

— Вы сможете продлить визу?

— Я постараюсь,— сказал Каммингз.

Тема ел вареную картошку с укропом, Никон курил в приоткрытую фрамугу. Бравик стоял рядом с Никоном и говорил ему в плечо:

— Она истеричка, но она грамотный человек. Уважает тех, кто ей поперек. А Бородков — дурак и слизняк. Я всегда хорошо составляю график. Там все — когда подать, кто трансфузиолог... И вот я делаю цистэктомию, четвертый час, значит, работаем... Приходит Караваев, говорит, что Бородков отказывается давать наркоз в соседней операционной. То есть, по сути, саботирует. Я нормально вызываю начмеда. Тот приходит, думает — СИТУАЦИЯ. А тут — полная херня. И входит Бородков, сука, и держит в руках рапорт — Браверман грубит...

— Да он — пидор и кисель! — рыкнул Никон. — Что ты с ним цацкаешься?

— Слушай, Гаря,— негромко сказал Берг и пригубил «Бучананз»,— а Худой тебе звонил?

— Нет.— Бравик отошел от Никона и сел за стол.

— Он мне звонил,— сказал Никон.

— Когда?

— Давно. Месяц назад.

— А родителям его вы звонили? — спросил Берг.

— Кто это «вы»? — желчно спросил Бравик.

— Никон, ты звонил?

— Нет.

— Тема?

— Ну ладно. Кончай эту перекличку! — грубо сказал Никон. — Ты сам звонил его родителям? Нет? А чего? Боишься? Ну так не надо тут перекличек...

— Что ты думаешь, Бравик? — спросил Берг.

Бравик пожал плечами.

— Три месяца почти прошло... А тот его знакомый, он что за человек?

— Вроде хороший человек.

— Я надеюсь, что он уложил Вадю в больницу,— сказал Бравик.— Три месяца прошло. А это очень... быстрая опухоль.

Никон бросил окурок в окно, прикрыл фрамугу и сказал:

— От тебя, Гаря, ни хера хорошего не услышишь.

— Ребята,— устало ответил Бравик,— ребята, дорогиные вы мои... Хотите чудес? Так и я хочу! Вы спросили — я отвечаю. Как меня учили. Как в учебниках написано. А написано там, что Вадя или умер, или умирает. Другое хотите услышать? Да ради бога — могу наврать!..

— Наш человек в горах не вымрет,— тихо сказал Берг.

— Да брось ты! — раздраженно сказал Бравик.— Брось ты эту сраную лирику! Ты, понимаешь, романтик, а я, блин, циник...

— Наш человек в горах не вымрет,— упрямо сказал Берг.

Вадя стоял на Чима Бьянке и думал, что снег уже не тот, надо быть осторожнее. В конце апреля сходили лавины. Сначала был холодный декабрь. Потом мягкий и многоснежный январь — это Вадя застал. И в феврале были сильные снегопады. К апрелю нижний слой снега, тот, что как следует не схватился с горой в декабре, «поплыл». Вадя знал это, он был осторожен. Он постоял, посмотрел на бликующий гребень Валличеты и пошел к стенке, что была севернее. Сегодня он в первый раз собирался пройти ее.

А накануне вечером у него не болела голова.

И, прихлебывая глинтвейн, он чувствовал, что положил мало гвоздики.

«Что любишь, что умеешь, то и делай»,— так тогда сказал Берг.

«Надо Бравикку позвонить,— подумал Вадя.— И вообще пора всем позвонить».

# Ш е п о т п а м я т и

## *ЗМЕЙ И БИТВА*

СКЛАДЕНЬ АРХЕТИПА

### *1. Змей*

Звездной ночью ты слыхала ли хоть раз,  
как шипит прибой в пространстве мировом?  
Это каждый год и каждый день и час  
я зову тебя змеиным языком.

От чужой судьбы, докучливой зело,  
от людских мужей, противных естеству,  
жалкой старости и лжи судьбе назло  
языком тебя раздвоенным зову.

Слушай шепот мой, о мать, сестра, жена,  
шепот памяти: тебе я наречен.  
Дева чистая! восстань же с ложа сна  
через тысячи рождений и имен!

Пусть к стопам твоим, как вышитый атлас,  
ниспадет покров обличья твоего,  
человечьего. Смотри же, кроме нас,  
нет и не было на свете ничего!

Голос медный мой в спирали время вьет,  
по броне золотой созвездья поползли.  
Бью крылом к тебе размахом с небосвод,  
я стучу тебе хвостом в обхват земли.

И ходить-встречать не нужно на крыльцо,  
и нет нужды звать... Лишь затоскуй позлей  
да в глаза ко мне повороти лицо —  
я вовек с тобой пребуду, сущий змей.

### *2. Битва*

Был враг мой стозевен и лял,  
а девы — безмолвны мольбы.  
Но скоро коня оседлал я.  
Взлетая, конь встал на дыбы.

Погони сквозной, повсеместной  
все близится топот копыт,

то будто по тверди небесной,  
а то по траве прозвенит.

И витязь чрез бездну пустую  
зарницей стремится с высот.  
Он белу красу молодую  
от гадкого чуда спасет.

Как ныне мне видится это:  
размах голубого копья —  
и тысячи ангелов света  
слетают с его остря.

Он бьет точно в яблочко, в завязь,  
где смерти иглою прижат,  
убогим червем извиваюсь  
аз — недоразгаданный гад.

Вот всадник над битвою, гневен,  
застыл, потрясая копьем...  
Был изверг озорен, стозевен,  
и жертвой была я при нем,

но кто же из нас виноватей,  
что в мире для слабых сердец  
ничто тех не слаще объятий,  
скользящих и гладких колец?

\* \* \*

Живые ходят по земле,  
а мертвые лежат под нею.  
О Господи, в добре и зле  
я ни черта не разумею.

С ленцою произведена  
тридцатилетняя работа  
души! — мне страшно быти на  
и под лежати неохота.

Вот то ли дело щебетать,  
в чужих не мучаясь вопросах:  
— Летать хочу! Хочу летать!  
Недотыкомка, недоносок.

### **ДЕКАБРЬСКИЕ МОТИВЫ**

#### 1

Кристалльны помыслы, да мысли маслянисты,  
два — нервы вздрючены, как в пыточной чекисты,  
три — руки скрючены от судорог пера,  
в глазах растравленных ни два, ни полтора —  
четыре... вдребезги пустую вазу  
мечты — хрустальную парашу! Сразу  
уж лучше б умер ты вчера.

2

*И я вытягивался в пытке небывалой...*

*К. Случевский*

Пять висельников выстроились в ряд,  
и словно не висят, а, впрямь, стоят.

Чуть в стороне, их возглавляя строй,  
тугой струною выгнулся шестой.

Итак, всех шесть. Шесть мертвецов, шесть струн,  
и каждый сам игрец, и сам плясун.

Эоловой гитары страстный звон.  
Цыганочку напой нам, Аполлон,

венгерочку для тела, для души...  
С последним лишь припевом не спеши,

когда ко мне, мертвец за мертвецом,  
те повернутся пятеро лицом!

3

Когда гребешь декабрь распахнутым пальто  
свежайший ветер хрипя взалхлеб нарочно,  
но душно все равно и беспрестанно тошно,  
не спрашивай, за что,

но сердцем повторяй заспавшему уму,  
что много ль — пять сменилось поколений,  
и все взошло, просеял что Евгений  
потомку своему.

Включай иль выключай то солнце, то луну,  
иль по дневной привычке запотело  
питай бессмысленно безмысленное тело,  
иль, отходя ко сну,

ищи кому сказать последнее «пойми»,  
хоть и с самим собой до смерти людно...  
Умея словом убивать, как трудно  
не говорить с людьми —

все врать им! А не то — с цепи кота спустить  
фантазии, чтоб выл не вхолостую,  
иль молча в женщину, как в комнату пустую,  
входить и выходить.

Слезой отогревай снега, куда падет  
на шелуху излужганное слово —  
сухого дерева из семени сухого  
пустопорожний плод.



## Украденная книга

Это история, которую надо рассказывать с конца. И хотя всем известно, чем заканчивается всякая доведенная до конца история, предлагаемая читателю публикация не предисловие к смерти или гибели, но история жизни, сплетишейся с любовью,— теперь уже навсегда.

В общих чертах финал таков: в генеральской семье, жившей в Москве на улице Горького, в 1994 году умер генерал; через три года погибает в огне его невестка, Елена Майорова, прима ефремовского МХАТа, а еще девять месяцев спустя умирает ее муж, известный художник Сергей Шерстюк.

Следует объяснить, почему это все зовется «историей», а подготовленная к изданию книга, состоящая из хронологически упорядоченных дневниковых записей, будет называться «Украденной книгой» (с подзаголовком «Документальный роман»).

Ответ прост: потому что, собравшись под одну обложку, все эти уцелевшие в разных тетрадях записи складываются во внятную историю, проступающую со страниц вырванной из рук Безносой **Украденной книги**, адресованной живым и являющейся, по существу, романом в жанре pop-fiction. Но начать придется издавала.

Нет на свете ничего интереснее загадки и тайны личности, живой и непосредственной, даже не снившейся бедному воображению беллетристов, этих каторжников «реализма», наловчившихся для пропитания «тискать романы». Дневник — жанр в высшей степени литературный, в том смысле, что всегда адресован не современникам, а некоей «понимающей субстанции» — персональной, но при этом лишенной определенности очертаний и реагирующей на фиктивность и фальшь, как лакмусовая бумажка: моментально приобретают трупную синюшность или краснеют от стыда целые страницы.

Все, к чему ни прикасался Сергей Шерстюк, либо превращалось в дневник, либо неудержимо стремилось к этому — чтобы внутри продолжить мутацию. Будучи офицером запаса, историком искусства по образованию, автором нескольких нетрадиционных романов, лидером московской школы художников-гиперреалистов, драматургом и постановщиком своеобразного созданного им «театра жизни», Артистом в широком смысле и весьма нетривиальным интеллектуалом, он все же в первую голову являлся многоликим автором собственных дневников. Его ранний роман, «Джазовые импровизации на тему смерти», был написан в форме дневника — точнее, дневник описываемых лет совпал по мерке с романом и сделался его формой. Жизнь как бы поставляла зерна событий, а автор дневника перемалывал их в муку: на выходе это были уже другие события и совсем другой «мельник». Получив освобожденную от природных форм «муку», можно было начинать что-то с ней делать.

Последовательно пройдя путь от реализма до абстракционизма, почти одновременно потеряв владевшую его сердцем Жрицетку, завершив роман и окончив высшую школу, киевский «хипстер» Шерстюк превратился по закону метаморфоза в русского монархиста и гиперреалиста, сколотившего собственную если не «школу», то группу и художественное направление. Похожая история повторялась и в дальнейшем. Шерстюк пережил еще ряд превращений. Хотя возможность всех их была заложена в нем изначально, как в куколке (и как в каждом, кто не боится самостоятельно прожить свою жизнь).

Полярность всякий раз лишь являла то или иное положение его пребывания in betweeness, в промежутке, между. Между словом-краской-мыслью-сценой в первую очередь; между магией и православием; психоделикой и монархизмом; свободолобием и империализмом; Кремлем и андеграундом; кастовостью и открытостью; западничест-

вом и славянофильством; Киевом и Москвой; украинской козаччиной и русским офицерством; интеллектом мужчины и «сердцем женщины» (как он догадался о себе в «Джазовых импровизациях...»); между борющимися вкусом к жизни, на грани сластолюбия, и страстным саморазрушительным стремлением к гибели (запись после баррикад 91-го года: «Первый симптом в день победы был: жаль, что мы не погибли»). Это был все тот же человек, взятый в разных возрастах и отношениях с миром, до конца не отрешившийся бесповоротно ни от чего из приведенного выше. Понятно, что его бы очень скоро разнесло на куски, если бы он не нашел в себе искусства бежать так быстро, чтобы даже дьявол не мог угнаться за ним (по выражению из его дневника).

И все же «Украденная книга» — это не интеллектуальная биография, тем более не дневник эклектика или оппортуниста. Шерстюк был человеком чести (не путать с расхожим и доступным пониманию черни «чувством собственного достоинства») — на большом дневниковом пространстве он старался достичь в своих построениях предельной интеллектуальной честности и открытости. Он знал, что позволительно морочить неумных современников, но нельзя морочить язык. Как писатель и художник, он знал, что книга, как и картина, — это не «зеркало» для кривляний и поз, а попытка смастерить или обнаружить «окно», с помощью которого только и можно, будучи увиденным «оттуда», найти и узнать себя настоящего (поэтому это вынесенное им из иконологии правило в равной степени распространяется на читателя книг и зрителя картин). Неприятно и страшно узнать себя настоящего, но без этого невозможно очнуться от морока того, что зовется у людей «реальной действительностью», позволяя манипулировать их сознанием не хуже какой-нибудь магии. К тому же, как известно, «боящийся несвершенен в любви». Так получилось, что главная книга, не дававшаяся автору при жизни, украденная смертью, была дописана любовью — и осталось только вернуть ее тому, для кого она писалась. Читателем ее может стать каждый (недвусмысленное указание на этот счет есть в дневниках).

Почему дневники, а не романы? Не выставка картин? Потому что главное здесь — санкция, все остальное потом, и на фоне главного оно представляется второстепенным. Как составитель книги, я убежден, что полное издание дневников Шерстюка — находка для будущих историков, праздник для парадоксалистов и аналитиков всех мастей и хорошая встряска для всякого нормального и вдумчивого читателя.

Вообще все обстоит несколько сложнее.

Будучи разнообразно одарен, образован, наделен амбициями и задатками достичь положения не ниже тогдашнего кумира Энди Уорхола (а может, и вообще Нерона в смушковой шапке на Мавзолее), Сергей в разные периоды испытывал тяжелые сомнения в собственных способностях и разочаровывался в достигнутом. Действительно, его живопись походила на раскрашенную скульптуру или обездвиженный театр; на полях одного из его дневников вписана реплика жены: «Меня не интересует театр жизни, меня интересует написанная пьеса»; друзья-писатели не принимали его за «своего», романы его не получили признания в «перестройку» и печатались в отрывках малотиражными элитарными журналами; интеллектуальные построения не сложились в систему или доктрину и заполняли страницы дневников на правах разрозненных эссе; журналисты летели на него, как мухи, но к этому времени от журналистики его уже воротило; реально существовавший миф южнорусской «киевской школы» и почти эзотерического учения Е. масалы («наш миф», как гордо говорили его адепты), придя не ко времени, к началу 90-х **рассосался**... как настроение (словечко из культурологии Шерстюка), а деньги на жизнь приходилось теперь зарабатывать за океаном, приспосабливаясь к уровню запросов и эстетическим критериям заказчиков и покупателей. Было отчего впадать в отчаяние. Не говоря о том, что рухнула советская империя, чему он по незнанию своему не противился, не сразу разобравшись в собственных классовых интересах (привилегированной советской фронды) и идейных пристрастиях, предпочтениях, вкусах.

Единственное его счастье состояло в том, что в 85-м году, считая себя к этому моменту в очередной раз полным неудачником, он повстречал женщину, с которой ему захотелось умереть, прожив с ней долгую и счастливую жизнь. С той поры дезориентация и отклонение инстинктов (и в первую очередь жизненного инстинкта), через которые он прошел, все более утрачивали над ним свою власть. Природа его все более осветлялась, переходя от смертоубийства к жизнеутверждению. Со своим прошлым он научился жить, как с хорошо изученными за долгие годы минными полями, постепенно их разминировав. С разлитым морем агрессии в его картинах начинает спорить тема прелести жизни — покоя, флоры, радостей консьюмеризма (серия и выставка «Все это я ел»). Его перестает терзать бешеное честолюбие (зачем власть тому, кто любит и любим?!), своим демоном он указывает их место (к этому времени он уже верующий, церковный человек). Вся его

жизнь была вереницей блужданий и странствий в поисках «Золотой книги» (на его жаргоне; я бы сказал — «плана Рая»), и никогда он не был еще так близок к тому, чтоб поддержать ее в руках (и я уверен, что в снах, где это только и возможно, это иногда ему удавалось).

Но так получилось, что и эта женщина оставила его после 12 лет совместной жизни по любви. Вольно или невольно, сознательно или бессознательно — здесь совершенно не место гадать и предлагать однозначную версию. Но сам способ — самоожжение — (женщины и актрисы!) говорит о том, что в этом поступке присутствовал момент очистительной жертвы (не дара, но мены и выкупа). Последние дневниковые записи Сергея о жизни без Елены Прекрасной — тяжело, но надо читать. Потому что это последние в XX веке трагическая история любви (забытый жанр — казалось, что такого уже не может быть в обмельчавшем современном мире). Он умер ровно через девять месяцев после ее ухода, день в день, выносив свой земной срок, как ребенка от нее, соединившего их теперь уже бесповоротно не рождением, а смертью. Тридцать девять лет и сорок семь. 23 августа и 23 мая — август и май всегда были его критическими месяцами.

Смерть придает особую гулкость прожитой жизни, как звуку струны пустой деревянный резонатор. Сейчас уже невозможно отделаться от впечатления, что поставил эту пьесу Рок — так эту имперсональную силу звали древние. Сквозь дымовую завесу собственного эстетизма Сергей Шерстюк еще в минувшую эпоху догадался, что существует закон, по которому люди покидают сцену вместе со своим временем. Как люди чести, в наступившие времена бесчестия генерал, актриса и художник не пожелали пережить надолго ту страну, которую полагали своей и последние остатки которой стремительно растворились в мутной и едкой среде 90-х. В посткоммунистической России они не признали того отечества, в котором им хотелось бы жить. Все трое похоронены на воинском Троекуровском кладбище в Москве. Служили панихиду по ним и отпевали — в порядке убывания — в Большой Вознесенской церкви у Никитских ворот, где венчался некогда Пушкин.

Одна из последних записей в дневнике художника:

«Р. С. 26 октября 1997 года, 2.25 ночи.

Пролистал сейчас дневник и поразился тому, что в нем так мало о Леночке, любимой и единственной, умершей два месяца и три дня назад. Иногда она читала мой дневник и говорила: «Разве это дневник? А где же мы с тобой? Ведь, кроме нас с тобой, тебя ничего не интересует. А-а, ты, наверное, пишешь не для себя, а для других». Вообще-то я собирался вдруг сесть и написать для нее пьесу, все придумывал и, сколько хорошего ни придумал, не придумал главного — о чем? Теперь я точно знаю, что пьесу для Леночки не напишу, хотя знаю — о чем, но... И вот тут-то я замолчу, потому что, как сказала одна девочка, «счастье не знает, что оно счастье, а вот горе знает, что оно горе». Я хотел бы, чтобы Леночка сидела рядом, а я писал свою галиматью. Отныне это невозможно».

В журнале публикуется в несколько сокращенном виде дневник Шерстюка последнего года жизни. Упомянутые в нем лица входили в ближний круг художника — это члены семьи, друзья-художники, люди театра и кино, литераторы. Характер текста, на мой взгляд, не требует комментариев.

Игорь КЛЕХ

## ДНЕВНИК ПОСЛЕДНЕГО ГОДА

1997 год

9 апреля

Если постоянно из-за — нет, за любимого человека испытываешь страх, то интуиции больше никогда не будет. В страхе сгорит, и ветер страх раздует.

Не сдал сегодня вождение: заглох мотор. Такого со мной никогда не было. Или уже пора? Пишу с ошибками. Ошибки — слабость. Я всегда делаю ошибки, когда слаб. Вполне возможно, что слаб давно, только механически полагал, что не слаб. А ведь давно уже, наверное, представляю из себя потерянного героя. У нас был герой, да мы потеряли, ах! Да и хрен с ним. Где же Лена? Почему не дал ей вчера пейджер? Она не звонит. Господи, не изменяет ведь, а больно. Эта <N.> со своим кино чумовым — чума. Я ведь почувствовал, что в это дерьмо Лене нельзя, но нет, говорю, давай... Лишь бы снималась, думал. Лишь бы. Вот где мохнатый.

Скучно? Разумеется, постыло? Хрен вам. Скучен страх, а постылое — энергия и сила, ежедневная и созидательная. «Уйди, постылый!» — сказала умирающая новорожденному. Главное — сделать из гения обывателя и тут же заклеить гениев за

презрение к обывателям. Маневры на уровне 15-го аркана Таро. Почему дерьмо (зло — по-старорежимному) так успешно именно в 15-м аркане? Если бы я вдруг жил до Христа, я бы застрелился. Во-первых, я бы эти арканы придумал, во-вторых, всех орлов сделал бы рабами, в-третьих, гнал бы водку из египетских пирамид — и результат: до Христа бы никто не дождался.

Не собираюсь поколебать никаких своих устоев. Никто так не страдал, как Он, поскольку самый большой герой, даже если в нем Дух Святой, все же человек, а не Бог. И даже если Бог его просто ласкает и омывает слезами в миг страданий, и даже если от страданий Бога рвутся вселенные, и даже если он это знает, и даже чувствует сердцем, и все и все... — он страдает меньше, чем Бог, и больше, чем человек. Но не поровну, как Христос.

Разве я страдаю? Мне просто страшно. Я не герой — стало быть, Дух Святой только искоса поглядывает. Что я пишу? Господь страдает за тебя больше, чем ты. Это очевидно. Что со мной? Я не хочу знать никакой новой правды, не хочу писать, я боюсь страха, я слабый, мне просто плохо и мне нет покоя. Я верю в Господа нашего Иисуса Христа — и мне плохо? Ничего глупее не бывает. Или я не верю — во что я никогда не поверю. Да просто верю моей место, наверное, в пыли.

Плохо: был бы наркоман, ничего бы не придумал, кроме как занаркоманить. Ленка не звонит не потому, что она от меня уходит или, скажем, я от нее, а потому, что — страх. Милая, любимая, родная. Что толку сейчас тебя понимать? Ты придешь, я знаю. Тебе, я знаю, хуже, чем мне, даже если ты сейчас улыбаешься и принимаешь почести. Ты не звонишь из страха, а я тебе этого не обещал. Ты — такая как есть — такая, как ты не есть. Нам повезло или не повезло. Все это я пережил чуть раньше, да и сейчас переживаю — чуть позже — и не по-разному, а так, как ты. Только ослабеть духом в тридцать девять или в сорок шесть — очень разная расслабуха. Пройдет, но... хе — но ведь можно по-разному преодолеть сие дело. Ты будешь бояться скуки, я — страха. Одно и то же.

И вдруг — бах! — по голове. А чего ты хотел?

Скуки. Это ответ. Если уж совсем брак по расчету, то скучно не будет с помощью Агаты Кристи никогда.

*11 мая*

Ехал на родину подгулявшим, но ребенком, стало быть, здоровым. А у Ленки сегодня съемка — у <N.>, а я только заснул: тетя Люба позвонила с дачи, а потом называл Дмитрию Сергеевичу, чтобы срочно оплатить его работу над моей машиной, а потом ждал Макса, потом мама уехала на дачу, пришел Макс, Лена уехала, Макс начал рассказывать фильм про Сервантеса, я ему про гуанчей, пришел Никита, я делал Максу обед, пили вино, Никита рассказывал про бомбочки и нелюбовы к бюрократам, и вдруг выясняется, что он не знает, что такое нигилист (чувствую: мне плохо), звонила Евгения Андреевна с длинными рассуждениями о будущем Никиты, начал сходиться с ума и даже кричать, что будущее в том прошлом, когда Лелька меня бросила, потому пороть ты его не смог, и вот теперь надо платить тысячи каким-то химикам, что учили меня неизвестной науке, — в общем, кричал; начали показывать «Кошмар на улице Вязов» — все, впрочем, могло быть и в другой последовательности — да! А почему я пишу дневник — потому что Макс начал его читать (это его как бы естественное право), Никита ушел домой, Макс читал, ставил кассету с Павичем, рассказывал фильм, а я хотел только спать... спать, Макс уехал, а я ждал Лену, ждал, чтобы заснуть, когда она придет; позвонила, что придет в полночь; позвонила в полпервого, что поедет к <N.>, а ты спи, люблю тебя очень, у нас праздник — последний съемочный день; я выпил, валокордин, валерьянку, колдрекс, и — бац! — пусто... даже спать не могу. На Tenerife спал, как кот; на родине за полдня опустошился до бессонницы.

Эх, Канары!

Родина, дай поспать! Тебя не выбирают, какая есть, такую люблю. Чтобы поспать, надо уезжать за пределы? От бодрствования ведь проку никакого — ни мне, ни родине. Когда не спишь, стало быть, о чем-то думаешь, а когда думаешь, обязательно ухулитесь что-то и в так плохом. От моей бессонницы один разор и войны, потому что я, когда не сплю, то вижу, что — труба... бесконечная и выход на помойку вечную, а в голове, разумеется, как выбраться на свет, то есть наперекор самой судьбе, а это страшно. Потому что вылезти из дерьма (а когда не спишь, то соврать самому себе невозможно) можно только очень страшным способом. И вот все-таки вылазишь и, может быть, засыпаешь. А утром — прямо в телеке или в газете — те же методы, но только, чтобы уж точно не вылезти. Как будто кто-то в голове моей читает, однако совсем не тот, кому нужно.

Но стоит мне с родины свалить и просто жить, ничем не интересуясь, и спать, когда хочется спать, возвращаясь хоть через два месяца — а ничего и не произошло. Если когда-то не поленюсь и опишу парочку моих рецептов и припомню время их появления, то

окажется, что почти безошибочно посылал их тем, кто врожденно воспринимает мою родину как объект, подлежащий полному уничтожению. Поездив по свету, знаю сейчас наверняка и без лапши, что народы друг друга не любят, как бы чего ни брехали, и лучшее — даже не безразличие, а незнание, но также знаю, что везде есть некая кучка, которая полагает, что нелюбовь к России — чуть ли не главный смысл жизни, и если ты вдруг просто безразличен, то мукак и в жизни кайфа не будет. Нелюбовь к России — это очень и очень большие деньги, безразличие — иди и покушай, незнание — покушай, как человек будущего, впрочем, можешь и сдохнуть, как, впрочем, человек будущего. Фиг с ним. Сейчас вспоминаю, что лет пятнадцать назад мне снились какие-то дурацкие события, но что важно — не события, наверное, а пейзажи и среда, в которых они происходили: странно, что не вспомнил на Тенерифе, но до чего ж похоже. Особенно там, где Los Abrigos. Абрикос, как говорят русские.

### *30 июля, дача*

Я на даче. Вчера была гроза. Убежали от нее с Леной на велосипедах — не убежали. Сушеные грибы намокли, я сегодня их опять высушил — стали черные. Сегодня впервые посадил Никиту за руль своей машины. Когда возвращались на дачу, подумал — вот кому будет особенно приятно похвалить Никиту за его успехи: «Евгения Андреевна, а Никита неплохо водит».

Евгения Андреевна, Никитина бабушка, моя бывшая теща, умерла сегодня утром. Я вас люблю, Евгения Андреевна, мы никогда больше не поговорим. Не попьем чаю, вы не нальете мне водочки, не похвастаетесь бывшим зятем перед своими подружками, я не скажу вам в очередной раз: «Бывших тещ не бывает». Я знаю, что вы меня любили.

### *10 августа*

Странно: привез на дачу дневник и ничего не записываю. Обычно сижу в «штабе» под яблоней и что-то пишу, не важно, хоть то, что писать нечего. Кот Толя умер год назад, по-моему, шестого августа.

Сегодня, правда, узнал, вполне неожиданно, когда сидел в тени дома рядом с жимолостью, про что все-таки можно написать рассказ с таким названием: «Где воду мерит водомер и по ночам кричит кукушка». Хотел поставить запятую после «водомер», потому что есть вариант: не «и», а «там».

### *27 сентября, дом*

Леночка, месяц назад тебя похоронили. А вчера был наш «Праздник Хамелеонов». Сегодня Воздвижение Животворящего Креста Господня. Во МХАТе нет ни одной твоей фотографии. 1 октября, на сорок твоих дней, Олегу Николаевичу Ефремову будет семьдесят лет. По телику не покажут ни одного твоего фильма, ну ты понимаешь. Я помню, как он угovarивал тебя бросить «Современник» и перейти во МХАТ, как не отпустил в театр Табакова. Скажу тебе: знаешь, кто тебя любит? Валера Фокин. Мы ведь недавно смотрели «Доживем до понедельника»: «Счастье — когда тебя понимают». Валера тебя понимал. Понимает, возьми меня в дуст.

Леночка, родная, я без тебя не могу. Но для тебя — должен. Я ищу тебя в комнатах. Стучу в стену: ну иди сюда. Иди ко мне. Как нам было хорошо — и будет — так не бывает.

### *28 сентября*

Во всей Москве нет ни одной машины, которая отвезла бы меня на кладбище. Ну и друзья у меня! Я могу, конечно, и сам добраться, хоть и сойду с ума, но ты ведь знаешь, что я сам ничего не могу. Без тебя не могу. Жолобов — пьян, Гетон — едет на дачу, Савичевы — только вот уехали на дачу, у Людмилы — машина без аккумулятора, Базиль, как всегда, обещал — пропал, я — без руля, Дима, починщик, большой, только вчера вернулся из деревни. 10.23 утра. Мы с тобой одни. Ты — одна, я — один. Мы вместе. Таких, как ты, не бывает. Откуда ты? Куда ты? Все так просто. Любимая моя. Все будет хорошо. Мы никогда не расстанемся. Ты будешь счастлива. Я обещал.

12.28. Сейчас приедет Базиль. И Потапов. Машин будет больше, чем нужно.

### *30 сентября, 0.50 ночи*

Любимая, слушаю ноктюрны Шопена и смотрю на фотографию: ты держишь в правой руке два белых гриба, на пальце обручальное колечко, в левой — подосиновики. За твоей спиной наша летняя кухня, нежная и зеленая тень, солнце на диком винограде, грибах, плечах и волосах, ты безо всякой косметики, такая простая и необыкновенно любишь жизнь, которой тебе осталось немногим больше месяца. Не знаю, сколько точно, но на этой же пленке день рождения Светы, а было оно 25 июля, какая же ты была красивая в стальном костюме! Кстат, часто на последних фотографиях ты сбоку или едва в кадре и так печально и таинственно заглядываешь в мои глаза. Что же такое ты знала, если так любила жизнь?

А вчера на кладбище случилось именно то, чего я так долго ждал. Вчера... Я был, конечно, хоть водка меня и не берет, все же пьян. Когда мы подошли к твоей могиле, выглянуло солнце, Вета Седова высыпала на могилу твои любимые семечки для птичек, я отломил кусок свежайшего батона и положил рядом, взял твою рюмку, а в ту, точно такую же, которую привез с собой, налил смирновку «Сухарничек» и поставил на могилу. Конечно же, выпил, Вета тоже. Юрка Мочалов бродил с камерой, а Базиль еще не знал, что болен желтухой. Не знаю, что было вкусней; водка, хлеб или семечки. Было покойно, вкусно и радостно. Мы были рядом, нас согревало одно солнце. И вдруг из левого уголка твоих губ потекла слюна. Господи, я пишу то, о чем ты знаешь. Мы бросились рассматривать фотографию, может быть, образовалась складка или откуда-то свалилась капля дождя, — нет, слюна была под стеклом, а с обратной стороны фотография закупорена двойным черным целлофаном. Мы вертели фотографию и не могли поверить, а Юрка снимал все это на камеру. Мы верили, но не могли поверить, что ты вот так запросто показала нам, что слюнки текут, — так вкусно. Ты была права. Чудо.

Потом мы пошли к могиле Ирины Метлицкой. Поехали. Я не туда повез. Ты знаешь, она рядом, на машине всегда проезжаешь. Солнце скрылось. Очень долго мы бродили, пошли на другой участок. Нашли. Посидели, постояли, пошли к Наде Кожушаной, опять заблудились. Нашли могилу Жоры Епифанцева. Мочалов нашел. Это был уже шок, я даже и не знал, на каком он кладбище. Постояли. О чем мы говорили — не помню. Всякий раз вспоминали какие-то байки, смеялись почти плача. «Угрюм-река», торговля часами, коньячку по пятьдесят. И совсем рядом нашли Надю Кожушаную. У Нади, я помню, что уже сидел. Вета говорила: «Девочки мои любимые, все разом в один год».

Темнело. Не вечерело, но темнело. Когда мы уезжали, Вета сказала Базилю: «Остановись у Лены. Пусть Сережа попрощается». Я подошел к тебе и не увидел никаких следов слюны.

Местечко мое рядом, Леночка. Там, где букеты цветов и твоя фотография.

### *16 октября*

Сейчас по телику идет «Скорый поезд»\*. Я зашел к маме в комнату что-то спросить и едва не сошел с ума. Прости, родная. В комнате нашей Шопен. Сейчас я его вырублю. Боже, родная, я держусь на таблетках. Я не могу без тебя. Ну не могу.

Какая ты была красивая, когда в субботу утром я видел тебя в последний раз. Ты спала, ты не сказала мне ни слова.

Господи, что я пишу: «Едва не сошел с ума»? Я давно сошел с ума.

### *18 октября, без пяти два ночи*

Леночка, знаешь, за что я не люблю тех, кто лежал в сумасшедшем доме? За то, что они оттуда вышли. Минут десять назад я узнал, что <N> лежала в нем дважды. И она посмела тебя снимать. Тебя — которая убила бы всех в дурке, чтобы убили тебя. Эти из дурки вышли, чтобы убивать тебя, вышли, чтоб святуго сделать сумасшедшей. Рожи этих дьяволов что ни день всеяются в нас, но ты — жалостливая к ним вопреки мне и назло — их не просто щадила, ты любила в них своих убийц. Их нельзя держать ни в доме, ни в кино. Мы с ними никогда больше не встретимся. Блаженные и советские сумасшедшие не имеют друг к другу никакого отношения.

Нас с тобой — просто-напросто — убили. Нашли дорожку. Я без тебя жить не буду. Я — твой. Ты меня получила не на двенадцать лет и семьдесят пять дней, а на всю — всю — жизнь.

Я боюсь вспоминать.

Помнишь, Никите, которому было пять лет, а сейчас он, семнадцатилетний, спит в соседней комнате, однажды довелось идти по улице Горького с тобой рука в руку, идти 7 ноября, а рядом шли мама с папой, — помнишь, когда была коробочка полным-полна, помнишь?

Давай лучше такое. Со мной никого нет. Я один. Ужас. То, что я пишу, ты читаешь, но не там, где я.

Леночка, ты знаешь, я жить не хотел и не хочу, я хотел умереть на твоём плече — о, как бы это было хорошо! — а ты бы умерла сразу, как меня похоронила, — да, да, я тебя люблю, и не хрена жить. Я умер, а ты живешь.

Прости меня, я никого не видел чувственной и духовней тебя. И красивой. Представляешь, что я написал? А хочешь совсем омерзительное? Такое даже я, наверно, не говорил. Тебе. За пятьсот лет у художника не было такой жены...

Как спокойно... играют Шопена, лампа твоя-наша — стучит и мигает. Скоро, надеюсь, я умру. Или нет — ты подождешь еще чуть-чуть? Жди меня.

А я умру скоро. И это будет очень обыденно и странно.

\* Фильм, в котором снималась Елена Майорова.

*20 октября, час ночи пять минут*

Родная моя, помнишь Иерусалим? Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Генисаретское озеро, Мертвое море? А когда мы были несчастливы? Помнишь мою руку на камне «Снятие со креста»? Как потом отвалился черный мой ноготь с пальца, отбитого в Чикаго? И этого больше ничего не будет? Довольно того, что было. Ты, моя советская девочка, из рода, замученного большевиками, опускала руку туда, где стоял Его крест, в Вифлеемскую звезду, сказала «люблю тебя» в Назарете, купалась в Тивериадском море, ела арбуз и смеялась от того, что мне было плохо. Апостол Петр рыбу ловил, а я разбил фотоаппарат. Ты смеялась. Ничего счастливее не бывает. Кроме любви, ничего нет.

А помнишь гостиницу, в которой жил Иван Бунин, когда приехал в Иерусалим? «Следующий раз мы будем жить в ней», — сказал я. «Дорого», — сказала Маша Слоним. «А и хрен с ним», — сказал я. «Шерстюк заработает», — сказала ты. Я заработаю. Я буду жить в ней. Я обещаю. Я буду жить сразу в двух гостиницах, в «Астере» в Тель-Авиве, в нашей комнате, и в комнатах Ивана Бунина в Иерусалиме. Ты мне рассказала, где жить, — где ты была счастлива. Так, как в Израиле, где еще? В Испании, на Коста-дель-Соль, на Тенерифе, в Нью-Йорке? И здесь, где я пишу в тетрадке.

*25 октября, вечер*

Родная, как же я виноват перед тобой! Что же я сделал: как можно было такую больную девочку оставить одну дома? Оставил, чтоб ты выспалась, выздоровела, наплевала на свою мнительность? Ты ведь справилась, когда получила подлую телеграмму, что папа совершенно парализован? Ты ведь справилась, ну рассталась с очередным тупым педагогом (Господи, кто ж делает для людей театр!) — всё ж было прекрасно, когда я примчался с дачи. Как ты радовалась — вот приехал муж, и все встало на свои места. Как же ты надеялась на меня — и вот я оставил тебя одну. О, думал я, у нас такая жизнь, мы же постоянно расстаемся, чтобы встретиться. Вот и получил.

Теперь я знаю, почему ты забывалась, падала, все роняла, почему ты впадала в отчаяние от пустяка. Прочитав интервью с собой, увидев ошибку или рекламный трюк, ты могла впасть в депрессию, да нет, стресс, да нет, такое отчаяние, будто провалилась земля.

Сейчас я сижу на кухне, мне здесь легче, чем в нашей комнате.

Глядя на мою совершенно никчемную картину с двумя выеденными яйцами на блюде, ты сказала мне в пятницу, когда лежала на полу, укрытая пледом, закинув голову в подушки, и видела меня вверх ногами, как отражение на той самой картине:

«Ты мне все сказал».

«Что?» — спросил я.

«Смерть».

«Да какая там может быть смерть в этом неудачном подмалевке?»

Ты промолчала. Я гладил твое лицо, ты взяла мою руку и поднесла к губам. Целую мою руку, прошептала:

«Я очень тебя люблю».

Господи, как же я мог уехать!

Сейчас два ночи, то есть на моих часах три, однако перевести их вместе со страной нет возможности, эта штука взяла да отломилась. Сейчас у меня, наверное, полтора десятка разбитых очков и дюжина поломанных часов. Впрочем, надо посчитать. Они и здесь дома, и в мастерской, так что сделать сейчас это не смогу, а налью себе стакан мамино домашнего вина и примусь за дневники — посмотрю, что я там писал году в девяностом, к примеру.

*4 ноября, 3.05 ночи*

Знаю, что ничего особенно не напишу сейчас. Очень боюсь, что меня по-настоящему еще ничего не шарахнуло: я раздвоился или расстроился сейчас, — о нет, это не шизофрения, я, слава Богу, не создаю призраков, хотя... тут есть один финт, о котором, слава Богу, тут же рассказал. Записываю про этот финт, чтобы потом обязательно описать. В назидание, что ли. Ибо не знаю никого, с кем бы такое произошло, — о Господи, это со мной, мечтающим всю жизнь стать обывателем. Целую тебя. Пока.

*4 ноября*

На кухне опять засор. Слесарь пошел за тросом. Вот так я начал свой день: вычерпывал воду в красное ведро, бегал с ним в туалет, выливал и в промежутках пытался дозвониться в диспетчерскую и к соседям сверху. А мойка на кухне новая, высокая, как ты хотела. Мама пошла в гости, я один.

Ну вот все быстро починили. Кто-то в те дни, когда я ничего не помню, спрашивал у

меня, буду ли я носить медальон с твоими волосами,— кто? Я сказал, что да, но сейчас не давайте мне их, не давайте.

А теперь не помню, у кого волосы, и никто не звонит. Спрашивал у Казариновой, та ничего не знает. Шима? Яся? Догилева? Говорил только что с Аней Гуляренко, она тоже не знает и даже не помнит такого разговора.

Где ж твои волосы, Леночка?

*13 ноября, 12.16 ночи*

Это уже смешно: я брожу по нашей комнате и с ужасом обнаруживаю исчезновение твоих вещей — даже твои туфли куда-то пропали, ни одного флакончика с твоими духами. Я тебе подарил, тебе, а кто-то сейчас, забыв, может быть, чье это, пользуется как обычной вещью.

Да за твою жизнь мне ничего не надо — Господи, все заберите. Но сейчас, сейчас все твоё принадлежит только мне. Мне что, сойти с ума, и забыть трельяж новыми духами? Впрочем, почему сойти с ума? Нормально. Плохая память на названия? Повыспрошу у твоих подруг. Открою выставку и сяду за архивы, все перепишу и никому больше ничего не дам.

Леночка, вот я на кухне, без двадцати три ночи. Я часто пишу здесь чепуху. Мы ведь с тобой ссорились, я тебя обижал, не понимая, что этого нельзя было делать вовсе. Нельзя. Заслуженно, незаслуженно. Ты была живая рана, девочка без кожи, чище тебя я не знаю. Ты была взрывная, вспыльчивая, я такой же. Как мы были похожи, но как же следовало мне тебя заласкать! Ты любила мои ласки, я любил тебя ласкать, но надо было тебя заласкать до заласканности ребенка, пропавшего и вдруг найденного. Не хочу никаких вдруг точных слов. Этот домашний дневник очень трудно дается. Мама спит, я брожу по комнате, в которую Дуська перетащила котят. Те забиваются в какие-то дыры и дрыхнут. Боюсь наступить или что-то передвинуть. Слава Богу, нашлись слайды, которые мы сделали специально перед моей поездкой в Чикаго. Положил их в трельяж, к которому запретил кому-либо прикасаться.

*16 ноября, 2.20 ночи*

Ничего записать не могу. С утра мы будем вешать твои фотографии в «Табакерке», а потом мне надо быть в Доме кино на Олимпийском, сегодня Володе Ильину 50 лет. Юбилей. Подарю ему картину «Завтрак». Ну тот, ты сама знаешь какой.

*23 ноября*

Вот и три месяца. Двух кошек Дуськиных отвезли с Владиком Шиманцом на Птичий рынок, отдали Зое Петровне; там же на месте и познакомились. А сейчас вот позвонил Сергей Шеховцов, просил кота, а мне его пока жалко отдавать. Он совершенно почему-то коричневый и трус, живет под диваном. Сказал, чтоб пару дней подождал. Сделал тебе подарок, купил на птичке «*Omitoptera griamus*» из Новой Гвинеи, очень красивую зелено-черную бабочку с желтым туловищем, или как там это называется.

Я очень тебя люблю.

Свеча у портрета твоего трещит, а вот лампадка наша почему-то быстро гаснет. По моему, фитиль не тот.

*29 ноября, 3.05 ночи*

Леночка, я так ничего и не понял, что произошло с моей жизнью. Про твою я понял: со мной она закончилась. Со мной, который на этой земле.

*1 декабря*

Два мира — две Лены Майоровой. Одна — в мастерской, другая — дома. Сейчас я дома. А три мира — три Леночки. Лена, Леночка, Ленка, Майорова, Майориха. Иногда, когда ты делала уборку, я называл тебя Мойдодырова, да нет, чаще это было ласкательно. Дома — тревожней. В мастерской я знаю, что в конце концов — судьба. А здесь, — ну вот, к примеру: приехал с Сахалина Вася, сказал, что твой папа уже ходит, ему сказали, что ты уехала на длительные гастроли за границу.

Ты ведь едва отдохнула на даче, но отдохнула, посмотри на свои фотографии, и пожертвовала августом на даче, поскольку Таня Догилева «продала» тебя Трушкину на какую-то «репризу», которую непременно надо репетировать в августе. Начинаются репетиции, всем всё нравится, но... по телефончику из МХАТа диктуют телеграмму о том, что папу с мая разбил паралич, и вообще хана, ты не можешь дозвониться ни до кого на Сахалине — стресс, депрессия, улет, ты катаешься по полу, выпиваешь; Шиманская и Догилева плюс эта гостья из Минска ничего не могут поделать, не ходишь на репетиции, а когда приходишь, Трушкин воспитывает, как бы временно отстраняет от репетиций, ты обманываешь меня, когда я звоню по телефону с дачи, что всё хорошо; наконец-то я приезжаю (тоже мудака, долго тебя не мог раскусить),

в доме чистота, ты в полном порядке, но подавлена, я говорю: звони соседке, ты звонишь, она что-то ужасное рассказывает; я: пусть маму позовет; она зовет мать, которая говорит, что отца через два дня выписывают. Всё. Ты улыбаешься, говоришь; вот приехал муж, и все встало на свои места. И рассказываешь, что с тобой творилось, но всё-всё позади. Эта ваша соседка, говорю я, «Санты-Барбары» насмотрелась и, зная, что ты нервная, представила: вот отправлю телеграмму, Майорова-актриса сюда приедет и устроит «Санту-Барбару» в натуре. Ты смеешься, я смеюсь (мудак) и верю, что всё-всё позади. И вот что я себе говорю три месяца (это я себе дома говорю, не в мастерской): в августе тебе не надо было быть в Москве. На даче ты была спокойна и часто-часто счастлива. О, счастье: грибы и велосипед, ужин за твоим красным столом, наши потрепанные, старые карты для неперменного «козла» (с кем я еще буду играть в «козла» так?). А как нас в грозу чуть не убила молния, с каким визгом мы мчались на велосипедах в непроглядной воде, переодевались, сушились, валялись на нашей кровати, читали, обнимались, выползали в мокрый сад, уходили в резиновых сапогах в лес — грибы, грибы. Я могу вспомнить и дурное: как Дуся поймала птичку и садистски мучила, пока ты не вырвала ее, еще живую, и мы не знали, что с ней делать, как лечить, и я, взяв ее в ладошку, под дождем отнес в лес и долго-долго (и тревожно-тревожно) искал дупло или пень, чтобы дождь не мочил и кто-то не сожрал, и нашел-таки пень, и посадил ее в щель, и пошел домой, и нашел вдруг совсем подходящий, как домик, пень, и полчаса, не меньше, искал предыдущий пень, и нашел его, и взял птичку в ладошку (а вот не помню породу, щегол, что ли?), а потом искал домик-пень, нашел, завалил вход листвой, потом нашел в куртке семечки, положил их рядом, и опять завалил вход листвой, и пошел домой. Дома ты сказала: «Ты знаешь, она все равно умрет. В ранке заведутся черви, я еще в детстве видела, как они заводятся в ранках у птиц, потом они умирают». «Ну а вдруг выживет?» — сказал я. «Нет, Сережа, не обманывай себя. Лучше б ее Дуська сожрала». — «Так она б ее завтра сожрала».

Не знаю, что случилось с птичкой, но Лена вот умерла. Очень вскоре. Надо бы точнее вспомнить, спросить, что ли, у мамы. Через несколько дней или недель? Дождя не было, когда Лена приехала на дачу 16 августа, и не было позже, стало быть, птичка была раньше, за несколько недель. О, Господи, подумал бы я своей головой. У Жолобова перед смертью мамы тоже на дачу залетела какая-то птица. А тут Дуся принесла.

Всё, остановись, Шерстюк.

*2 декабря, 5.01 утра*

Бессонница. Главное, что уже ничего с собой не поделаешь.

*5 декабря*

Ну вот, родная моя, сегодня открывается Арт-Манеж. Ровно год назад ты была на открытии, у меня была выставка фотографий «Я это всё ел». Была недолго, потому что спешила или на репетицию, или на спектакль, жаль, что сейчас не помню. Я помню, что была какая-то неловкость, по-моему, из-за того, что с тобой была гостья из Минска, ох, как мне не нравились ее глаза. Но мы как-то справились, и всё прошло хорошо.

*8 декабря, 1.10 ночи*

Родная моя, поздравляю, мы знакомы двенадцать лет и шесть месяцев. В пять часов откроется моя выставка «Ты и я». Наша. Я очень болею. Господи, помоги мне прийти хотя бы на открытие. Я очень тебя люблю. Ты жива, Леночка, это я умер.

*10 декабря*

Совсем ослаб, все плывет, соображаю по полфразы. Описать свое бессознательное состояние на открытии, а также происходящее вокруг — не в состоянии. Скажу больше; для того чтобы описать, необходимо порасспросить. Я не знаю, не потому, что не помню, а потому, что меня как бы и не было. Кто-то недавно позвонил и сказал, что меня скоро поведут делать кардиограмму. Поразительно то, что, когда я разговариваю с кем-нибудь, мне самому кажется, что я очень разумен. И в разумности собеседника я тоже уверен вполне. Может быть, это и есть паранойя, или там шизофрения, или как там еще? Оказывается, ты сам и окружающий мир — ну всё вместе: человечество, общечеловечность, социум, люди — всё это может существовать автоматически. Только у двоих может быть не автоматическое сосуществование. Когда не молишься, Господь так далеко, кажется, что Его и нет вовсе. Любовь — та же молитва. И вот здесь я ничего не понимаю: я ведь тебя люблю, Леночка, и так... но так... что сердце улетает или в прошлое, или на небо, а здесь оно как бы и не нужно, но почему ж оно так болит?

От тех, кто тебя как бы любил, мало кто остается. Александр Сергеевич Орлов на

выставке мне сказал: «Боже, как мы осиротели! — И испугался того, что сказал. — Нет, Сергей, я не то сказал, я ничего вразумительного сказать не могу». Боже, как трудно быть настоящим: я смотрю сейчас на людей и вижу, как те, кто вроде положил жизнь за настоящее, прости меня, родная, ну просто дерьмо, положившие жизнь за дерьмо.

Ты — театральная актриса, мхатовская, а из всего театрального мира помнят тебя и любят Табаков и Фокин, ну еще Женя Миронов, ну еще кто-то, испуганный и спрятавшийся, — не то киношники, ну стало быть, они и есть, кто лучше и кто не как бы. И при этом, чуть кто на МХАТ вдруг при мне покатит, наедет, презрительно усмехнется, особенно если сам мхатовец, то я — МХАТа главный защитник. Смешно даже. У меня ведь если кисть на пол упадет или тюбик, я прошу у них прощения, а во МХАТе, ты ведь сама знаешь, кому подножку ставят, — споткнувшемуся, потому и на сцене такое нечеловеческое, как будто только вчера Ницше прочитали.

Ладно. Может быть, я такую дрянь о МХАТе пишу, что — я сейчас, кстати, смеюсь — на открытии моем из всего МХАТа один только Давыдов был. А ведь я весь театр пригласил. Заняты? Тяжело? Больно? Я — не ты? Людей было — не протолкнуться, да всё лучшие, а из МХАТа — Давыдов. А ведь такие штучки — не простые. Точные. Киношники, кто действительно не смог, весь день вчера звонили, просили прощения, из МХАТа — ноль. Какая-то душевная небрежность и именно по системе Станиславского. Вспоминаю кадры с самим Константином Сергеевичем, особенно как он репетировал с какой-то актрисой (забыл, какой) и учил вранью (38-й год) — и никакой трагедии: просто врун учит вранью бедную женщину. Ладно, сейчас меня повезут делать кардиограмму в космическую больницу.

10 декабря

Да, вспомнил, Орлов сказал, что ты сейчас с Лесковым.

### 1998 год

2 января

Ну вот, Леночка, я и дома. 17 декабря меня, тихо подышающего, отвезли в больницу, 30-го выписали. А дневник, чтобы записать «ну вот, Леночка, я и дома» нашел только что, да и то предполагаю, что случайно. Мог бы еще три дня искать. Теперь, когда тебя в доме нет, ничего найти нельзя, поскольку наша комната стала частью жилой площади. Всего лишь.

Хожу я, хоть меня и выписали, едва-едва, в основном лежу.

3 января

Оперировали меня 23 декабря. В коридоре, возле операционной, надо мной склонился Гетон, спросил: «Тебя куда?» Он пришел выпросить, где у меня дома лежит техпаспорт от машины, а тут такая картина, наверное, ужасная, поскольку в член мне вставили катетер. Когда меня повезли в операционную, я услышал: «Шерстюк, держись, мы ведь с тобой солдаты!» А в операционной подо мной развалилось кресло. Тетушки принялись его чинить, а оно не чинится. Голова и ноги провалились вниз. Меня давай привязывать, втыкать капельницы, а я в позе радуги. Говорю злобно: «Вы вообще-то готовитесь к операции?» — «Готовимся!» — «Историю болезни читаете?» — «Читаем-читаем. А у вас что, на работе такое не случается?» — «Никогда!» — «Не может быть». — «Может. Когда у вас кресло последний раз развалилось?» — «Лет двадцать назад». — «Надо не историю болезни читать, а историю человека».

Тут меня вкололи, и пришел я в себя уже в палате. Теперь, Леночка, если меня на улице возьмут, то посадят как наркомана: руки от капельницы все исколоты. Однако гемоглобин и давление подняли, кровотечение остановили. Теперь я другой человек: язва желудка, цирроз печени. Диета, режим, сон, спокойствие.

Мне, чтоб выздороветь, я так понял, тебя нужно забыть. Или — захотеть жить, чтобы... Чтобы что? Не знаю. Леночка, Ирка, твоя поклонница, принесла журналы с твоими фотографиями. Потом пришел Юрка Мочалов, мы пообедали, а чай пошли пить в нашу комнату. Я поцелкал дистанционным управлением, а по телику... ну это все, эти все персонажи.. Я говорю: «Юрка, знаешь, я не могу сейчас смотреть на всех наших актрис, даже на тех, что раньше казались вроде бы ничего. Всё вдруг стало видно, всю подноготную: и про три рубля, и просто про гнусь изнутри, а если не гнусь, то пустоту или дурной вкус, а что еще хуже, видно, как день ото дня бездарнеют». «Да, с женщинами актрисами, — сказал Юрка, — у нас все хуже и хуже. Мужики еще есть, а женщин совсем нет. Эх, Ленка, как ты нас всех подвела! Такой, как ты, эх, — он вздохнул, — нет». «Ленка была последняя актриса», — сказал я. Вот так мы поговорили. Потом пришел Юрка Проскураков и прочитал лекцию, как мне выжить. По его словам, я должен сдохнуть, но стоит мне только расхотеть — все это он говорил медицинскими терминами, — то не только поправлюсь, но еще и стану амбалом.

Только обязательно надо есть пикногенол. Все, кто его ест,— амбалы, которые живут до 144-х лет.

*4 января*

Проснулся в кошмаре. Леночка, ты мне снилась. Я к тебе приставал, а ты мне со смехом отказывала. Сейчас плохо помню, говорила что-то вроде: «Ну это совсем порнуха». Настроение мрачнейшее.

Если я соберусь написать историю нашей любви, то боюсь, что дам тебе много поводов смеяться надо мной или огорчаться. Ты знаешь, какая у меня память. Вовсе не твоя. Потому, если я все же соберусь, буду просить у Богородицы, чтобы Она разрешила тебе мне помогать. Ты знаешь мою склонность забывать все дурное и глупое, говорят, присущую вспыльчивым людям. Я думаю, это не совсем так, ведь и ты была вспыльчива. О чем я сейчас? Я вспомнил, как попросил тебя выйти за меня замуж. Мы сидели за столом на нашей кухне. Ты строгала капусту, я смотрел на тебя и вдруг, неожиданно для себя, сказал:

— Выходи за меня замуж.

— Что?

Я помню, как засияли твои глаза.

— Выходи за меня замуж.

Ты опустила глаза к капусте и, улыбаясь едва-едва, тихо сказала:

— Хорошо.

31 января 1987 года мы поженились. У таксиста, который нас вез в загс, звучали «Две звезды» в исполнении Пугачевой и Кузьмина. У таксиста, который вез нас из загса, звучало то же самое. «Нет,— говорила ты, когда мы вспоминали об этом, “Две звезды” и еще...» Что еще? Видишь, какая у меня память? Но то, что Пугачева,— это точно. А вот когда я попросил тебя выйти за меня замуж, точно не помню. Может быть, в сентябре 86-го?

*7 января*

Поздравляю, родная, с Рождеством Христовым. Врачи прописали мне иногда гулять обязательно с сопровождением. Если придет Виолетта Борисовна, то постараюсь добраться до мастерской и прихватить там одну черно-белую пленку, старую-старую, еще до отъезда Чучи в Германию, может быть, мы там есть. Пусть Ирка напечатает.

*10 января*

Сбылась твоя мечта, родная, квартиру освятили. В связи с тем, что я не могу пойти до церкви, а если и пойду, то вряд ли выстою хотя бы полчаса, отец Сергей, с которым мы, помнишь, познакомились на премьере «Мусульманина», пришел к нам домой. Сперва освятил квартиру, потом соборовал меня, а потом, уже после исповеди, причастил. Мама очень довольна. Базиль сказал, что, несмотря на то, что и так любит наш дом, теперь значительно лучше и легче. После больницы он боялся, что я в нем сойду с ума и врежу дуба. Теперь он спокоен.

*11 января*

Как-то, когда я учился в Университете, на ул. Горького, недалеко от Пушкинской, я остановил девушку — это был один из тех случаев, когда я мог пристать даже на улице, в метро, в библиотеке — да где угодно. Главное — пристать, а там как получится. Семидесятые годы в конце концов. Уже не хиппи, еще не дядя. Которым так и не успел стать. Как я остановил, не помню, помню, что она не очень-то хотела. На улице она не знакомилась. Давай не на улице. «Я спешу на репетицию». — «Куда?» — «В учебный театр». Мы свернули к учебному театру в Гнезниковский переулок. «Во сколько кончится репетиция?» — «Точно не знаю. Может быть...» — Она назвала время. Не помню, во что она была одета. Во что-то светлое, во что-то приличествующее концу семидесятых. Светлые волосы, светлые глаза. «Я буду ждать». — «Зачем? Может, не стоит?» Разумеется, я не помню деталей. Но помню ощущения: она была очень сильной, сильнее меня... как личность. Вот запомнил же я это ощущение. Я бесцельно слонялся по улицам, а у нее была цель жизни. Она скрылась в дверях театра. Я забыл спросить ее имя. Вернулся на Горького. Послonyaлся. С кем-то встретился. Дошел до кафе «Север». Все наши места: мои, твои, всех нас. ВТО напротив. Вернулся к театру, почитал репертуар, помялся и зашел. Вахтерша на входе спросила: «Куда?» — «На репетицию». Зашел в зал: сцена пуста, наверное, не начинали. Я никогда не был в учебном театре, но знал, что могли репетировать и не на сцене, а в каком-то маленьком помещении. Влез на сцену, крикнул: «А-у!...» А могли репетицию отменить. «А-у!...» Ушел из театра и никогда больше в нем не был. К предполагаемому концу репетиции не пришел.

— Ты говоришь, это была я?

— Мне кажется, ты. А ты не помнишь?

— На улице часто приставали.  
 — Но вспомни: или май, или июнь, учебный театр, репетиция.  
 — Я или другая могли ведь так отделаться: зайти в театр, подождать и смыться. Слушай, а на тебе были такие драные джинсы и рубашка незаправленная, тоже голубая с какими-то пятнами краски?  
 — Запросто. Вспоминаешь теперь?  
 — Вспоминаю. Очки как у Джона Леннона? Я шла в учебный театр, опаздывала, а тут какой-то хипшарь пристал, что-то бубнил. Ты мороженое предлагал поесть?  
 — Может быть.  
 — Волосы длинные и лохматые?  
 — Скорее всего.  
 — Немытый, грязный?  
 — Как это?  
 — Ты ведь грязнуля. А тогда, наверное, был прегрязный, если некому было ругать.  
 — Мне никто не говорил, что я был грязнуля.  
 — Вы все были грязные, вот никто и не говорил.  
 — Ну хорошо, пусть я был грязный, хотя краска — никакая не грязь. И джинсы не могли быть драные, мне мама зашивала. Заношенные, застиранные, но не драные и не грязные. Я в грязных не хожу.  
 — Да ты посмотри, а это что? Вот это вот на коленях, вот это на карманах, ты на задницу посмотри!..  
 Так мы с тобой и не выяснили. Чаще всего ты говорила: «Нет, Сережа, ничего подобного не было». Или: «Нет, Сережа, это был не ты». «Да нет, — говорил я, — все дело в глазах».  
 Я ничего особенного и не помню, только эти глаза твои светлые. Других таких глаз нет. Может быть, мне только хочется, чтобы это была ты.

### 16 января

Я говорю себе: не думай, не думай. Неужели, Леночка, ты решила в ту субботу\* проделывать тот же путь, что и в ночь с четверга на пятницу, за два дня до того? А ведь какой я дурак был, когда, выбежав в ту ночь за тобой, свернул налево, а не направо — к Театру Моссовета. Ведь театр — это свой, Театр ли это Моссовета или какой другой, недаром все машины на съемки ждали тебя у служебного входа Моссовета, там ты назначала встречи, туда тебе приносили сценарии и пьесы. Я побежал налево, описал круг, но нашел-то тебя справа от театра, на лавочке. Я нашел тебя, и ты покорно пошла домой, легла спать и утром сказала: «Как же мы все же любим друг друга». Мы завтракали и радовались, что завтра, в субботу, едем на дачу. В субботу. Но ты не поехала. Всё. Я помню всё. Как я мог уехать без тебя? А вот смог же. И — всё.

### 17 января

Могила твоя вся в снегу, белом и пушистом. Я положил шесть красных гвоздик. Феклистов сказал: «Как же гвоздики красивы на снегу, никогда не знал». Он воткнул в снег какие-то фиолетовые горные цветы с тонкими и колючими листьями. Два мандарина, зеленое яблоко, иерусалимская свеча. Твой покрытый инеем портрет. У папы никак не хотела гореть свеча, оставшаяся от моего соборования, а твоя, иерусалимская, горела. От нашего большого пучка, который ты зажгла в Храме Гроба Господня, остались три свечи. Три последние свечи, которые ты держала в руках.

### 18 января, 1.23, день

И все-таки жаль, что нельзя вспомнить поминутно и посекундно хотя бы наши двенадцать лет и семьдесят пять дней.

За окном белым-бело, лежит снег. Очень хочется погулять. Как, Леночка, ты любила снег! А какой снег на Сахалине! Я никогда его не видал, но знаю... Ты так любила сахалинскую зиму.

### 19 января

#### Крещение Господне

Теперь мне предстоит жизнь, существующая только в моем воображении. Я хочу читать книжки, написанные тобой. Из всего, что ты сделала, мне ничего не надо, кроме твоих книжек. Ну хотя бы одну книжку... Читать, отрываясь, смотреть в окно, пить чай, читать. Листать ее за нашим столом, выбирать страницу наугад, читать главу, смотреть в окно, есть гранат. Конечно, я хочу пойти на твою премьеру, конечно,

\* 23 августа 1997 года, день смерти Елены Майоровой.

я хочу всего, что было, хочу невозможного, но более всего я хочу читать твою книгу. Я знаю, что найду ее.

— Ты врожденная писательница, — однажды сказал я, — пиши книги.

— О чем?

— Обо всем, что ты мне рассказываешь. Никто лучше тебя не рассказывает о счастье и боли.

— Но разве это интересно? Даже тебе это иногда неинтересно.

— Леночка, мне часто не по себе, это правда, мне так больно иногда и страшно за тебя, что я пытаюсь не слушать, и, несмотря на то, что твой мир трудно вынести, я знаю, что ты рассказываешь о счастье. Если ты все это напишешь, я буду читать не отрываясь.

— А кроме тебя, кто еще?

— Ну кто-нибудь, какая разница, но главное — я. Разве мало?

— Мало.

— В конце концов мы издадим, и это будут бестселлеры. Я знаю, тебе нужен полный зал зрителей, но, уверяю тебя, читателей будет не меньше.

Ты улыбнулась.

— Если я когда-нибудь не смогу играть... заболелю или меня вдруг парализует, я, может быть, и начну писать. Ты ведь знаешь, как долго я собираюсь написать письмо, собираюсь неделями, а потом пишу с утра до вечера и, пока не напишу, ничем не могу заниматься. А так — когда мне писать? Между репетициями? В понедельник?

### 21 января

Кажется, что я попал в какое-то кино. Еще на кладбище промелькнуло, когда клал гвоздики на снег, что все это кино, и Феклистов Сашка, расчищающий снег рядом с могилкой, как бы намеком: видишь меня, Шерстюк, это ты меня в кино видишь, вот съемки закончатся, вернемся домой, а там Ленка пельмени нам приготовила.

Руки у тебя в муке, ты коснешься моих щек кончиками ладошек и поцелуешь в губы. Налетишь, как бабочка, и упорхнешь. Стук — и улыбнешься. Искорки из глаз попадут в сердце, ты тихо спросишь: «Любишь, Шерстюк?» — «Люблю».

— Не верю, — сказал я Сашке. — Понимаешь, я все знаю, но не верю. Я не сумасшедший.

— Конечно, нет. Понимаешь, она там, в театре: или на репетиции, или в кафе с кем-нибудь. Да мало ли где!

### 24 января

Красная свеча у твоего портрета трещит, мама принесла кисель из вишен. Вишни с косточками. Пропала часы, которые мама подарила мне на День рождения, говорила: лечебные. Пропал черный шарф, подаренный тобой. А кем же еще, если я шарфы не покупаю? Еще в больнице № 24 пропал мой черный швейцарский нож, который я купил весной 91-го на Лексингтон-авеню в магазине «Хоффритц». Ножей «Хоффритц» в Москве нет.

Пошел на кухню, покурив, поискал уже не помню что, не нашел...

Ты стоишь у нашей лужи по дороге в Михнево и ждешь меня. Мы идем пешком на электричку. 19 августа 95-го года.

19 августа 97-го года мы шли пешком на электричку. Ты шла последний раз. Сегодня я раскрутил пленку, отрезал два кадра, вставил в рамки, опустил в окошко, увидел, что ты меня ждешь у лужи, и прочитал в левом углу «95 8 19». На следующем слайде ты идешь мне навстречу в любимой нами березовой роще, за моей спиной поле, за которым Михнево. Вставляю в окошко неразрезанную пленку: «95 8 22», дача, Евгения Андреевна, Лелька, Никита, тебя нет, ты в Москве, а может, на съемках. В кадре «95 8 23» большая, еще зеленая тыква. Тень, кусты. Потом дача со стороны сада, потом три яблока на красном столе, потом пруд, тот, рядом с нашей лужей. Пруд, где мы любили делать привал и собирать вдоль берега грибы. Мы называли его «озерцо».

Леночка, ну вот почему я тебя всегда ждал, я любил тебя ждать, да? Вечером я свешивался с балкона в Нью-Йорке, курил, проходил час, и вдруг ты появлялась — какое счастье! — с пакетами в обеих руках. Сейчас будем ужинать, примерять покупки и смотреть, что же я за это время нарисовал. А сколько часов я провел на нашем балконе, в доме, где я сейчас пишу! Я любил тебя ждать? И даже последний год, глотая валерьянку? Господи, да все просто — я и сейчас тебя жду.

### 25 января

Татьянин день, за окном солнце. Надо позвонить хоть одной Татьяне. Разговаривал по телефону с Ириной Гординой, говорит, что она лежит на кровати, залитой солнцем. Я сказал, что «залитая солнцем кровать» — это лучшее, что я слышал за последнее время. Неприхотливо — и всё же лучшее.

Холопову вчера исполнилось пятьдесят лет. Я ему сказал:

— Тебе на самом деле девяносто, телу пятьдесят, а душе двадцать.

— Шерстюк, всё наоборот, всё наоборот.

Я ему пожаловался, как я расвирипел в художественной лавке в Петровском пассаже. Английские, голландские и итальянские товары не приспособлены к употреблению, всё дерьмо, это ж надо — гуашь в тубиках! Да какой художник завинчивает тюбик до конца! Холопов ржет: «Бедный, Шерстюк, завинчивает».

26 января

Ну вот, Леночка, я в онкологическом центре — помнишь? — в том небоскребе, который я называл городской дачей Брынцалова? Академия медицинских наук. Двадцать второй этаж. Гаже места я не видел. А ведь по благу. От персонала тошнит. Это тебе не больница № 24 с бабулями, сестрами, медбратьями и чумными хирургами. Это гадость и пир жлобов.

И не потому, родная, что, судя по всему, у меня оказался, ну в самой ранней стадии, рак, о чем я узнал сегодня, а потому, что тут, где я нахожусь, точно и ненавязчиво сработал метафизический закон: мерзость собирается в кучу, а я, на ж тебе, появился, когда она уже вся собралась и слиплась до безупречной мерзейшей мощи. Если выживу, не знаю, как я по Каширке буду ездить, надеюсь, со смехом и дулей. Я даже здесь побуйствовал, поорал и поломал кое-чего, в меру, конечно. А жаль. А то бы уж свалил отсюда.

27 января

Ума не приложу, Леночка, как я буду жить без тебя, если даже сейчас, когда неведомо, помру я или нет, ничего не понимаю. Я, кажется, еще меньше понимаю, чем в конце августа, сентябре, октябре, — этом земном Страшном Суде. Как же так: так трудно полюбить, а мы полюбили, трудно любить, а мы любили, трудно любить свое дело, а мы любили. Красивы, талантливы, остроумны, веселы да и как похожи при всей непохожести — и вот тебе. Было все... кроме детей.

Пишу наивно и глупо. Ох, не прыгнешь в прошлое — потому не понимаю ни прошлого, ни тем более настоящего. Будущее же... Вот уж чего, наверное, никогда не бывает.

Узнал вчера, что такая болезнь, как у меня, быстро не появляется, скорей всего ей год-полтора, но и так быстро не проявляется, а лишь при соответствующих и сильно выраженных обстоятельствах. Этим обстоятельством являешься ты. А для тебя соответствующим и сильно выраженным обстоятельством являюсь я. Вся наша жизнь — твоя и моя — плюс ты и я...

Игорь Сергеевич, лечащий врач, сказал Вете, что у меня, верующего и православного, глубоко в подсознание может быть запрятана надежда на свою болезнь как скорую смерть без всякого самоубийства. Да я и отцу Сергию говорил, что помолюсь, почитаю, преисполнюсь покоя и вдруг — хлоп! — а побыстрей бы дуба врезать, и без всякой подсознухи. Помолюсь и устыжусь. И прежде всего устыжусь, потому что у нас, Шерстюков, подобное — трусость, я имею в виду подобное в том приблизительно положении, в котором я нахожусь. В других обстоятельствах, я думаю, Шерстюки претлично могли бы и застрелиться, несмотря на православие, по причинам, скажем, чести или гордости, а скорей всего по каким-нибудь боевым соображениям, скажем, для укрепления войсковой доблести или просто из государственных соображений. Есть обстоятельства, в которых русский офицер не может не застрелиться, да простит меня Бог. У меня же получается, что я Шерстюк наизнанку, как вывернутые штаны, — вроде не штаны, носить нельзя, но и не пиджак. Потому я думаю: а не оказался ли я столь хитрым запорожцем, что загнал мысль о самоубийстве в подсознание, объявив само подсознание не то что чушью, а именно чушью недостойной — мол, пусть про подсознуху обезьяны пишут диссертации? Сознание мое хоть и туманно, зато с подсознанием ясно — я его в гробу вижу.

Но... тихонечко листал на больничной койке газету, натыкаюсь...

**МХАТ им. Чехова**

(Камергерский пер., 3, тел. 229 87 60)

23 — «Женитьба» Н. Гоголя. Премьера. Заняты лучшие артисты театра.

24 (18.00) — «Тойбеле и ее демон» И. Зингера. Вместо Елены Майоровой, трагически ушедшей из жизни, эту ее звездную роль превосходно играет Оксана Мысина. Малая сцена (18.00) — «Татуированная роза» Т. Уильямса. Ирина Мирошниченко вот уже много лет блистает в главной роли в этом спектакле, до сих пор собирающем аншлаги.

**ТЕАТР им. МОССОВЕТА (тел. 299 20 35)**

25 — «Милый друг» Ги де Мопассана. Премьера. Постановка Андрея Житинкина — как всегда у этого режиссера, яркая, зрелищная. Играют Маргарита Терехова, Александр Домогаров.

Я понимаю, что хочу или другое читать: «Идите на звезду Елену Майорову», — или ничего не читать, ну чтоб газеты об этих двух театрах вообще никогда не упоминали. Я когда по двору своему иду, так вроде и не знаю, что вот он, Театр им. Моссосвета. Театры — убийцы? Не-е-ет. Это уж я скорее. А могу ведь и так: я. А театры — скорее врачи: могут залечить, зарезать, но и вылечить, надежду дать; я не знаю, кому так было больно в театре, но кто еще так по-детски любил театр, как Леночка? А я — что я вообще в настоящем люблю? Леночкины вещи. Фетишист? Красота и смерть? Вот закладка у меня в дневнике с изображением гейши. Читаю: «Израиль». Чайничек маленький стоит на окне — как мы ему обрадовались, увидев в аэропорту Израиль, — теперь не надо таскать на гастроли и съёмки кипятивильник; я нашел его в гастрольном чемоданчике. В чемоданчике есть всё — хватай и гони на гастроли. Карманная пепельница «Davidoff», я ее подарил Леночке, теперь она моя.

У нас всегда было много общих вещей, потому что мы одинаковые, только штаны мои были Леночке коротковаты. А теперь почему я их ношу с таким удовольствием? Мне хочется быть Леночкой?

Или, может быть, я хочу того самого, что в подсознухе?

### 29 января

Слава Богу, меня здесь навещают и отвлекают — не пойму какими: смешными, трогательными, драматическими, страшными? — историями. Как и в больнице на Страстном бульваре, но там, рядом со всеми нашими — до хруста под ногами — местами, всё походило на тихое прощание со всей моей предыдущей жизнью. Я это сейчас понимаю: именно там, в больнице на Страстном, я прощался с собой. Меня больше нет. Сережа Шерстюк — это не я. Тот, кого зовут сейчас и здесь Сергей Александрович, кто думает по-прежнему, что он Сережа, — это кто-то другой, которому по хрену, как его зовут и что он про себя думает. Если он думает, что Леночка Майорова его жена, то не стоит и напоминать, что у Леночки Майоровой муж, до которого не допрыгнуть с шестом длиною в Останкинскую башню. О нем лучше забыть. Вообще эту пару — Майорову с мужем — лучше не вспоминать. Зачем они тут появились, что делали, о чем думали, мечтали? Неизвестно и непонятно. Лучше забыть?

Кто-то хочет побыстрее, а кому-то тяжело, но тик-так — и всё получится. Можно уехать, можно расстаться и встретиться, а то утешиться академически — написать трактат о судьбе, звездах, поколении, можно напиться и захотеть вернуться к ним — всё получится, но лучше забыть.

Пока, Лена и Сережа! Чао.

### 30 января

Если хочешь что-либо понимать, перестань знать. А лучше расхотеть и знать что-либо и понимать. Расхотеть — легко сказать, но и немало, потому что, если не будет получаться, можно вспомнить: да, я расхотел. Самая ужасная ловушка в том, что, отвлекаясь от конкретного знания, мы почти не замечаем, что попадаем в другое, менее конкретное знание на данный момент. Я узнаю, что где-то украли людей, — не хочу знать! Вот где-то взорвется вулкан — на каком острове? Самолет упал — чей? Антон Саламуха говорил, что за всю жизнь надо знать трех людей, от силы — пять, с остальными не то что не говори, не смотри в их сторону. Как-то в метро, разговаривая с Антоном, я уставился на соседа — дебила, бандита? Антон приложил руку к моей щеке и повернул: «Не смотри!» Мы вышли из вагона, и он со смехом спросил: «Ну и где он?» Гетон как-то по возвращении из Парижа рассказывал, что, проснувшись у Антона в мастерской, обнаружил его скачущим вокруг расстеленных на полу здоровенных картин и что-то со смешками и повизгиванием бормочущим. Он удивился, но вскоре рассмотрел, что к уху его привязан радиотелефон — как на автопортрете Ван Гога с отрезанным ухом. Обнаружив, что Гетон проснулся, он отмотал телефон и сказал:

— Ну всё, будем завтракать.

— А с кем это ты говорил?

— Я с утра, перед завтраком, когда посыпаю картины песком, обязательно целый час разговариваю.

— Да с кем?

— С масонами.

— О чем?

— Я им анекдоты рассказываю.

— Зачем?

— Чтоб покупали.

Всё. Мы с самого детства знали, что самые талантливые. Не сейчас и здесь, но — вообще.

Вечер. Ну вот и вкатили в меня яды. Приснился кот на парашюте. Господи, Леночка меня зовет. Или откликается. Нет, это я ее зову. Она далеко-далеко, беззвучно шепчет: «Се-ре-жень-ка...»

31 января

Леночка, сегодня одиннадцать лет, как мы поженились. Я поздравляю тебя. Вот дурьяче: расписались, но не обвенчались. Собирались да всё откладывали по разным поводам.

Ох уж эти яды. То ли глюки, то ли бред. Город то скроется в пурге, то неожиданно засветится огнями. Так метет, или у меня время слипается? Не пойму, Лена мне мерещится или я только хочу, чтоб мерещилась? Я знаю, что любовь ломает и очень сильных людей, не в пример мне, сводит с ума, загоняет в гроб. Как же вынести потерю любимой? На окнах узоры, которые ты так любила рассматривать.

1 февраля

Никак не могу вспомнить, в каком году мы были на Сахалине. До твоей поездки в Японию или после? А в каком году ты ездила в Японию? Да Бог с ним, несложно выяснить. Это я к тому, что уже полдня думаю, как я однажды струсил. Ноги подкосились, так я струсил. Ты никогда не могла мне этого простить, чаще смеялась, но иногда обхватывала лицо руками и говорила: «Я никогда этого тебе не прощу, ну как же ты мог так струсить? Ты трус, Шерстюк».

Когда я струсил, лицо у тебя побледнело, я что-то бормотал в оправдание, ты отмахивалась и молчала. А начиналось все весело и хорошо — ну как всегда у нас. Я не предполагал, что это единственный раз, когда мы с тобой вместе на Сахалине. Мы пошли с тобой в парк, обожаемый тобой с детства. Напали на грибы. Катались на чертовом колесе, на качелях, которые крутятся по кругу, на чем-то еще, и вот добрались до качелей в виде лодок, которые надо раскачивать, ну и, раскачав, крутить «солнце». Так вот, раскачивая качели, мы восторженно кричали: «Давай! Ну давай!» Вот мы уже взлетели выше перекладины, за которую крепилась наша лодка, вот еще поднажать чуть-чуть — и мы замрем над землей вверх ногами, чтобы, завалившись вниз и поднажав еще чуть-чуть, закрутить наконец-то «солнце». И вдруг ноги у меня подкашиваются, я сползаю к сиденьям и кричу: «Не-е-ет!» «Почему?» «Не-е-ет!» — кричу Лене и вижу, что ничего не вижу: ее изумления, сменяющегося отчаянием, потом отвращением, — и понимаю, что ничего не понимаю: своего страха — за нас ведь! — сменяющегося пустотой и желанием спать. Мы спускаемся на землю, бредем по аллее, я хочу спать и слышу: «Ты трус, Шерстюк, какой же ты трус, а ведь осталось чуть-чуть, эх...» Я бормочу: «Я с любого камня в море прыгаю, я на турнике солнце кручу...» «Помолчи». Я бреду рядом и не понимаю, почему я струсил.

Спустя многие годы, вспоминая этот случай, я так и не понял, а решил просто: ну струсил.

3 февраля

Все, кто заходит ко мне в палату, говорят одно: «Ну, Шерстюк, ты прекрасно выглядишь. Молодец». Я не возражаю.

Они не сошли с ума, просто сговорились. Все их радует, кругом одни забавы, подмигивают: ну как сестрички? Я-то вижу, что болею с некоторой, правда, желтизной. Слава Богу, не зеленцой. Опять держусь за стенки. А Базиль — что ли из хитрости? — совсем разучился говорить внятно. Он и раньше был словоблуд, не понимающий и половины своих слов, теперь заделался философом неизвестной философской школы: рассуждая о детстве (нашем — стало быть, и моем) и даже конкретно обо мне, погружается в какой-то фантастический (не с точки зрения волшебности и красоты, а какой-то бессмыслицы и дури) то ли мир, то ли никем не снятый фильм, да так, что, слушая его, я, совершенно искренне полагая, что только вот очнулся от сна, спрашиваю: «Ты о ком?» «О нас, — говорит Базиль. — А что не так?» Я пожимаю плечами. «Люди теперь лучше, — продолжает он, — мы ведь не ведали жалости, а теперь люди могут из одной только жалости полюбить, это я во всех новых людях заметил. Им не нужны лидеры и личности — все это в прошлом, в истории, там, где мы еще жили, — им чем забавней и хуже кто-то, тем больше они его любят. Нам ведь, кроме джинсов и поторчать от Запада, ничего было не надо, а эти новые — фаны, то есть фанатики, они с утра до вечера слушают музыку. Мы ведь один раз битлов послушали, потом три дня по улицам гуляли и хвастались, а эти не гуляют, а слушают и слушают». — «Ты о ком, Базиль?» — «Об этих новых». — «У тебя горе, Базиль?» — «Да, Машка сектанта полюбила». — «Где она его нашла?» — «Да сосед он, она из жалости полюбила». — «Пятидесятник?» — «Протестант». — «Лучше бы она козла плейбоя с Крещатика полюбила». — «Сейчас плейбой в Киеве не в моде, там же повальная бедность. У интеллектуалов в моде протестанты, у них церкви на дому, прямо в квартирах». — «А у народа кто?» — «А народ ждет, кто больше даст». — «И кто победит, Базиль?» — «Кто-то такой, кого мы не знаем». — «Или забыли».

Вот так мы говорим. О чем мы говорим?

6 февраля

4 февраля я чуть не помер. Я отправился сдавать кровь на четвертый этаж, а, поскольку лифт там не останавливается, вышел на шестом и добрался по лестнице. Но опоздал. Глядя на закрытую дверь, я подумал, что очень хочу спать. Дышалось с трудом. Поскорее бы добраться до кровати. Пришел в себя на лестнице в позе зародыша. Руками я, видимо, инстинктивно, чтобы не упасть, схватился за перила. Никого. Мокрый. На голове бульдозер, в груди лимонка с выдернутой чекой. Приподнялся, сделал несколько шагов — и опять. Помню, что, приходя в себя, подумал: «Ну вот, больше ничего не могу». Как-то добрался к лифтам — никого, кнопку нажать нет сил. Сполз по стене к полу и замер. Кто-то нашел меня, затолкал в лифт, я, наверное, сказал: «Двадцать второй этаж», — иначе как бы я оказался в палате. В лифте я подумал: «Ну вот, Леночка, мы и рядом». Все, ничего более.

Потом уже, когда меня на бешеной скорости водили по всему центру две медсестры, в одном из лифтов мне показалось, что где-то отвалились мои ноги, ну просто не вместились в лифт и дверцы их отчикали. И где-то одна из врачей сказала: «Не помрешь сегодня, еще не домучился».

А вот сейчас мне кажется, что я таки добрался с лестницы до лифта и смог нажать кнопку, а когда дверь раскрылась, то вошел в лифт без чьей-либо помощи. Далее не помню и ничего не кажется.

7 февраля

«Уголи моя печали»

(вырезка из газеты)

*На канале ОРТ в 20.10 программа «Человек и закон» будет посвящена недавно погибшей актрисе МХАТа Елене Майоровой. Журналист Вадим Руденко расследовал обстоятельства, предшествовавшие ее гибели, и попытался выяснить, было ли это результатом стресса или обдуманным поступком. В программе примут участие Олег Ефремов, Олег Табаков и Татьяна Догилева. На этом же канале в 23.35 еще один документальный детектив. Называется он «Дело»...*

Леночка, а теперь меня решиши свести с ума.

8 февраля

Я поздравляю тебя, мы знакомы двенадцать лет и восемь месяцев. Вот уже пять дней, как МХАТ в Нью-Йорке, говорят, механизмы, которые крутят сцену, заржавели. Живут все в какой-то гостинице на углу Бродвея и 47-й улицы. Это ведь совсем недалеко от того места, где жили мы, — угол Пятой авеню и 28-й улицы.

9 февраля

Я живу, родная, в воображаемом мире, в котором ты не умирала. Мы сейчас бродим с тобой по Нью-Йорку, а вскоре нам предстоит поездка в Чикаго — вот где ты отоспишься после «Трех сестер». Я буду рисовать, ты — спать, готовить еду, ходить по магазинам, по вечерам мы будем гулять, а перед сном играть в «козла». Мы будем жить в Бельмонт-отеле, мы ведь так и собирались? 15 марта на West Superior откроется моя выставка «Ты и я» — так, наверное, я бы назвал ее. А может, и нет, не знаю. «Цветы для Леночки»?

При этом я думаю, родная, что давненько не был на кладбище. Очень скучаю по тебе, как ты там без моих цветов?

Ох, Леночка, держи меня, не дай упасть.

Семь вечера.

Ну вот я и дома, Леночка, рядышком с тобой.

12 февраля

Утром приехал Макс, я проснулся и принялся скандалить.

Я с утра, чуть что не по-моему, принимаюсь безобразничать. Помолось и безобразничая. Потом все становится отвратительным. Пришел Мочалов, и мы отправились покупать «Адажио ре-мажор» Альбини в соседний дом, в подвале под выставочным залом. Купил сборник «Адажио», просто Альбини и две Марии Каллас. Увидел подольский мольберт и тоже купил. На выходе чуть не потерял сознание. Уже в подъезде покрылся потом, едва добрался до дивана, но все же успел — сознание не потерял. Адажио оказалось черт знает каким, даже и не про смерть, а просто унылым, и совсем не ре-мажор, а просто какой-то немец подул от тоски в орган. А вот сборник Альбини хорош, зато адажио нет. Года два назад, а может, более М. К. взяла мое любимое ре-мажор на три дня и смылась, а я теперь не помню даже, в чьем исполнении. Теперь вечно ходить и искать. Правда, кому ходить?

Макс, кстати, просек, что я не ходок, послал на диванчике и смылся то ли к Клеуху, то ли к Гетону, к тем, кто поздоровей и бухнуть мастак. Говорит: «Я по тебе соскучил-

ся». Когда он говорит, мне представляется такая картина: я лежу на кровати, он рядом в кресле-качалке с кружкой чая и пирожными на подносе, мы болтаем о том о сем. А вместо этого: пришел, притащил мольберт, поспал и смылся. Да, еще слезу пустил, когда я поведал ему, чем все же болею.

Ах да, когда я ему в связи с Павичем сказал, что о литературе лучше не говорить, поскольку наличие ее бесповоротно исключено, он вдруг всунул в магнитофон свою беседу то ли с Муминым, то ли с Маминым — не помню — о моих «Джазовых импровизациях на тему смерти», и я услышал, как кто-то с жутким киевским акцентом произнес, что «прежде всего они кокетливы и безответственны», на что я сказал: «Выключи и выкинь». Он беспрекословно выключил, но не выкинул. Я еще посмеялся, что этот Мумин тем хорош, что ни его самого, ни его творений я обсуждать никогда не буду.

Леночка моя, ты не представляешь, как они все терзают меня: приходят, когда хотят, звонят, когда хотят, приводят врачей. Москвитин вот только что привел профессора Карандашева, который даже не спросил у меня, хочу ли я, чтобы он занимался моей иммунной системой, а сказал: все, завтра приступаем. Приводят с собой девиц, которых я вижу в первый раз, смеются, думая, что развлекают меня, но самое главное, думают, что оказывают мне какую-то неоценимую услугу. Чепуха, все это вроде светских хождений за ароматом смерти — а вдруг я на их глазах дуба врежу? Конечно же, думают, что вдыхают в меня жизнь, но дуба если я и врежу, то от их хихиканий и юмора. И самое ужасное, что я им подыгрываю: пытаюсь переострить и перецегелять — «пушу хвост», как ты говорила: «Ну, Шерстюк распушил хвост». Результат — полуобморочное состояние.

Некоторые так меня раздражают, что я готов их убить.

#### *14 февраля*

Я проснулся сегодня и решил послушать нашу с тобой жизнь — тишина, Леночка. Я не только удивился, но испугался. Я оглядел комнату и представил: вот ты открываешь шкаф, поворачиваешь выключатель, сворачиваешь фантик и бросаешь кошке, включаешь «чудо-массажер» — тишина. Ты говоришь: «Сережа, вставай, уже двенадцать», — тишина.

#### *18 февраля*

Слабость такая, что вот уже несколько дней ничего не читаю, не смотрю и, разумеется, не пишу. Я в нашей комнате: слева от меня мольберт с чистым холстом, справа компьютер, я — за столом, под зеленой лампой, на зеленой скатерти мой дневник среди баночек, скляночек, лекарств, чайников, фруктов и книг. Тут же пейджер, пульты управления, очки, часы. Стол больного человека. И я ничего не понимаю. Я хотел бы сесть с тобой рядышком и вспомнить, как мы отдыхали у твоей бабушки под Невельском. Дом отделен от моря пустынным шоссе и японской узкоколейкой, по которой несколько раз в день в разных направлениях проходит поезд с маленькими японскими вагонами. Мы ехали на нем из Южно-Сахалинска, прижимаясь друг к другу и упиравшись коленями в колени твоей мамы — сиденья были рассчитаны на японцев. Я проводил рукой по твоим ногам и говорил: «Ну ты совсем не японка». А в домике мы ели ложками красную икру с разваристой картошкой. Сашка, твой дядя, с утра браконьерничал и к завтраку успевал засолить. Был сухой закон, и мы везли водку из Южно-Сахалинска, а в последние дни ее приходилось добывать в несусветных очередях в Невельске. Пока Сашка и Коля, другой твой дядя, со своей возлюбленной, похожей на очень старую Джульетту Мазину и Эдит Пиаф одновременно, с губами цвета свеклы пробивались к ритуальному напитку, мы валялись у моря, бродили вдоль дюн, купались, я рассматривал водоросли, ты вязала. И каждый день в нашей деревушке происходили чудеса.

Я бы сейчас спросил, а как она называется? Ты бы ответила. Я не помню. Иногда в мареке просвечивал Хоккайдо. Вода была теплая, не то что в Тихом океане.

Однажды всю ночь от полной луны отделялись концентрические круги и расплзались по Вселенной. Мы с замершими сердцами сидели всю ночь на дворе и, когда появился Сашка, убедились, что наблюдали чудо, — он сказал, что никогда подобного не видел и ни от кого не слышал. Спустя много лет кто-то рассказал мне об этом явлении, у него даже есть название. Ты стояла посреди двора, раскидывала руки, прижимала их к лицу, вскрикивая: «Вот это да!» Восторженно обхватывала мои плечи: «Сережа, что это? Вот это да!»

Глаза. Опять вот то самое, не подвластное разуму, — твои глаза. Ты видела, чего не видел никто. Если ты видела, то мгла становилась зримой — не для меня, погруженного во внутренний хаос и непроглядную реальность, — зримой вообще. Можно было жить. Зримые издавна звуки. Накатывалась волна. Шуршала под ногами галька. Хлопали двери. Теперь — тишина. И в этой тишине я не знаю, кто я такой. А как можно знать, если не видишь?

*19 февраля, первый час ночи*

Все дальше наша жизнь от нас. Любимая Леночка, сядь напротив меня, ясноглазая, и спроси: «Сережа, что с тобой?» Спроси: «Почему тебе все хуже и хуже, почему день ото дня ты все слабее и слабее, почему тебя не радует снег за окном, дом напротив? Наш дом напротив, который я вдруг нашла в Риме, и просидела полночи, выкуривая подобранные под Колизеем окурки, и не могла оторвать глаз, и мне казалось, что мы смотрим вместе, и было так тепло, и казалось, что кипит поставленный тобой чайник. Утром я была в Москве, кипел чайник, я стояла у подоконника и смотрела на тот самый дом — вот он, подойди к нему и погляди сквозь ледяные узоры, представь меня на скамейке в Риме: вот я сижу, закинув ногу за ногу, кручу окурки над пламенем зажигалки — дезинфицирую и думаю о тебе. Я думаю: мой любимый Сереженька ждет меня, а мне так хорошо глядеть на этот дом — я ведь не узнала его в Риме, — как будто мы сидим вместе. Я знаю, что ты присядешь где-нибудь на лавочке — на Патриарших прудах, в центральном парке, на Страстном, на диванчике в мастерской — и разговариваешь со мной. Я завидую этой твоей привычке говорить со мной, едва расставшись; тебе удаётся, потому что ты художник; я же актриса, вынужденная говорить со всем театром. Я актриса, а ты художник. Все удивлялись, что ты так мало меня рисуешь, не только актеры, но и твои друзья-художники. Помнишь, что сказал Леша Сундуков, впервые меня увидев?

“Сережа, ты должен рисовать ее каждый день, причем в полный рост. Да-да — тебе больше ничего не надо. Все художники мучаются, что рисовать, а у тебя уже все есть — такое бывает раз в тысячу лет”. Ну что, приятно было выслушивать комплименты от друзей-художников? А ведь это были не одни комплименты, а пожелания. Ты слушался? Ты никого не слушал. Теперь жалеешь, я знаю. Ты поправляйся, а о том не жалею — я всегда с тобой, еще нарисуешь. Я ведь тебе была дана как данность, я ведь тебе говорила: я тебе дана, и другой тебе не надо, но я не твоя, я тебе дана навсегда, но на время. Ты не понимал, что я говорила. Я не твоя, — говорила я, — я твоя жена, я тебе верна, я тебя люблю, иногда очень-очень, иногда забываю, иногда не люблю, когда ты превращаешься в генеральского сына, еще хуже — в “сапога” и ханжу, но всегда-всегда я очень люблю твою душу. А ты о моей так часто забываешь — не возражай, я знаю, — часто и надолго.

Ты всегда думал, что я навсегда — вот здесь, где мы живем и хлопаем дверьми, ты и не выросл потому, что я — навсегда, ты одного боялся — умереть раньше меня. Потому чуть что — укутывался одеялами, хныкал, требовал, чтобы я непременно закопала тебя в землю, поставила деревянный крест, а картины долго не продавала. И половину всего — Никите. И пусть Макс издаст твои дневники — для того и пишу, говорил, чтоб подскочили цены. Ты говорил: тогда я всех обеспечу.

Бедный Сереженька, что было в твоей голове? Когда ты так боялся смерти, ты совсем забывал обо мне, но требовал: сядь рядом, дай руку, не уходи, положи руку на сердце. Ты любил смотреть мне в глаза, но именно тогда, когда мне это было необходимо как жизнь, ты смотрел в потолок, в пол, морщился, а у меня сердце разрывалось, и я думала, что всем обуза, нелюдь, что попала к вам, к людям, случайно. Когда я говорила “вы” — ты морщился (это тот, кто меня любит!) и мечтал об одном: скрыться, убежать, забиться в угол, пока не пройдет. А ведь я ждала, чтобы ты только погладил меня, не обнял, нет, а только погладил волосы.

Я не оказалась “железной леди”, какую ты хотел сделать меня для людей, — ты учил меня быть ею, но не скрывал, как тебе эти леди противны. Ты учил меня — такую беспомощную — социальной паранойе. Ты ничего не понимал: ты гордился тем, что я никогда не вру, но учил врать. “Этим посторонним людям — ни слова правды, — учил ты, — хватит с них “Золушки с Сахалина”. Посмотри на себя, всех действующих принцесс и королей можно отправить в ПТУ, я сделаю из тебя сразу трех идиолов: сексуального, духовного и душевного”.

Благо ты вскоре забывал. Утром мы улыбались и смотрели друг другу в глаза. “В конце концов, — это говорила я, — мы просто любим друг друга”. В пятницу я сказала тебе: “Мы творим ужасные вещи, но мы ведь люди хорошие и любим друг друга”. Эх, зачем ты уехал в пятницу по своим делам?

Я взгрустнула сейчас, Сереженька, как земная, прости меня, все было как было».

Да, родная моя, все случилось не так — да ведь и не дано знать! Ты не похоронила меня, крест деревянный не поставила. Я слабею — и естественно — без всяких «ой-ой».

*20 февраля*

Ты идешь мне навстречу и улыбаешься. Ты очень точно ступаешь, но совсем легко, руки твои заняты сумками. Когда ты идешь впереди, я смотрю на твои плечи, шею, на твои ягодицы, локти — не важно на что, — и всякий раз — в сотый, тысячный — думаю: ничего не видел красивей. Бог с ним, кому-то, может быть, что-то другое кра-

сивей, а вот мне недостаточно самого этого слова. «Красивей», — думаю я, — ерунда, есть же еще какое-то слово, есть слово, от которого сжимается сердце, — «родней», но с этим так тяжело идти за тобой, нужно еще какое-то слово, метафора, какое-то ощущение, чтобы идти и просто смотреть. И вдруг — не часто — спина твоя опускается, голова склоняется к земле, ты смотришь под ноги, и шаги твои замедляются — самое красивое тело на земле сникло. Стоп. Я видел, какой поникшей ты шла к автобусу на Teneriffe, когда нас, только принявшихся рассматривать и обсуждать русских матросиков с «Крузенштерна», примостившихся невдалеке от нас на золотом песке, завезенном из Марокко, позвал наш гид Андрей, возвестив конец купания. Конец. Мы никогда не покормим матросиков, никогда не искупаемся на золотом песке. Вот сейчас все было и более никогда. Ты только что смеялась, а теперь шла впереди меня и знала — я-то никогда ничего не знал, — что — никогда.

Последний год ты так много смеялась, тебе не доставало радости, потому что ты знала — она последняя.

Ну о чем сейчас я пишу? Писано-переписано. Кончается жизнь, век, с тобой умерла Россия. Казалось: пока мы есть, с ней ничего не сделается. Мы умели почти что всё, но по-настоящему одно — заниматься искусством. Время его закончилось, однако мы-то еще умели это и помнили запах настоящего. Ну не нужен этот запах, но настало ведь еще дюжина. А-а,— проживем. Не умея выживать, собирались прожить. Ничего не боялись, а я-то ведь еще и ничего не понимал. Над нами: «Тик-тик», — а я не слышал. Ты слышала и все понимала — и отчаянно хотела ласки. Вот я пишу сейчас на кухне — уж сколько лет я сижу здесь по вечерам, — а тебе там, на нашей кровати, по-прежнему не хватает ласки. Ох, как мне жаль тебя, Леночка, как жаль себя! Мы ничего-ничего не должны были знать о смерти. Приехал Жолобов из Америки, пьяный в дуст, пришел Базиль, трезвый в пепел, и спрашивают у меня: «Это почему ты, Шерстюк, не хочешь жить?»

— Это кто вам сказал?

— А зачем говорить — видно.

— Так вот, все спрашивают: почему?

— Сережа, ты никого не обманешь: отвечай. Мы все знаем: тебя можно вылечить.

— Я лечусь.

— Отвечай: почему?

— Мне без Майоровой неинтересно.

### 21 февраля

Леночка, представляешь, <W> считает, что я — я, представляешь? — могу быть с ней счастлив. А <Y> считает, что без <W> я не вылечусь. Я так понял: они ужасно друг друга ревнуют, но все время норовят встретиться. Ну так и завели бы светские манеры. Впрочем, никто никого не ревнует, ибо «я» — никто, функция — умрет или не умрет. И вообще странно, ты бы поглядела на меня — хотя ты, разумеется, меня видишь, — на кого я похож и что собой представляю.

А вот забавно: если я и сейчас предмет чьего-то интереса, смог бы я хоть сколько-нибудь тебе понравиться именно сейчас, с условием, что до этого мы никогда с тобой не встречались? Лежу я на диване или в кровати, в пижаме, бледный, глаз потухший, взор бессмысленный, языком еле ворочаю, жалкий-прежалкий, жить хочу или не хочу...

Наконец-то сегодня меня постригли, а то волосы вываливались клочками, конечно, из-за ядов, а вчера мне помыла голову Ирина Гордина, и стало ясно: или стричься, или сам облысею. Жолобов вызвонил Виноградову, а Виноградова послала ко мне Иру, ну да, твою гримершу. Теперь, покуда я не ходок, у меня есть своя парикмахерша. Деньги отказалась брать наотрез. Надо бы ей что-то подарить в следующий раз. А не стригся я, родная, знаешь почему? Помнишь, еще в июле я все собирался и забывал, а ты взяла и подстригла? Июль, дача, грибы, счастье, ножничками чик-чик сзади — и готово. Хотел, наверное, сохранить до конца своих дней. Ладно. Нравилась-то я тебе со своей офицерской стрижкой. Если буду жить, доведу ее вконец до белогвардейской, называть буду «дроздовской».

### 23 февраля

Ты всегда поздравляла меня и делала подарки в этот день. Тебе нравилось, что я служил в армии и являюсь офицером запаса. Все ж таки мужик. Пока был жив папа, мы обязательно садились за стол. Сегодня полгода, как тебя нет. Ужасно много. Савичев с утра подарил мне пижаму, а я даже забыл его просто поздравить. Света звонила с кладбища: у тебя много цветов. Приезжала Анжела с Наташей Егоровой, помянули тебя красным вином. Наташка смешная — вошла в комнату с долларами в руке, сказала: «Это мой долг Лене». А мне все хуже и хуже. Потом были Салимон с Ирой Мелешкевич, только вчера из Испании. Толедо, Сарагоса, Барселона. А ночью из Бильбао звонила Машка Шиманская, они с Альгисом смотрели видеокассету

94-го года, говорила: «Поехали, Сережа, в девяносто четвертый год!» Вечером пришел Мочалов, сидел и молчал.

### 25 февраля

Леночка, эпопею, как я то помираю, то меня возвращают к жизни, знаю, веселей всего было бы рассказывать тебе. Помнишь, как 13 августа мы веселились с тобой, когда я рассказывал тебе историю утомительно длинной аварии? Кстати, всякий раз по пути в клинику или домой из клиники я вижу свое дерево с ободранной корой. Через десять дней было 23-е. Начиналась кошмарная жизнь автомобилиста, кончалась жизнь с тобой. Впрочем, может быть, я никогда больше за руль не сяду. Да, чепуха, ты ведь просто уехала. Я поправлюсь — и ты вернешься.

Предстоит вторая ночь в больнице. Палата все та же, кажется, что и не уезжал. А чуть не сдох от сока из травки, предложенного мне Московитиным. Ну про Московитина отдельно. Слегка поправлюсь и опишу, как человека соком из травки ухай-докать. Из петрушки с сельдерюшкой. Да еще чужими ручками. А сейчас от слабости не пишется.

### 26 февраля

Такое впечатление, что все, что было с тобой и со всем человечеством, — твой собственный вымысел.

### 1 марта

#### Прощеное воскресенье

Прости меня, Леночка.

### 2 марта

За окном солнце. Скоро весна, а там уж и дача: грибы, велосипеды. Без тебя. И всегда с тобой. Я хочу быть с тобой и буду всегда с тобой. Я знаю, что не могу прожить твою жизнь, хотя бы свою проживу для тебя. Больше всего сейчас я хочу тебе нравиться. Я хочу написать «Стакан чаю», обязательно «Чеснок», твою «Чагу», нашу, вернее. И еще «Стакан чаю», когда в него наливается чай. Хочу нарисовать «Сладкую смерть», «Смерть в борще» — эти «смерти» не потому, что зову смерть, а потому, что еще при тебе собирался это нарисовать. Грибы хочу нарисовать, гранаты.

### 3 марта

Наконец-то понял, почему вчера вечером так хотелось шагнуть с балкона, — все-таки двадцать второй этаж, — оказывается, это мне врач утром сказал, меня накачали ядами. Потому и время было такое рваное и путаное: на рассвете мы пошли с Леночкой умыться в ручье, я сполоснул лицо, а она начала чистить зубы, я же решил вскарабкаться на противоположный берег, посмотреть, что там, поскольку ночью ничего не видел, а лес трещал, казалось, что медведь бродит, и вот я выбрался на другой берег да так там и остался, слышу, как Лена там полощется и смеется, но не вижу, застрял в кустах и выбраться не могу. Что-то меня в кустах отвлекает, задерживает, а ведь так хочется Лену увидеть. И что ж за время такое? Все ведь так и было — мы опять на Сахалине. И вот я лежу в своей палате, а торчу в сахалинском времени. Вечер.

Когда меня навещают, я словно бешеный. Не представлял, что я могу быть таким мизантропом. А ведь приходят именно ко мне. Впрочем, все реже. Вскоре, наверное, всех распугаю. Мама иногда говорила мне: «В лесу родился, пням-богу молился» — или «Будешь в лесу жить, волком выть». Я думаю, то, что находит на меня, и есть самое гнусное во мне, потому что зверею и стыжусь одновременно. И оттого еще более зверею. А ведь на самом деле я ужасно люблю тех, кто меня любит. И вовсе не стоит ссылаться на тихое помешательство от болезни и всяких ядов, тем более что болезнь моя не более чем расплата. Сережа, запомни: расплата.

### 4 марта

За окном молоко. С утра пообещали порцию яда. Вот сижу и жду. А теперь лежу.

### 5 марта

Дневник не нужен. Каждый день одно и то же. Утром — недоумение, перерастающее в ужас: что? Лена!

Анемия не спасает. Все незачем и ни к чему, если Леночки нет. Теперь все как в детском отчаянье, что мир бессмыслен. Но мы ведь встретились, забыли отчаянье — зачем? Чтоб опять в отчаянье? Бог с ним, с отчаяньем. Не пугают ни слово, ни его смысл. Ничего я не боюсь.

Страшно именно тогда, когда уже ничего не боишься.

6 марта

Знаешь, чем я занимаюсь с помощью ядов? Пытаюсь тебя забыть.

Стоит мне закрыть глаза, как вижу твои — то ласковые и внимательные, то безумные, но чаще беззащитные. Закрываю глаза — вижу твои глаза. Потому я не закрываю. Лежу с вытаращенными, пока яды не начинают свое дело: тогда вижу сразу небо, желтый песок и кого-то в тени, кто мне улыбается, этот кто-то все время меняется, то я узнаю его, то нет, но вспомнить, кого я узнавал, сейчас не могу, да и недолго я его вижу, а потом перед глазами все что угодно, главное, что там ты не умирала. А потом я просыпаюсь, вялый и безвольный, неспособный ни к каким чувствам. Вот так вот: ничего не чувствую и ни о чем не думаю. Зомби. Жизнь без любви бессмысленная и не нужная. А была ли ты?

Была. Вот сейчас яды немножко отпустили, я смотрю на город с двадцать второго злополучного этажа: вечер, огни, красные потоки, желтые потоки. Красные — туда, к нам на дачу. Как мне хочется быть с тобой — живой. Глупые любят задавать, кстати, умный вопрос: «Если бы вам была дана возможность прожить еще раз?» Достойные люди отвечают: «Я бы хотел прожить именно свою жизнь». Я именно так отвечал и так думал. Но не сейчас.

8 марта

Пока меня не подключили к яду, надо бы записать, о чем я думал ночью.

До 8 июня 1985 года я считал себя неудачником. Нет, надо написать: к июню 1985 года я убедился, что я неудачник. Первую любовь не сберег. Семью не сохранил. Детская Емасала оказалась нежизнеспособна. Гиперреализм иссяк, группа развалилась сама собой. Мне было тридцать три года и в кармане ни копейки. И самое главное: я понял, что писатель я никчемный. Во-первых, не владею словом, во-вторых, не в ладах с сюжетом — сегодня он есть, завтра он каша. Писать было ни к чему. Друзья от меня потихоньку расходились. Я жил в мастерской один. Иногда заходил Чеховской. Было так одиноко, что мы бросили пить. Ходили обедать в «Метрополь», и официант Саша наливал нам в графин минеральную воду. Нам ничего не светило, кроме как свалить из страны. Думали: вот свалим и обездолим родину к чертовой матери. Мы всячески скрывали друг от друга, что мы неудачники, потому изображали последних стилиг. Чуча говорил: «Мы — шики». Шики — от слова шикарные. Однажды он пришел и сказал: «Шерстюк, для тебя есть ведьма, она мне скрутила шею в рок-н-ролле».

Через несколько дней, когда я врисовал в «Аркадию» красный самолет красной акриловой краской, а потом стирал его с масляной поверхности ацетоном до головокружения и тошноты, я сказал себе: «Шерстюк, если ты не можешь нарисовать самолет в небе, иди подыши свежим воздухом». На Тверском бульваре я увидел МХАТ, вспомнил, что на улице Станиславского поселилась Валька Якунина, и решил: если увижу, что у нее горит свет, зайду пить чай. Свет горел, я постучал в дверь, она была не закрыта, вошел, сказал «здрасьте» и увидел Лену.

Я влюбился с первого взгляда. Лена влюбилась с первого взгляда. Она говорила, что не любит меня, но оставляла ночевать на полу. Она выгоняла меня, но я приходил опять и опять. Иногда, выгнав, бежала за мной по улице босая, а бывало, я уходил в мастерскую, пытался рисовать, но мыл чашечки, дожидаясь ее. Как-то она пришла через сутки, и мы плакали в коридоре. В августе она отправила меня в Крым, а сама уехала на Сахалин в долгий академический отпуск. Она гадала, увидимся мы или не увидимся, когда в первых числах октября распаковывала чемодан у себя в комнате, — дверь была приоткрыта, я постучал и вошел.

Меня любила красивая, очень-очень талантливая женщина. Я изображал перед ней плейбоя, золотую молодежь, хиппи и удачника, я таскал книги в букинистический, чтобы ввести ее в заблуждение, брал в долг у Чучи и клячил у родителей. Я так вводил ее в заблуждение — чуть-чуть. Это потом я ввел ее в большое роковое заблуждение. Меня любила красивая, веселая, очень-очень талантливая женщина, но и это чепуха — меня любила настоящая и такая чистая женщина, каких я более не встречал. Вот что я знал: такую, как она, нельзя даже предположить, ее не придумают даже сто лучших поэтов. Она была слишком хороша для этой жизни, но тогда это меня не пугало. Я думал, что Бог снизошел, пожалел меня за все неудачи и наградил за страдания. Всю свою предыдущую жизнь, которую я представлял Леночке цепью сплошных нелепостей, сам я полагал ужасом и горем. Теперь я не чувствовал себя неудачником, а со временем привык к счастью. Я опять решил, что все самое лучшее — мне. Когда я сообразил, что она не просто очень-очень талантливая, а гениальная актриса, было поздно — я уже всю надеялся на нашу счастливую звезду. Если честно — к тому времени я ставил нашу любовь выше ее и моей гениальности. «Гениальность, Леночка, это так просто, только не надо ждать аплодисментов, ты их любишь — получай, но чуть-чуть. Я же требую за свою гениальность много — пусть жлобы оплатят краски и блины с икрой. А очень много аплодисментов и теплоходов с устрицами — наглым посредственностям. Громким и безликим тварям. За гениаль-

ность можно пулю схлопотать». — «Ты что, трус?» — «Нет, я клоун». — «Ты ханжа и никакой не гений». Иногда мне нравилось, как она распекала меня за бездарность. Наверное, потому, что, удостоившись похвалы, я был счастлив, как ребенок. А детское счастье долгое-долгое.

9 марта

6 марта похоронили Женю Струля. А в морозы Андрей Чеховской пошел провожать жену с ребенком к метро, потом куда-то пропал, и нашли его уже в больнице без пальцев на руках — обморозил. Теперь он фотограф без пальцев. В Германии протезы стоят тридцать тысяч марок — ему ни в жисть не заработать.

10 марта

Утром намного страшней, чем вечером. Вечером надеешься, что вместе с уходящим днем кончается цивилизация, утром обнаруживаешь, что всего лишь туман не рассеивается. Уже несколько дней на балконе лежит груша — ни голуби, ни вороны ее не едят. А вот хлеб едят.

Мехти сказал, что еще два дня ядов, и сеанс окончен.

— Домой?

— Домой.

— Сразу?

— Посмотрим.

А потом опять сюда. Наташка Захарова тут целый год провела. Я тебе, Леночка, про нее рассказывал. Лет двадцать назад явился я на открытие какой-то выставки на Кузнецком мосту и влюбился в нее. Почему-то я был без очков, наверное, подрался. Вскоре я опять куда-то явился, но в очках, и мне показалось, что она вроде бы стала меньше ростом. А потом опять явился — без очков, что ли? — а она опять больше ростом. Но я еще не созрел, чтобы объясниться. Она сама мне объяснилась и объявила, что я буду ее мужем. Ну и стали мы жить вместе. Однажды она мне говорит: «Сейчас ко мне моя подружка детства зайдет, нас в одной коляске возили». Звонок в дверь, я открываю: передо мной Наташка Захарова! Я, почти падая, прячусь на кухню: а с кем же я тогда живу? Вот же она, на кухне. Варит, парит.

А живу я, оказывается, не с Наташкой Захаровой, а с Лелей Деревянко.

Сто раз потом с Наташкой обсуждали и, если честно, жалели, что я то в очках, то без очков ходил. Пить надо меньше, драться надо меньше...

Мама принесла мне письмо, приглашающее в Таиланд. На открытке напечатано такое:

*Россия, Москва, Тверская ул., д. 27, стр. 1, кв. 9*

**ШЕРСТЮК**

**ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА**

Вот ты, Леночка, и Шерстюк. Помнишь, прошлой весной, когда мы возвращались с выставки кукол, ты спросила, какая у Лельки фамилия. Я сказал: «Шерстюк». — «Значит, Лена Шерстюк?» Я засмеялся, а ты вдруг серьезно сказала: «Надо было мне взять твою фамилию. А что, чем плохо — Елена Владимировна Шерстюк?» — «Ну так за чем же дело?» — «Надо было раньше».

Господи, Леночка, пока ты была рядом, я не мог даже предположить, что такое тоска. А длаящаяся месяцами? Раньше мог бы написать «неизбывная». Непроходимая, неизбывная, неиссякаемая во сне и наяву, настоящая тоска. Тоску можно вызывать воображением — от нечего делать, из желания стилия, — избавиться от тоски воображением невозможно. Ну, во-первых, потому что его нет. Во-вторых, если чего мне и не хочется, так это воображения. А в-третьих, то, куда я попал, — невоображаемо. И пишу я сейчас автоматически, потому что, пока пишу, кажется, что я хоть каким-то образом есть...

Читал только что свою «Книгу картин» — как же было уютно в этих глупостях начала девяностых годов! Голова пухла, сердце стучало, картины писались. Начинаясь отвратительная эпоха, а я прямо-таки заходилась от наслаждения дерьмом — и уютненько было, и счастливо, дома горел свет. Возвращаясь из мастерской, я смотрел на наши окна — свет горит, чего еще надо? И какой только чепухой голова не забита — так было уютно. А не горит — тоскливо, но ничего, сейчас придешь.

Не буду больше писать, потому что не хочу быть ни хоть как-то, ни хоть каким-то. И, наверное, пора замолчать. Не говорить ничего, ни с кем. Молчать. Молчать, чтобы хоть что-то осталось. Страшно сидеть в двадцать третьем августа — а буду сидеть в нем до конца дней своих, вот что я знаю. Это мое единственное знание.

11 марта

Просыпаться не хочется. Только собрались жить, а жизнь закончилась.

По пейджеру получил сообщение:

*«Привет. Идет снег, все деревья в снегу. Все пушистое. Это доброе утро. Такой же день, такой же вечер. Пусть. Целую тебя (со слов звонящего). 10:13 AM 11/03/98».*

### *13 марта, пятница*

Леночка, вот я и дома, в который раз рядышком. Настолько во мне все плавает, что не просто кажется, что ты где-то в доме, — в ванной я даже позвал тебя помочь мне, — а это ощущаю всем своим пусть и отравленным телом.

### *16 марта, 1.03 ночи*

Тихо — и уже привычно тихо — куда-то испаряется жизнь. Зайдешь иногда на кухню, а чайник выкипел. Как хорошо не отвечать ни на чьи вопросы. Не звонит телефон. Не нужно покупать холсты и подрамники. Выдвинул днем ящик в серванте, а там Ленины лекарства, выдвинул другой — нитки, иголки, мотки шерсти, папка с проспектами Генерифе. Леночка очень аккуратная — всегда привозила карты, программки, экскурсионные проспекты, афишки, поздравления. Всё так и лежит.

Я умру — что-то тоже будет лежать, кто-то, дай Бог, будет говорить: это Сережино. Некоторое время. Потом куда-то расползется, забудется. У меня была трубка Бёрдслея — подарил дяде Юре Якутовичу, была нефритовая ручка Бердяева — подарил не помню кому. Был царскосельский учебник грамматики 1807 года с какими-то надписями — уже не помню чем и про что, — двенадцать лет назад продал в «Пушкинской лавке», по-моему, за двадцать рублей. Какая-то грамота с подписью Екатерины Второй пропала, по-моему, еще на Фестивальной. Один дневник потерял, другой сперли, третий смыла вода. Если опубликую те, что остались, — гуманисты проклянут и выкинут из истории искусств. Притом мне наплевать, кто правит бал и что все катится к концу времен.

Хорошо бы иметь в кармане всегда что-то Ленино, но я в пижаме уже три месяца. Обязательно надо сказать друзьям, чтобы похоронили меня с ее Евангелием. Каждому надо подарить что-то свое — именно шерстюковское, — а я ведь даже не знаю, есть ли у меня такое. Даже чашки любимой нет. Как-то была с подписью Раушенберга — Жолобов ее разбил. Впрочем, не жалко. Надо мою старую верную «Минольту» завещать Гетону. То, что я Лене дарил, почти все увезли на Сахалин.

В Сочи, на «Кинотавре», она сделала две кружки со своим портретом: одну тут же подарила на день рождения Сергею Маковецкому, другую — мне: с одной стороны она улыбается, с обратной написано «Я люблю тебя». Тоже увезли.

### *18 марта*

Сегодня по каналу «Культура» будет фильм «Воспоминания о Лене Майоровой». Позвонил с утра Мочалову и заказал ему фильм «Леночка» на три часа. Сказал: «Приходи за авансом. Делай не спеша и не про нас, козлов, а про Леночку, и обязательно копию для Машки Шиманской».

Вот так я, Леночка, привыкаю к тому, что тебя нет. Заходят ко мне и звонят все меньше и меньше. Был только что Пелехацкий, удивился: тебя что, в больнице постригли? Правда, он сам болел гриппом, а сейчас или «Лукойл», или «Онексимбанк» хотят разогнать всю «Неделю». Редактор Сорокин в больнице с гипертоническим кризом, потому никто не знает, выйдет ли завтра «Неделя» или нет. И даже не потому, что в больнице, а потому, что некуда мудакон из развалившейся «Столицы» пристроить. И т. д. Собрания, письма — страсти. И денег не платят. Лукойлы. Был такой Оле-Лукойе, теперь Лукойлы сказками заправляют. Короче, там, за окном, Леночка, тоска смертная — красоты уже нет, а мир пока есть. Я, если честно, и фильм о тебе уже посмотрел, а вот спокойно пишу. Ну чего мне о нем говорить — нечего, Леночка. Нет тебя там почти. А кто-то, я знаю, глядя его, плакал — правда-правда, мне звонили. Если честно, все может быть, потому что я впервые видел, как ты двигаешься. Со дня твоей смерти я видел только твои фотографии. И раза три во сне. Не записывал сны по причине страха. А сейчас если что мне и снится, то я ничего не помню. О, яды!

### *19 марта*

Утром просыпаешься, молишься, завтракаешь и хочешь пошутить. Не спеша. Потянуться, зевнуть и спросить: «Ну и что вчера Шкаликос учудил?» — или: «Как там Мишка Ефремов?» Незаметно втянуться в узнаваемые подробности, пристроиться за трельяжем, наблюдая легкий макияж, зевнуть, чтобы услышать: «Просыпайся и иди в мастерскую. Иди-иди работай, художник» — и... пошутить. Чтобы поймать в зеркале твой сердитые глаза, готовые брызнуть мне в самое сердце — от смеха. Ах, как не вовремя — ведь ты спешишь на репетицию, и нога твоя меня сводит с ума, и рука на ноге, и губы, вытягивающиеся к губной помаде, я скребу пальчиком по твоей шее, ты прижимаешь к губам указательный пальчик: «Вечером». Ах, какой мучи-

тельный день до самого вечера! Это ж сколько всего придется делать, а сколько не придется — именно потому, что «вечером».

Пойду в мастерскую не спеша, разглядывая все, что попадется, но дел не буду делать никаких. Ничего делового. Красить картинку, пить кофе, слушать музыку, красить, но дел — ни-ни. Важная встреча, давно где-то ждут — ни за что, потому что «вечером». Провырнуться с кем-нибудь по бульварам, обсуждая подвернувшуюся чушь, придумать устрашающую картину мира, еще более мрачную, чем вчера, попить пива, вернуться в мастерскую, покрасить, разойтись вечером всюю — и домой. А вон и свет в моих окнах. Что поделаешь — такая у меня вечность. Вчера, разговаривая с Гетоном по телефону, придумал, что настоящему мужику мало иметь готовое завещание, необходимо, чтобы в случае кончины, войдя в комнату усопшего, на столе обнаружил готовый мемориальный фильм. Чтобы не потом, после смерти, какие-то малозначащие в жизни усопшего люди рассуждали о глубине его проникновения в сокровенное, а кто-то в кадре пускал слезу, а кто-то с камерой на бюджетные средства бродил по указанным улочкам, нет, чтобы с ходу на бетмаксе был уже готовый фильм...

Я придумал, что в своем фильме я ни разу не должен быть трезвым и глубокомысленным, а всего-то и нужно, что собрать кассеты всех моих друзей и записать только пьянь, кураж и глупость. Деньги, сэкономленные автором, перевести в вырезатель № 15. Правда — вещь более волшебная, чем деликатность. И хоть и это не вся правда, но ведь подлинную кассету у Бога не выпросишь...

Леночку на велосипеде я вчера так и не увидел. Я не в претензии. Леночка на велосипеде — эзотерическое знание. Леночка на велосипеде спасала мир. А Господь раздумал его спасать, потому и спрятал от всех, как она носилась по дорожкам средней полосы России, — потому что у того, кто это мог видеть, разница между красотой и духом совершенно стиралась. Я это видел. Я знал, что разницы нет и можно жить вечно. Я даже забывал о страхе, что мы с Леночкой просто совпадали по времени — что в мое земное просто попал кусочек ее небесного. Мол, так надо, Сережа, лови мгновение! Я думал, что я уловил его навсегда. На эту жизнь и на ту. Дудки! Ты был и есть, Сережа, счастливый человек: тебе разом показали и землю, и небо, да с какой любовью.

— Я с тобой, Сережа.

— И я с тобой, Леночка.

— Не ной и выздоравливай. Земное время — тоже счастье. Тяжело без меня?

— Да, очень. Я не могу без тебя.

— Научись.

— Сколько же мне учиться?

— Все оставшееся время.

— Поговори со мной.

— Я много не могу. Чуть-чуть. Сережа?

— Да.

— Сереженька?

— Я слышу, Лена, ну еще чуть-чуть...

Вот и все, тишина, тикают над кроватью часы. Дуська с мурлыканьем вошла в комнату, трется о мои ноги. Развалилась на ковре и колышет задницей. Весна. Пора давать контрасекс. Еще до того, как мы нашли мертвого кота Толю, я вдруг бросил велосипед, упал в поле и рыдал: я понял, что Толя умер. Как же мне вдруг стало страшно: наш умный и благородный Толик умер, а ты на Сахалине. Вода смыла то, что я писал в дневнике в ту ночь. Утром мама нашла Толю в колодце у Галима. Потом какая-то маленькая девочка мне сказала, что жердочка под ним перевернулась и он упал в колодец. «Что ж ты не позвала никого?» — «А я не знала, что он ваш».

Помнишь, как я сообщил тебе, что Толя умер? Ты не успела еще распаковать чемодан, мы еще толком не прижались друг к другу, и я вдруг понял, что еще час, и я сойду с ума, я выпалил: «Толик умер». «Что?» — закричала ты и упала на пол. Бедная Леночка, я так и не сказал тебе, что он утонул в колодце. «Он умер от старости», — твердил я. Ну вот сейчас я набрался смелости и сказал правду. Нашли мы его 6 августа 96-го года. Было ему чуть более десяти лет, и все он прожил с нами. С того дня, как мама заглянула в колодец и закричала: «Сережа, Толя утонул!» — тревога не покидала меня. Не покидает и сейчас, хотя, казалось бы, с чего?

## 20 марта

Впервые за долгие дни проснулся не от того, что выпалел или вдруг врач пришел, а от сна. Сон, надо сказать, еще тот. Зойка Ильина полетела в Иерусалим, там помолится за нас. Зажег иерусалимскую свечу, не из тех, что привезли, — тех всего две осталось, — а из тех, что привезла Таня Васильева, а Феклистов мне передал. Вчера

звонили ночью Боря Щербаков и Таня Бронзова — они даже не знали, что я болею. Во МХАТе, я думаю, если человек болеет, он просто исчезает.

И вообще, Леночка, сейчас лучше всего улучшаться: улучшать жилье, здоровье, социальный статус. Кто успеет сейчас улучшиться, будет жить сто лет. Представляешь, Леночка, и у меня есть такой шанс: не помереть, улучшить здоровье, купить до мину или что-то другое и жить до ста лет. Но если представить, что я и половину из них не прожил, то подкрадывается к сердцу почему-то склизкая лапа и начинает, как клизму, сдавливать. Страшно. Именно прожить страшно.

— Ну что, помнишь меня, Сережа? Просто так, средь бела дня?

— Конечно. Мне почему-то Сахалин твой покоя не дает. Помнишь то место, на Крым похожее и на Los Abigos на Тенерифе, нас чуть было там песком не занесло? Мы так разомлели от коньяка и солнца, что едва не прозевали буран. Именно ты проснулась и выволокла нас из песка.

### 21 марта

Вот уж чего я не ожидал: депрессии с колотуном и полного помутнения мозгов, — в мозгах именно муть, ни за что не могу уцепиться, чтобы просто лечь, вперившись в потолок, и лежать. И тебя, Леночка, как будто и не было, и все же была, и горькая обида: почему сейчас не со мной? Только бы провела по лбу рукой — и все прошло бы. Неужели был столь плох, что со мной более незачем было оставаться? Ну просто для того, чтобы побыть. Чтобы просто рядом посидеть? Ответ прост:

— Что ж ты сам не посидел? Почему на дачу поехал? Вот и я поехала — по-вашему — на дачу. Давай теперь выкарабкивайся.

### 22 марта

Пора одеваться и идти в мастерскую вставлять выбитые стекла. Заодно гляну один дневник в тетрадке «Совершенно секретно», есть такое подозрение, что он не пропал.

### 23 марта

Знаешь, для меня ты совершенно-совершенно жива. Я был сегодня у твоей могилки, воткнул в снег восемь роз, положил за крест яблоко, банан и гранат. Помолился, пока Базиль своим американским ножичком обрезал ростки у японского клена, — ничего, я приеду с пилкой, так что к лету куста не будет, а будет стройная крона.

Ты совершенно жива, Леночка.

### 27 марта

Леночка, родная, я поздравляю тебя с Днем театра. Тетрадь заканчивается. Я люблю тебя.

*Подготовка текста Игоря КЛЕХА при содействии  
галереи «Манеж» и журнала «Золотой век».  
Публикация Светланы САВИЧЕВОЙ.*



*Пока не требует поэта...*

Александр МЕЛИХОВ,  
Андрей СТОЛЯРОВ

---

## Богач, бедняк

### *Человек в Зазеркалье*

**Андрей Столяров.** Через нищету проходят все начинающие писатели. Это следует считать общим правилом. Проза требует колоссального времени. Чтобы написать одну страницу от замысла до чистовика, по моим подсчетам, уходит не менее трех часов. На роман объемом 450—480 страниц требуется, таким образом, 1400 часов. Даже если писать по десять часов в сутки, это все равно 140 дней, почти пять месяцев. Срок вроде бы небольшой, но работающему прозаику, т. е. совмещающему писательство с какой-либо службой, более четырех часов в день наскрести практически не удастся. Значит, время написания произведения увеличивается до 350 дней. Почти год. Это если садиться за письменный стол в праздники и выходные. Это если освободиться от многочисленных бытовых обязательств. Это если пишется каждый день, что тоже бывает не часто. А ведь писателю, кроме того, нужно читать и думать...

**Александр Мелихов.** Уж до того нужно!.. И было бы совсем трудно выкраивать на это время, если бы чтение и размышления были трудом, а не наслаждением. Вернее, пищей, без которой жизнь угасает в считанные недели.

**А. С.** Время требуется для хождения по издательствам и журналам. Время нужно для разговоров о литературе. Время необходимо для доработки своих первых произведений, потому что внезапно с ужасом обнаруживаешь, насколько они слабы. Свои первые произведения нужно вообще безжалостно уничтожать. Писатель начинается лишь со второй тысячи машинописных страниц. Все это совмещать с какой-либо другой деятельностью — адское напряжение. Именно поэтому каждый писатель старается бросить службу при первой возможности. Что сразу же приводит к весьма скудному уровню его жизни. Он оказывается в Зазеркалье, в том странном мире, где деньги почти ничего не значат. Иногда он оказывается там на несколько лет, иногда — на всю жизнь, но любой серьезно пишущий испытал это на себе. Правда, изредка удается найти какой-нибудь дополнительный заработок.

**А. М.** Работа в советском НИИ была вполне способна обеспечить такой скудный уровень жизни — я выбрал эту школу. И держался за нее до последней возможности. Я был убежден, что писатель должен собственной шкурой быть включен в жизнь нормальных людей, мне казалось, что если я сделаюсь таким экзотическим маргиналом, то утрачу связь с самым главным и буду обречен выдумывать некие искусственные схемы, интересные тоже лишь экзотическим маргиналам. А пожалуй, даже им неинтересные, потому как и из них каждый поглощен собственной экзотичностью. Возможно, я был неправ, но мне так казалось: или ты живешь как полноценный человек и создаешь что-то органичное, или ты противостояшь естественной жизни и выкрутасничаешь, стараешься позамысловатее замаскировать свою зависть к ней.

---

В предыдущем номере «Октября» был опубликован первый диалог — «Писатель и власть». Сейчас мы предлагаем вниманию читателей продолжение разговора — «Писатель и деньги».

Поэтому мне было необходимо и успешно работать, и писать. Это, конечно, требовало кое-какого напряжения, но не адского. До Мартина Идена было далеко. Адское напряжение мне вообще случалось испытывать лишь там, где что-то делают, но никогда где что-то делают. Более того, занятия наукой давали отдохновение от вечной неудовлетворенности, неотделимой от творчества. Сначала ты более или менее доволен собой, но тебя не печатают. Потом начинают печатать, зато тебе уже самому кажется, будто выходит совсем не то, что грезилось. А вот в математике если уж ты решил задачу, значит, решил. Работа — это ведь не только средство зарабатывать деньги, работа — это еще и психологическая защита: я что-то умею, меня кто-то ценит, я не хуже других, а кое в чем и получше. От бурь и неудач (полуудач) литературы я возвращался в математику, словно из вокзальной толкотни, бестолковщины и хамства — в чистый, уютный дом. В математике, конечно, тоже хватает и ревности, и интриг, и попыток опорочить работу соперника, но в сравнении с литературой все это детский сад. И деньги для меня в ту пору были не просто «платежным средством», но еще и доказательством моей полноценности: я занимаюсь литературой не потому, что ни на что другое не гожусь, а потому, что сам этого захотел. И во время отпуска меня тянуло в какие-то суровые края, на всевозможные тяжелые и опасные заработки — видимо, хотелось доказать себе, что я все-таки еще и мужчина, а не только бессильный искатель редакторских милостей. И заработанных денег старался на себя почти не тратить — оторвал полбатона под кружку воды с сахаром — и хватит: эта волчья недокормленность меня только тешила, когда я знал, что сумел-таки обеспечить своим детям каникулы «не хуже людей». Для меня это был больше вопрос самолюбия, чем родительской любви, поскольку и счастливое и несчастливое детство, верил я (и сейчас верю), создается отнюдь не деньгами.

**А. С.** И вместе с тем нищета плодотворна. Она обостряет и физические, и духовные страсти. Ведь Иаков не зря семь лет служил ради Рахили. При служении возникает чрезвычайно важная привычка к самоограничению. Чтобы чего-то добиться, этого надо очень хотеть. Надо уметь отказываться ради этого от мелких радостей жизни. Большинство начинающих авторов не становятся писателями только по одной очень простой причине. Они не согласны ничем пожертвовать ради достижения цели. Им не хватает страсти. Они не способны встать выше простейших жизненных благ.

**А. М.** Bravo! Наконец-то я слышу, что и от писателя требуются какие-то волевые качества: мы не проиграли, пока не начали обвинять других. А то в последнее время больше приходится слышать жалобы на измельчавших читателей, ушедших в свои будничные заботы, да еще проклятия золотому тельцу. Похоже, многие начинают забывать, что деньги — только средство ускоренного, упрощенного обмена и увеличение роли денег есть не что иное, как расширение свободы человека распоряжаться продуктами своего труда. По плечу ли человеку быть свободным, не превращаясь в животное или самоубийцу, — вопрос открытый. Но последовательные мыслители, начиная, возможно, с Платона, метили в истинную цель — в свободу, а не только в техническое средство ее реализации — деньги.

Так или иначе у нас на сегодняшний день почти единственный способ защитить внерыночные культурные ценности от напора коммерческого духа — не впускать его в собственную душу, борьбу с коммерциализацией начать с себя. Рецепт сформулировал еще Пушкин: не продается вдохновение, но можно рукопись продать. А если не покупают? Написать еще одну. А если от обиды пропало вдохновение? Вопрос нелегкий... Снести безответную любовь к читателю во всех отношениях непросто, в том числе и в материальном. Бедность не порок, но нищета — порок-с — тем, что особенно жестоко «унижает сердце нам она». И тогда уже мы, а не читатели — вернее, и мы тоже — погружаемся в расчесывание своих обид и утрачиваем способность жить в собственных воображаемых мирах. Способность, которая, собственно, и делает нас писателями. И дает нам возможность быть более стойкими в сравнении с нашими читателями — им-то ведь труднее укрыться от реальности, возместить фантазией утрату маленьких жизненных радостей.

И если мы сумеем — хотя бы и не сразу, хотя бы через годы — отнестись к бедности как к эстетическому феномену, она, как и все на свете, может стать источником вдохновения. Не сумеем — она, как и все на свете, может убить наше творчество. Его убивает любая реальность, которая окажется в силах заслонить те фантомы, которые мы творим и которыми живем. Деньги — далеко не самая напористая сила из тех, кои припасает для нас реальность: есть еще здоровье, наше и наших близких, есть мнение профессиональной среды, которого тоже не купишь, но гоняться за которым очень опасно, а игнорировать нельзя... Да есть еще и просто расположение нашей души! Гамсун из своего голода создал роман «Голод», но больше никто этого не сумел. Хотя голодали тысячи. Главная беда, главная опасность бедности — она стремится сделать нас прагматиками, заставить смотреть на вещи с единственной точки зрения: а какую пользу они нам могут принести? Прагматизм — это для писателя неизбежная потеря квалификации, как выражался Зоценко.

**А. С.** Как можно существовать в этот период? Обычно писателей на первом, самом трудном этапе содержат близкие. Это традиционный, освященный временем способ продвижения в литературе. Когда я женился, я честно предупредил свою будущую жену, что в ближайшие несколько лет зарабатывать ничего не буду. И она «тащила» меня довольно долго, без возражений, надо сказать, пока не пошли первые публикации.

**А. М.** Бернارد Шоу, пускаясь в литературное плавание, по его собственному признанию, решил на то, чего устыдился бы любой деревенский парень: он решил жить за счет матери, пока не достигнет успеха. И успех пришел не слишком скоро. Тем не менее я целиком на его стороне — Шоу, конечно, а не успеха.

Гоголь тоже обходился довольно дорого своим друзьям-почитателям и тоже более или менее оправдан в своей бесцеремонности, потому что он Гоголь. Оправданием иждивенчества писателя могут быть только его произведения. Если они слабые, значит, ему не повезло, и судьба судила ему быть самонадеянным паразитом. Впрочем, не повезло и тем, кто его содержит.

Я не считаю главным достоинством писателя бытовое чувство собственного достоинства: если он горд, но бездарен, он все равно социальный паразит, замусоривающий эстетическую среду. А если он живет за чужой счет, как Ван Гог, и создает шедевры — честь ему и хвала. Но что касается лично меня, я не настолько высоко ценю свою прозу, чтобы отказаться от феодально-байских пережитков, в коих воспитан: жить за счет жены — и счет притом далеко не роскошный — было для меня очень мучительно, когда на рубеже девяностых перестали кормить сразу и математика, и литература. Тем более что предыдущие лет пять меня сильно разбаловали: оба источника струились довольно стабильно и обильно. Перестройка — это была золотая для писателей пора: партия предоставляла нам бесплатные типографии, бесплатную бумагу, а мы на этой бумаге дули ее в хвост и в гриву. Мало кто понимал, что наши гонорары обеспечиваются читательской несвободой. Я, увы, понимал и не питал иллюзий, что литературные заработки сохранятся в сколько-нибудь крупном размере. Поэтому подвернувшаяся должность «верблюда» — полугрузчика-полуохранника при безработной инженерше, занявшейся челночным бизнесом, — при всех сопутствующих тяготах и опасностях вернула крепость моему ослабевшему духу. Зарабатывая на кусок хлеба со сравнительно тонким слоем масла, я побывал в Польше, Венгрии, Сирии, Турции, Италии, Греции и освежил в памяти поистершуюся от спокойного существования истину: в жизни неизмеримо меньше страшного, когда относишься к ней как к увлекательному приключению. Иначе говоря, опять-таки как к эстетическому феномену, как к материалу для преобразования, раскрашивания, комбинирования...

Это тот выход, тот невидимый праздник, который всегда с нами, покуда мы не позволили реальным нуждам подмять под себя наш творческий инстинкт. То есть опять же не начнем рассматривать явления лишь с точки зрения приносимой ими практической пользы.

Относиться к деньгам без юмора — это вообще свидетельствует о некоторой душевной убогости, но для писателя чересчур серьезное отношение к ним — неиз-

бежная потеря квалификации. Для гигиены духа лично я мог бы порекомендовать собственный метод: замечая в себе чрезмерный интерес к какой-то несущественной, ничего не определяющей в твоей жизни сумме, штрафовать себя на эту сумму — раздать нищим, благо они всегда под рукой, сделать кому-то маленький подарок, кого-то угостить... И убедиться, что любое из этих дел доставляет куда больше отрады, а главное — раскрепощения.

### *Гонки по вертикали*

**А. С.** Поэтам на литературу прожить нельзя. Хотя отдельные стихотворцы в этом неплохо преуспевают. Есть литературные премии, которых в Москве великое множество, есть стипендии, есть гранты на литературу, есть помощь различных благотворительных фондов. Наконец, есть переводы на иностранные языки, за которые пусть немного, но все-таки платят. Правда, это при том важнейшем условии, что знаешь, куда и как обращаться. Если имеешь примерно таких же литературных приятелей, для которых «мир грантов» и зарубежных славистов знаком как свои пять пальцев. На постановку такой «системы» уходит, по-моему, лет десять — пятнадцать. Однако это при одном неперемennom условии — жить надо в столице. Из провинции в этот «круговорот» попасть чрезвычайно трудно. И все равно он не для каждого страждущего, а лишь для избранных. Всему остальному множеству безвестных поэтов хочешь не хочешь придется искать себе дополнительную работу.

**А. М.** Фонды, стипендии, гранты — жуть берет... Сразу начинаешь чувствовать себя младенцем в темном лесу. Нет-нет, я совсем не против стипендий и грантов, когда они сами собой сваливаются на голову. Год назад Союз российских писателей определил мне президентскую стипендию, на одну лишь ее прожить трудно, но прибавка заметная; потом «Нева» выхлопотала соросовский грант на исследование проблемы самоубийств, и это тоже не вызвало во мне ни малейшего протеста. Но ставить на фонды и гранты как на некий более или менее постоянный источник дохода... Я совсем не ханжа: кто может вместить да вместит. Если кто-то способен рыскать в этом лесу и одновременно создавать стоящие вещи, — значит, он истинный любимец муз. Тот же Гоголь домогался денежных пособий у императора, казнившего декабристов, и тратил их на создание шедевров. И в итоге Гоголь «использовал» Николая, а не Николай Гоголя.

**А. С.** С прозаиками дело обстоит несколько иначе. При развитом книжном рынке, на Западе, например, гонорары у авторов вполне достаточные, чтобы жить. А при малейшем коммерческом успехе они стремительно возрастают. Ньют Гингрич, скажем, заключил контракт на две книги с авансом 4,5 млн. долларов. Литературный доход Энид Блайтон составлял — в пересчете на современные цены — примерно 2 млн. фунтов стерлингов в год. Мартин Эмис, автор романа «Информация», отказался от услуг своего литагента только потому, что тот не обеспечил ему сумму контракта в 500 000 фунтов. Марша Кларк заключила договор с издательством «Викинг» на сумму около 3 млн. долларов. Эмма Теннант заключила контракт с издательством Святого Мартина на сумму в 4,5 млн. долларов. Договор Джеффри Арчера на три ближайших книги оценивается в 25 млн. долларов. Триллер Питера Брауна куплен компанией «Мэнделэй Энтетаймент» для постановки фильма примерно за 3 млн. долларов. Энн Райс заключила контракт по выпуску книг на семизначную сумму. Книгу Петру Попеску за 1,75 млн. долларов приобрело издательство «Морроу». Один не слишком известный у нас американский фантаст говорил мне, что последняя его книга прошла не очень удачно. Он получил за нее всего 350 тыс. долларов. Я намеренно указываю здесь практически неизвестные у нас имена. Видимо, даже не первоклассный западный автор зарабатывает вполне прилично. Беда литературной России — неразвитость книжного рынка. Книга не попадает к тому читателю, которому она предназначена. Я, например, твердо знаю, что у меня есть шесть тысяч читателей-москвичей. Я это знаю, потому что первые шесть тысяч экземпляров моей прошлогодней книги «Боги осенью», по словам книготорговцев, продавались как бы сами собой. Остальные пять тысяч уже пришлось продавать спе-

циально. Однако если бы ту же самую книгу удалось продвинуть не только в Москве, но и по всей стране, тираж, как мне кажется, был бы значительно выше. Соответственно возросли бы и литературные гонорары.

Теоретически даже в России на литературу жить можно. Толстые журналы платят сейчас примерно тысячу рублей за авторский лист. (Лист — это 24 стандартных машинописных страницы.) Издательства платят автору средней известности за книгу в 20 листов при тираже 10 000 от 15 до 25 тысяч рублей. В целом с некоторым трудом, но на жизнь хватает. Правда, при одном условии: автор должен писать не менее 20 листов в год. Ежегодно, несмотря ни на что, выдавать в чистовом варианте 480 машинописных страниц. На такой подвиг, естественно, способен не каждый. Разве что фантасты и детективщики, запросто поставляющие на рынок вдвое и втрое больше. Не случайно их называют писателями-килобайтниками. Но об этой псевдолитературе — разговор другой.

**А. М.** Особых шедевров со стороны творцов этих жанров пока что вроде бы не наблюдается, но вместе с тем и преступлений особых они не совершают: морочить голову тем, кто этого желает, — это, конечно, тоже засорение эстетической среды, но по крайней мере заранее заказанное и строго регламентированное. Суета же по добыче литературных субсидий в моих глазах имеет другой огромный минус: я убежден, что писателю смертельно опасно слишком долго находиться в зоне беспомощности, в той зоне, где он чувствует себя бессильной игрушкой каких-то малопонятных канцелярских стихий.

Чтобы покуситься в своем творчестве на масштабную проблему, осмелиться на стилистическую непривычность, необходимо хотя бы временно ощущать себя тоже крупным и сильным. А постоянные мелкие поражения в столкновениях с некими социальными институтами, которые при всем желании невозможно уважать, рождают в тебе ощущение собственной мелкости и слабосильности, исключаящее даже подобие «дерзания». Чтобы вписаться в какие бы то ни было социальные структуры, необходимо очень долго разноухивать, где, кто, чем и за что жалуется, искать «выхода» на нужных людей — вполне, может быть, достойных, но слишком уж частных лиц... Если начнешь кому-то угождать, следить за модами, вместо того чтобы ориентироваться по неподвижным звездам, — тебе конец. Я уж не говорю о том, что, соперничая с другими ловцами удачи, очень трудно удержаться от зависти к более удачливым, ведь только в творчестве каждый неповторим, а в дележке денег все одинаковы, и притом всем сразу очевидно, кто победил, а кто проиграл, дележка — чудовищное упрощение структуры мира. Тут оглянуться не успеешь, как из обитателя собственных вымышленных миров превратишься в шустрилу, запертого в не самом воодушевляющем уголке реальности.

Нет, сильным и могучим, я, повторяю, все по плечу — и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений, и политические многоходовки, и бескорыстные вдохновения, — я говорю о слабых и шатких, бесчисленных, как песок морской. Таким (в том числе и мне) абсолютно противопоказаны сферы дележа, в которых начинаешь чувствовать себя маленьким и ничтожным. Если что-то перепадет от небожителей само собой — возблагодарим небеса, нет — у нас своих дел довольно. Я еще на заре своей литературной карьеры настрого запретил себе смотреть на прозу как на источник дохода: не хватало еще ко всем неизбежным огорчениям литературной работы присоединить ощущение безнадежной ее убыточности. Зато теперь каждый принесенный ею грош представляется мне удачей, притом не слишком заслуженной. И удач этих оказывается не так уж мало — гораздо больше, чем я когда-то надеялся. Нечто среднее между пенсией уборщицы и нынешним жалованьем профессора. Жить можно. В том смысле, что с голода уже не умрешь.

**А. С.** Ты, Саша, оказывается, вполне прилично живешь. И стипендию президентскую получил, и грант, и литература тебе что-то приносит. А что делать автору, который не способен добиваться грантов или стипендий: кланяться начальству в своей писательской организации, поддерживать приятельские отношения с людьми, которые ему не слишком приятны? Ведь без этого никаких грантов или стипендий не будет. Такому автору, вероятно, остается надеяться исключительно на себя. Вста-

вать в шесть утра и, несмотря ни на что, писать положенное число страниц. Получив отказ в одном журнале, немедленно переправлять произведение в следующий. Искать издательство, готовое рискнуть и выпустить его книгу. Не ходить на писательские тусовки, где делят «литературный воздух». Добиваться, чтобы тебя в конце концов полюбили читатели. Ведь для этого совершенно необязательно гнать явную коммерцу. Традиции культуры и чтения в России никуда не исчезли. У нас достаточно квалифицированных читателей, чтобы обеспечить писателю вполне приемлемые тиражи. Миф об «элитарной литературе», которая непонятна «толпе», не более чем красивый миф. Он утешает тех авторов, которые пишут исключительно для критиков и «направлений». Книга, которую не читают, просто не существует. И, конечно, писателю следует подыскать себе некий побочный заработок. Прежде всего такой, который будет оставлять ему время для занятий литературой.

**А. М.** Чистая святая правда: книга существует лишь до тех пор (и с тех пор), пока ее читают. Но то, что Музиль, Пруст, Джойс, Кафка непонятны толпе, правда еще более святая.

### *Как выжить в России*

**А. С.** Писателю требуется весьма специфическая работа. Например, чрезвычайно рискованно, на мой взгляд, заниматься литературной поденщиной. Конечно, автор может время от времени писать статьи, если ему есть что сказать, или отредактировать рукопись для издательства. Журналистика и редакция могут принести определенный доход. Есть газеты и еженедельники, которые довольно прилично платят за публикации. Существуют издательства, с которыми можно договориться о неполной рабочей неделе. Многие писатели, как я знаю, пытаются зарабатывать именно так. Однако подобного рода занятия, по-моему, слишком опасны. Это все-таки чересчур близко к творчеству, из которого до бесконечности черпать нельзя. Можно найти красочный оборот для собственного произведения, а можно использовать его в чужой рукописи или переводе с английского, можно вложить определенные мысли в уста персонажа, а можно — в заметку или статью, о которой на другой день все забудут. В первом случае появляются свои рассказы, повести и романы, во втором писатель растрачивает себя на нечто случайное. И в конце концов как автор он вообще исчезает. Появляются журналист, публицист, переводчик, квалифицированный редактор. Но ведь не за этим же он когда-то отправился в плавание. Нет, писателю лучше найти работу, не связанную с литературой.

**А. М.** Это верно, да где же ее взять! Научная работа сама требует дополнительной работы, челночный бизнес после «черного августа» увял, для работы грузчика, плотника, землекопа, сопровождавшей мою молодость, несколько увял я сам — потянул бы разве что на неполный рабочий день. Остается только газетная публицистика. В петербургских газетах за машинописную страницу платят двадцать рублей — примерно четверть отдаешь машинистке. Но в Москве, как правило, страница стоит не меньше ста: два подвала, и зарплата сэнэса у тебя в кармане. В принципе эта работа мне по душе, я все равно постоянно размышляю над социальными проблемами. Опасность только в том, что, обдумывая статью, уже не можешь обдумывать роман. Более того, ясность, последовательность, доказательность, являющиеся достоинствами публицистики, при самой незначительной передозировке убивают совершенно необходимые прозе глубину и неоднозначность. Требуется несколько дней, чтобы снова сдвинуться от четкости к образности, от информативности к красочности.

А может быть, недостаточно и дней, может быть, постоянно работая в публицистике, ты неизбежно опрощаешься и становишься полупригодным для лирики и пластики — кто знает. Но выхода я не вижу. Жизнь, сопровождаемая ощущением своей неполноценности, неспособности стоять на собственных ногах, дисквалифицирует еще сильнее.

**А. С.** Изредка у писателей случаются заказные работы. Например, написать детектив в качестве «литературного негра». То есть не ставя при публикации своего

имени на обложке. Некоторые издательства весьма охотно покупают такие рукописи. Далее произведение выходит под фамилией уже раскрученного детективщика. Или еще можно сделать «романизацию» какого-нибудь известного фильма. Переписать его на бумагу с экрана, превратив таким образом в некое литературное произведение. Подобные книги идут на рынке очень неплохо. Но опасности, к сожалению, здесь те же самые: тратишь «состояние творчества» черт-те на что. Кроме того, платят за это очень мало и неаккуратно. Я еще осенью прошлого года сделал для московского издательства «АСТ» небольшую романизацию популярного телевизионного сериала «Секретные материалы». Уж близится новая осень, а денег от «АСТ» нет. Иногда слышу, что главный редактор издательства съездил то во Франкфурт на пару дней, то на неделю в Лондон. Видимо, издательству не до такой ерунды, как авторские гонорары...

Существует еще менеджерская работа в литературе. В качестве побочного заработка она опять-таки не годится. Я, например, провел за последние годы семь довольно крупных конгрессов и конференций, но ни разу мне не удалось заработать денег хотя бы на полгода вперед. Полгода — это срок, за который можно написать роман средних размеров. В лучшем случае — на три месяца, причем один из них уходил на то, чтобы просто прийти в себя. Творческое состояние писателя довольно зыбко. Нельзя уронить рояль, а потом играть на нем как ни в чем не бывало. Требуется какое-то время, чтобы заново его настроить. И чем чаще роняешь, тем больше сил уходит на последующее восстановление. В конце концов наступает момент, когда настроить этот рояль уже невозможно. Тогда писатель перестает писать вообще и начинает «организовывать литературный процесс». Зрелище довольно печальное, особенно если когда-то это был талантливый писатель.

Или можно стать, например, «литературным завхозом». Организовать нечто вроде «центра современной культуры», выколотить под него деньги и помещение (а «под культуру» деньги иногда получить удастся), устраивать там творческие вечера, проводить дискуссии типа «Литература на пороге третьего тысячелетия». В целом неплохо существовать при этом вполне коммерческом предприятии. Я знаю людей, которые следуют именно этим путем. Однако судьба «завхоза» еще печальнее судьбы литературного менеджера. «Центр», как правило, быстро становится маленьким союзом писателей. Сам «завхоз» — его бессменным генеральным секретарем. Приличные люди оттуда понемногу уходят. И в конце концов все это протухает до полного омертвления.

**А. М.** Для меня эти люди представляют загадку. Казалось бы, не так уж много радостей доставляет нам наша склонность сочинять, но при мысли утратить ее, вероятно, большинство писателей испытывают ужас. Сходным образом мужчин страшит половое бессилие, хотя любовные страсти причиняют им массу беспокойств.

**А. С.** Видимо, любить надо не слишком часто, но искренне. А любить с утра до вечера да еще и за деньги — это верный путь к творческому или иному бессилию. Литература и в самом деле сродни любви. Жить все-таки надо на гонорары, а любые другие деньги лишь медленно отравляют писателя.

**А. М.** Да, но где эти гонорары взять?

**А. С.** Здесь надо иметь в виду следующее обстоятельство. Прозаик, если он действительно пишет, просто обречен на успех. История литературы показывает, что если автор непрерывно и серьезно работает, если он делает это на пределе возможностей и не разменивается на пустяки, если он не халтурит, чтобы побыстрее выпустить книгу, и если он честен хотя бы с самим собой, то он рано или поздно добивается коммерческого признания. Одна из его книг вдруг привлекает внимание. Как сказано в биографии Германа Мелвилла: успех ему принес шестой роман. Это может быть признанием у читателей, и тогда деньги приносит рынок. Но это может быть и признанием профессиональной литературной среды. Тогда книга издается, пусть крохотными тиражами, но во множестве стран, а сам автор начинает получать небольшие гонорары и гранты. Вот единственное, на что можно надеяться. Добились другие — значит, есть шанс, что получится и у меня. «Непризнанный гений» — это утешение тех, кто уже давно сдался. В литературе непризнанных гениев нет.

**А. М.** Разумеется, поскольку в этом случае мы не называем их гениями. История литературы демонстрирует нам разные варианты: схема «гений умер в нищете» веками воодушевляет творческую молодежь. Но психологически установка «рано или поздно справедливость всегда торжествует» для кого-то может оказаться плодотворнее, чем, на мой взгляд, более верная формула «успех невозможен без участия случая». Однако успех — это максимум *возможного*: если не замахиваться на неосуществимое, может оказаться, что и наши дела идут не так уж плохо.

**А. С.** Рассчитывать только на малое — значит только малое и получить. Если автор не ощущает хотя бы проблеска гения, ему вообще не следует браться за перо. Создание книги напоминает создание собственной художественной религии. Писатель чувствует некую истину и старается возвестить ее как можно большему числу людей. Он до некоторой степени выступает в роли пророка. А пророки, пусть даже литературные, способны творить чудеса. Конечно, надеяться, что чудо произойдет, немного наивно. Но ведь в том-то и дело, что чудо в конце концов действительно происходит. Чудом был роман «Убить пересмешника», отклоненный первоначально несколькими издательствами. Чудом был «Мост через реку Квай» — предыдущие книги Пьера Буля проваливались одна за другой. Чудом из неизвестного ранее Милоша Павича возник автор «Хазарского словаря». Чудом были «Сто лет одиночества» и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Литературе вообще свойственны чудеса. Этим она привлекает читателей, и только благодаря этому она живет до сих пор.

**А. М.** Для кого-то более продуктивно верить в чудо, для кого-то — вообще ни во что не верить, сосредоточиться на работе, не позволяя себе размышлять о предметах, от тебя не зависящих. Прольются откуда-нибудь деньги — сумеем перенести и это испытание, самое, говорят, тяжелое из всех, не прольются — и так проживем. Жизнь, к сожалению, постоянно обрушивает на нас ужасы и радости, совершенно несопоставимые с литературными приходами и расходами.



Валерий ШУБИНСКИЙ

## Семейный альбом

ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ  
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Русская литература 1930—1950-х годов (а именно этот период нас интересует) развивалась в трех почти не сообщавшихся друг с другом руслах. В последние годы больше всего работ посвящалось тому из них, которое до сих пор было почти полностью закрыто — «внешней» эмиграции. Два других — эмиграция «внутренняя» и советская литература. Граница между ними была поначалу довольно зыбкая: практически не было автора, который так или иначе не «отметился» бы в казенной печати — хотя бы переводами, стихами для детей и т. д., а для большинства крупных писателей контакты с официозом были более интенсивными и, главное, сущностными, неформальными; потому серьезная проблема — включает ли понятие «советская культура» творчество Ахматовой, Булгакова, Пастернака, Мандельштама, Зощенко, Бабеля, Платонова, Заболоцкого.

Я не готов ответить на этот вопрос. Творческая судьба каждого из больших писателей заслуживает отдельного разговора. Чаще всего они выламывались из ряда просто в силу масштабов своего дара и неортодоксальности мировосприятия. В этом (и только этом) смысле Платонова нельзя назвать красным и советским писателем, как Набокова нельзя назвать писателем эмигрантским и белым. Набокова в эмиграции всего лишь несколько недолюбливали, а Платонова травили и запрещали, но, в сущности, это одно и то же: просто некоторые общества могут выражать свое непонимание только таким образом.

Отражать дух социума и эпохи — дело преимущественно художников второго ряда; точнее, именно для художников второго ряда эта функция становится главной, и они лучше всего с ней справляются. Самое время пересмотреть их наследие.

Сталинская эпоха, классическая советская эпоха, по мере удаления от нас становится все менее понятной и потому все менее подсудной. Мы можем сказать, что те, чьей профессией в те годы было убивать людей, — злодеи, что идеология, на основе которой построено такое общество, не заслуживает доброго слова. Но кто мы такие, чтобы выносить приговор *молчаливому большинству*, которое было в ту пору таким большим и молчаливым, как никогда? Мы уже не пойдем вполне этих людей, так и не высказавших главное в своем опыте, просто не имевших для этого слов. Они уходят, как ушли последние люди Серебряного века. Между тем если не все мы можем похвастаться предками, участвовавшими в культуре «России Блока», то уж советскими людьми 1930—1950-х наши бабушки и дедушки всяко были. Но если мы, сами еще советские, заставшие их, общавшиеся с ними, не можем их понять, что уж говорить о тех, кто моложе.

Сегодня политики и публицисты, левые или правые, в любом случае имеют дело не с реальным советским прошлым, а с мифами о нем. Реальность же ускользает, она все менее постижима, потому что в принципе не была рассчитана на взгляд извне. Нынешние попытки рецепции советской культуры — от статей Гройса до посвоему интереснейшего «Расставания с Нарциссом» А. Гольдштейна — лишь подтверждают это.

Единственный способ хоть что-то понять в советской культуре классического периода — рассмотреть ее как наше частное, домашнее дело. Ее антология — это наш запыленный семейный альбом, с пожелтевшими фотками, с чьими-то вписан-

ными между страниц стихами. При таком подходе нелепа прокурорская позиция, но и отделить тексты от литературного и жизненного поведения не выходит, а уж передать забвению неприятные эпизоды — тем более (в конце концов мы за все это пока еще в ответе).

Собственно, советская поэзия начинается не с 1917 года. В первое десятилетие существовала только поэзия «пролетарская» и примыкающая к ней «комсомольская». Первые пролетарские поэты — члены богдановского «Пролеткульта», затем объявленного еретическим, и сменившей его «Кузницы» — действительно были из рабочих. Они писали стихи о домах и вагранках в символистском духе; Гумилев, Андрей Белый и Ходасевич с голодухи учили их стихосложению. Двое из этих доменных стихослагателей, Михаил Герасимов и Василий Казин, были, кажется, способными людьми, остальные нет. Не был «пролетарием» лишь самый главный пролетарский поэт — бывший фельдшер Ефим Придворов, протеже поэта П. Я., бывшего террориста, и, по слухам, внебрачный отпрыск поэта К. Р., великого князя. Следующая генерация, члены РАППа и «комсомольцы», уже в большинстве своем были выходцами из мелкобуржуазной среды, в основном еврейской. Право считать себя «пролетарскими» давало им наличие партийного или комсомольского билета и отсутствие предреволюционной литературной биографии.

Все остальные были либо «попутчиками» (от Маяковского до Мандельштама; «старые» поэты, вступившие в ВКП(б) и связавшие себя с новой властью, как правило, из литературы уходили — так было с Нарбутом, Чурилиным, Гнедовым), либо нежелательными персонами — с 1924 года часть из них запретили (Ахматову, Волошину), другим (Кузмину, Клюеву) еще несколько лет разрешали печататься, в основном в частных издательствах (до полного исчезновения таковых).

В 1933—1934 годах была, как известно, проведена фундаментальная реструктуризация литературной жизни; разделение на «пролетарских» и «попутчиков» было упразднено, из тех и других отобрали наиболее пригодных для государственного употребления, а остальных вытеснили из литературы (время их физической ликвидации наступило чуть позже). Собственно, с этого времени и начинается история советской поэзии. Но первый из авторов, о которых мне хотелось бы написать, умер как раз на пороге этой поры — 16 февраля 1934 года. На первом съезде советских писателей о нем говорили в прошедшем времени.

### Смерть пионера

Эдуард Багрицкий умер в Москве от одесской болезни — бронхиальной астмы. Ему было тридцать восемь лет и три месяца.

Багрицкий учился у акмеистов; в 1923 году Нарбут, его свойственник, уговаривал Мандельштама воссоздать Цех Поэтов — «с Багрицким и Бабелем, но без Ахматовой». Юношеский «Птицелов» — блестящий пример освоения «гумилевской» техники; вообще мастером Багрицкий был отменным — достаточно вспомнить об изобретательности, с которой он использует в «Думе про Опанаса» украинский коломыйковый размер; это, по существу, единственное в русской поэзии XX века крупное произведение, написанное *силлабическим* стихом. Однако и мастерство, и мощная словесная живопись, и южный темперамент, и одесско-еврейская тема в его случае не главное. Все это было и у других, например (именно в таком сочетании), у Довида Кнута — правда, не одессита, а кишиневца. Но Кнут, хороший поэт, хороший еврей, хороший русский эмигрант, демократ и участник Сопротивления, мало интересен (или интересен, но в очень специфическом контексте). А Багрицкий — очень интересен в любом контексте. При том, что временами вызывает чувства, близкие к ужасу.

Главный источник ужаса — поэма «Февраль», написанная за несколько месяцев до смерти. Сюжет таков: еврейский юноша — «вольнопределяющийся», побывавший на фронте, безуспешно ухаживает за гимназисткой; происходит революция, юноша становится комиссаром, во главе матросов «берет» в подпольном публичном доме шайку бандитов и среди проституток встречает свою былую любовь. Герой отсылает матросов и удовлетворяет свою страсть, не забыв положить на столик *деньги за визит*.

К теме сексуального насилия в связи с революцией обращались многие — от Бабеля («Соль») и Пильняка до пролетарского поэта Ильи Садофьева. Не откажу себе в мрачном удовольствии процитировать стихи последнего:

...И пусть у каждого привала  
 Все неотвязней и нежней  
 Зовет веселый добрый малый:  
 «Добро пожаловать ко мне.

В мой светлый дом входите смело,  
 Я приготовил вам давно  
 Там молодое бабье тело,  
 Ночлег и крепкое вино».

Людская слабость всем знакома —  
 Магнитно манит торный путь...  
 — Эй, слушай голос военкома,  
 Чтобы с дороги не свернуть.

А если жгуч избыток силы  
 И ждать возлюбленной невмочь —  
 То всенародно изнасилуй  
 Его изнеженную дочь!

Заметим, однако, что даже в этих омерзительных виршах насилие изображается как проявление слабости и противопоставляется посещению походного борделя — так сказать, вступлению в товарно-денежные отношения с классовым врагом. Герой же Багрицкого одновременно берет силой и покупает свою возлюбленную, причём его действия описываются с восторгом, с пафосом (и на редкость энергичными стихами):

Я беру тебя за то, что робок  
 Был мой век, за то, что я застенчив,  
 За позор моих бездомных предков,  
 За случайной птицы щебетанье.

Я беру тебя, как мщенье миру,  
 Из которого не мог я выйти...

И дальше:

Может быть, мое ночное семя  
 Оплодотворит твою пустыню.

Ахматова (правда, в разговоре с «чужой» по складу и духу Маргаритой Алигер) назвала «Февраль» клеветой на революцию. Клевета это или нет, сторонник и певец революции Эдуард Багрицкий увидел в ней агрессивное самоутверждение слабого, ставшего сильным, смесь Эроса и Танатоса, похоти и жестокости. В поэзии Багрицкого отразилось «нишшеанское» начало коммунистической революции, то, что роднит ее с фашизмом. При виде этого «жизнелюбия» (или «смертелюбия», что в данном случае одно и то же) вспоминаешь картины Дейнеки и Самохвалова, так похожие на живопись третьего рейха или фильм «Строгий юноша», снятый по сценарию земляка и друга Багрицкого, Юрия Олеси. (Видимо, не случаен враждебный, но напряженный интерес к нашему поэту некоторых авторов второй половины XX века, принадлежавших к «национал-патриотическому» лагерю, особенно Юрия Кузнецова, чья близость Багрицкому временами удивительна.) Романтический антураж, переполняющий его ранние стихи и на первый взгляд легко объяснимый провинциализмом, в этом контексте тоже приобретает другое значение.

(Между прочим, автор «Февраля» мог встречаться с Садофьевым в коммунальной квартире на улице Рылеева, у Кузмина, любившего стихи Багрицкого и посвятившего ему статью; в мае 1933 года она была напечатана «как свидетельство перестройки М. Кузмина» в «Литературной газете». Охочий до кунштюков Кузмин и Садофьева привлекал. — См. воспоминания В. Н. Петрова.)

Важно, однако, понять, почему именно «слабый» в поэтике Багрицкого становится «сильным», в чем его сила. Она в разрыве с «оседлостью», с бытом, в выходе за метафорическую «черту оседлости», в прекращении идентификации с материальным миром. Материалистическая чувственность стихов Багрицкого — именно результат этого разрыва. Вещи увидены глазами человека, напряженно пытающегося порвать всякую связь с вещественностью и не способного к этому до конца. В его лучшем стихотворении — «Происхождение» «родной» поэту местечковый еврейский быт увиден с гротескной, карикатурной отчетливостью, напоминающей графику Бруно Шульца:

Еврейские павлины на обивке,  
 Еврейские скисающие сливки,  
 Костыль отца и матери чепец,  
 Все бормотало мне:  
 «Подлец! Подлец!»  
 ...Любовь?  
 Но съеденные вшами косы;  
 Ключица, выпирающая косо;  
 Прыщи; обмазанный селедкой рот  
 И шеи лошадиной поворот.  
 Родители?  
 Но в сумраке старея,  
 Косматы, узловаты и дики  
 В меня кидают ржавые евреи  
 Обросшие щетиной кулаки.

Однако от собственно *еврейской* идентификации поэт не отказывается. Он еврей в силу своего «еврейского неверия». Еврей — это свободный человек, это тот, кто со всем порвал, в том числе и с еврейством, он именно потому еврей, что порвал с еврейством. В поэзии Багрицкого и вообще в литературе 1920-х годов еврей часто — «сильный человек», товарищ Левинсон. Сильный (то есть свободный, не имеющий связи с землей, с бытом, корней, не помнящий родства) человек — Иосиф Коган из «Думы про Опанаса». Встреча с Коганом — роковой рубеж в биографии Опанаса; украинский крестьянин заражен вирусом безытности, свободы, дающей силу, и уже не может вернуться к нормальному труду на земле. Поэтому необходимость расстрелять Когана для него так трагична; он стал тенью Сильного Человека — убивая его, он, по сути, совершает самоубийство.

Багрицкий воспевает «уменье хитрить, уменье молчать, уменье смотреть в глаза» — кипплинговскую доблесть. Он любит чекистов и черноморских контрабандистов-греков, он вспоминает старинное «содружество ворона с бойцом» и учит своей черной романтике посредственного молодого поэта — комсомольца Николая Дементьева; через год после смерти Багрицкого Дементьев застрелится, и Пастернак посвятит его памяти знаменитые строки: «Как прусской пушке Берте не по зубам Париж, ты не узнаешь смерти, хоть через час сгоришь». Багрицкий тоже *сгорел* в печи крематория; вспоминают, что Бабель подглядывал в щелку, как горит его тело.

Комсомолец Дементьев правильно понял урок. «Веселые люди моих стихов» — выдумка, олеография, самообман. На самом деле Слабый, Ставший Сильным, в жизни по-прежнему слаб, беспомощен, как сам задыхающийся астматик Багрицкий. В идеале он — слабый ребенок, советский ребенок, пионер, а высшее проявление его свободы — смерть. Смерть пионерки, отвергающей крест, отказывающейся от бессмертия. Пионерка Валя — священная жертва, Ифигения, сестра Насти из «Котлована» и гайдаровского Альки. Лучшее, что может сделать человек будущего ради будущего, — умереть в детстве, продемонстрировав этим свою священную, нечеловеческую свободу, свою святость, свою силу. Эти писатели любили «смотреть, как умирают дети».

У Багрицкого был сын Всеволод, тоже поэт, друг юности Галича и Елены Боннэр, ушедший на фронт и погибший двадцатилетним. Я думаю о нем, думаю о семнадцатилетнем сыне Платонова, умершем от туберкулеза после года, проведенного в лагере, о Зое Космодемьянской, общавшейся до войны с Гайдаром. Фотографии этих мертвых почти-детей — в нашем семейном альбоме. Искупительная жертва? За что?

Социализм как воля к смерти (смотри Шафаревича)?

Смерть — наш товарищ,  
 Мичурин из сада убийства,  
 Врач, прививающий бешенство  
 пионерчикам розовощеким...  
 ...В колбе микробов ненависти  
 кормит поэт полумертвый.  
 Крыльями машет над ним  
 птица романтики яростной...

Так воспел Багрицкого Сергей Стратановский, влюбленный вивисектор утопий. Багрицкий заслужил реквием: он создал одну из первых эстетических моделей советского общества. В его интерпретации это неоромантическое общество с открытым культом Силы и тайным — Смерти.

### Лефовский и конструктивистский проекты

Другая модель — технократическая — была предложена теоретиками Левого Фронта Искусств. Отказавшись от иррациональных, мистических сторон русского футуризма, Осип Брик и другие оказались ближе к итальянскому футуризму, к Маринетти, но без присущего последним культа движения. Лефовские конструкции статичны. (Непонятно, где видит А. Гольдштейн «ужас перед стагнацией, забвением динамических первоначал Октябрьской эры». Движения автомата, способные бесконечно циклически повторяться с абсолютной точностью, непосредственным выражением чего был культ «ритма», на деле представляют собой апофеоз статики.) Текст, несущий определенную информационно-идеологическую задачу и в соответствии с этой задачей организованный, искусство, становящееся частью жизнеустроительного проекта и сводящееся к дизайну, — достоинством этой концепции была ее честность. «Восстание вещей», пугавшее Хлебникова, «освобождение вещей», о котором мечтал Маяковский в пору «Мистерии-буфф», оборачиваются идеей превращения человека в «машину», в усовершенствованную вещь, идеей созидания новой вещественности и саморастворения в ней. Социализм становится лишь средством осуществления этой странной утопии, вполне совместимой и с капиталистическим строем (и нашедшей в эпоху после Винера воплощение в многочисленных образах американской science fiction). Но есть определенная извращенная поэзия в человеке, отказывающемся от своей самости ради «совершенного будущего»; Андрей Бабичев (в чьей груди, без сомнения, кипят все отвергнутые новым миром страсти и который сознательно отрекается от них во имя победы святой человекокопцасы) трагичен не меньше Кавалерова.

Мне кажется очень остроумной мысль Елены Шварц о том, что Маяковский — русский Рембо и что его поздние стихи следует воспринимать как эквивалент торговли неграми и хлопком. Но, по существу, все, на мой взгляд, сложнее. Истоки лефовской эстетики — уже в раннем творчестве Маяковского, в его инструментальности, конструктивности. И, с другой стороны, даже Маяковский, сочиняющий стихи про ванную литейщика Козырева, — все-таки падший ангел. В убожестве этих строк — величие аскезы или по крайней мере величие сумасшествия, хотя бы потому, что это строки гения, сочинившего их не по шкурным, а по каким-то более сложным соображениям. Последовательность и честность Третьякова, Найденова и других лефовских стихотворцев менее интересны, потому что они были — сравнительно с Маяковским — малоодаренными людьми. Но в некоторых отношениях любопытнее те, кто пытался, следуя «производственной» эстетике, в то же время заниматься искусством в традиционном смысле слова.

Прежде всего Николай Асеев. Уже году в 1915-м он — замечательный мастер звучно-пустых эпигонских стихов (умеренно-футуристического варианта, который, если вдуматься, не так уж отличается от квазисимволизма Виктора Гофмана или Рославлева и квазиакмеизма бесчисленных гумилевских студийцев):

Я запретил бы продажу овса и сена —  
Ведь это пахнет убийством отца и сына!  
А если сердце мое к тревогам пребудет глухо —  
Руби мне, грохот, руби мне глупое, глухое ухо!

Были у него и неплохие строки («Я не хочу земного сора, я никогда не встречу сорок»), но, в общем, он был бы обречен в истории русской литературы на место где-то между Петниковым и Юриком Ивневым, если бы не некая сверхнормальная удачливость. Уже невозможно понять, почему в раздубении Асеева в начале двадцатых принимали участие не только Маяковский (друг нынешний) и Пастернак (друг бывший, по «Центрифуге»), но и Мандельштам (оплата по векселю не заставила себя ждать). Эту случайную славу Асеев сумел подкрепить. Он придумал собственное know-how — соединение лефовской технологичности с близкой читательскому сердцу романтикой. Он сочинил звучные, как прежде, строки про Петербург-Петроград-Ленинград — «светлый город болот и баллад» («Не царей, не их слуг, не их шлюх в этом городе слушай, мой друг» — и т. д.). Его юбилейные «Синие гусары» — мастерская обработка историко-культурного мифа на потребу новой власти и новой эстетики; и, возможно, он удивился бы, узнав, что через сорок лет эти строки будут декламировать люди иного поколения, для которых декабристская мифология станет коллективным кукишем в кармане стареющей советской власти. «Белыми копытами лед колота, сани по Литейному дальше летят». По Литейному — сами знаете, ребята, что на Литейном.

Он был умнее, чем казался. Обэриуты имели неосторожность показать ему свои стихи, и он начал с ними настоящую войну средствами отборного, то есть изящно закамуфлированного, литературного доноса: почувствовал нечто *настоящее*, опасное для таких, как он. С Мандельштамом же дело было так: в 1937-м, после возвращения из Воронежа, он добивался творческого вечера в Союзе писателей. «Вечер был назначен, но, по-видимому, “забыли” прислать повестки, и никто не пришел. О. Э. по телефону приглашал Асеева. Тот ответил: “Я иду на Снегурочку”» (Ахматова, «Странички из дневника»). Здесь замечательна именно эта «Снегурочка», на которую идет старый футурист. В нашем семейном альбоме он так и останется — шествующим под руку с золотоволосой женой в театр и следящим взглядом: не идет ли навстречу Мандельштам (чтобы вовремя перейти на другую сторону улицы)? Между тем, приди он в самом деле послушать новые стихи опального гения, то мог бы услышать нечто для себя интересное. В книге Асеева «Обнова» (1932) есть стихотворение с серьезным названием «О жизни».

В этом городе вечерами  
Разгорается красный свет  
И везде в кумачовой раме  
Перемноженный жжет портрет...

...Что б ни вздумалось сделать вам,  
Ненавидьте, любите, спорьте  
По его боевым словам.

От этого понятно чьего портрета поэт неожиданно переходит к любовной теме:

Большерукая, большеногая,  
Большеглазая, больше больших,  
Всем, что, сердце толкая и трогая,  
Говорит ему — пой, не фальшивь.  
Только рот — не велик и не маленек,  
В самый раз — хоть моих молодежи,  
Да еще — пара тех, подкрахмаленных,  
Подмороженных ветром грудей.

О связи культа вождя с эротическими переживаниями писалось и говорилось много. Нас же интересует лежащая на поверхности параллель с мандельштамовским текстом лета 1937 года:

Тени лица — восхитительны —  
Синие, черные, белые.

И на груди — удивительны  
Эти две родинки смелые...

...Произносящая ласково  
Сталина имя громовое.

(Женский образ, созданный Асеевым, — мощно-андрогинный, в духе самохваловских физкультурниц, а грудь — единственный атрибут женственности — редуцирована; адресат же мандельштамовских стихов — «Русская красавица», избыточно женственная, «баба», со «смелыми родинками» на пышной груди. Но само настойчивое внимание к женской *груди* в связи со Сталиным — отборная пища для размышлений психоаналитика.)

Сознательно или скорей бессознательно Мандельштам спародировал, по-видимому, известные ему стихи Асеева. Возможно, именно он воплощал тот тип удачливого советского поэта, которому Мандельштам в минуты слабости хотел соответствовать.

На этом разговор про Асеева можно было бы закончить; но в 1998 году в журнале «Звезда» были опубликованы воспоминания В. Сосноры об Асееве и их переписка. И — в нашем семейном альбоме появляется совсем другая фотография: грустное, человеческое лицо больного семидесятилетнего старика, двадцать лет почти не выходящего из дома, с трогательной нежностью, ревностью, заботой относящегося к своему молодому ученику и советуемому ему в порядке общей подготовки прочитать «Марксизм и эмпириокритицизм» или «Государство и революцию». Смешно и грустно...

Другой ученик Асеева (и земляк Багрицкого), Семен Кирсанов, был на семнадцать лет моложе своего учителя и на тридцать старше Сосноры. Кирсанова (в отличие от Асеева) упорно не принимали всерьез. У него была репутация ловкого и наглого «фокусника», литературного клоуна, развлекающегося поверхностными кунштюками в серьезное время. Имя Кирсанова тоже оказывается переплетенным с именем Мандельштама: он сфотографирован (переворачиваем страницу альбома) играющим за стеной на гавайской гитаре в момент, когда за О. Э. *пришли*. Кирсанов сделал нечто гораздо худшее, в том же 1934 году он напечатал научно-фантастическую поэму, в которой приписал грядущему роботу-стихотворцу ранние строки Мандельштама, между прочим, некогда очень любимые Маяковским («Сегодня дурной день, кузнечиков хор спит...»). И здесь бы попросту послать стрелу назад, сказав, что Асеев — Кирсанов и т. п. — это и есть «автоматическая лирика», но... За десять лет до рокового года не кто иной, как юный Кирсанов, «изъявил пальцы чернилами», переписывая цветаевскую «Поэму конца»; а в 1937 году у него умирает жена — не «естественной смертью», а от туберкулеза, и он посвящает ее памяти трогательный цикл, написанный — что необычно для того времени — верлибром; а уже за границей «классической эпохи», в шестидесятые годы, с ним происходит нечто совсем странное — он пишет несколько действительно замечательных стихотворений: про карусель в парке полвека назад — «...но к какой пропасти, о мои серые, вы меня гоните?» И вот это: «Чебурек разрезывается, и чебурека нет...» Он писал о боли, о смерти, говорил, в общем, необычные для советской поэзии вещи необычным для нее языком, и его по привычке печатали, и, с другой стороны, эти стихи не оценили по достоинству, потому что Кирсанова привыкли воспринимать презрительно-иронически: он все для этого сделал. (И, кстати, продолжал делать: поехав в 1966 году во Францию лечиться от символической болезни — *рака языка* — и вновь обретя после операции дар речи, он воспользовался им в первую очередь для того, чтобы убеждать Арагонов и др. не заступаться за Синявского и Даниэля.)

Соперником ЛЕФа был Левый Центр Конструктивистов. Гольдштейн считает конструктивистов носителями западнического-технократического духа нэповской эпохи, противостоящего революционно-разрушительному пафосу ЛЕФа (это ЛЕФато, с его культом «нового быта», Моссельпрома и индустриализации!). На самом деле идеологическое отличие конструктивистов от левовцев состояло только в том, что ЛКЦ стремился к сохранению автономности искусства; Илья Сельвинский и его сподвижники, к числу которых одно время принадлежал и Багрицкий, не желали растворять себя без остатка в жизнеустойчивом проекте. В этом смысле они действительно были людьми нэпа с его мелкобуржуазностью и духом социального компромисса (хотя лично Багрицкому, к примеру, нэп вовсе не нравился). «Долг поэта — не наступать на горло собственной песне», — это слова из стихов Сельвинского на смерть Маяковского.

С «западничеством» тоже все не так просто; как в число «серапионов» (а уж какие были западники!) наряду с Лунцем и Кавериним мог входить и певец стихийной медвежьей силы, сибиряк Всеволод Иванов, так и конструктивисты, сочувствуя модернизации «лапотной России» и ощущая себя участниками этого процесса, в то же время бессознательно восхищались мощью азиатской стихии (которую предполагалось не столько победить, сколько пустить в дело). Гольдштейн здесь к месту вспоминает евразийцев. Соответственно новый рационально организованный текст должен был строиться из стихии разговорной речи, сленга, диалектизм, «живых ритмов» времени. В этом смысле Сельвинский и его сподвижники были шире и «либеральнее» левовцев с их маршевыми ритмами и советским жаргоном. Сам Сельвинский был чисто барочным автором, обожавшим, в частности, языковую экзотику: тут и «караимский философ Бабакай-Суддук» с его диковиным «айса!», и цыганский «жыстокий романс», и полуукраинский язык южнорусского эпоса:

Уляляев був такой: выверчено віко,  
Дірка в пидбородце та й в ухі серга.  
Зроду нэ бачено такого чоловіка,  
Як той батько Уляляев Серьга.

Другое дело, что за «конструкция» получалась в результате. К конструктивизму в архитектуре можно относиться по-разному (Гольдштейн любит «тельавивский баухауз», а у меня эти дома, похожие на трансформаторные будки, с первого же взгляда вызвали омерзение). Но там по крайней мере есть четкая зависимость экстерьера от функции. В словесных же конструкциях Сельвинского непонятно главное:

мотив, заставляющий создавать организованный текст «из тяжести недоброй». Традиционные «идеалистические» представления о целях творчества отвергаются; прагматическая утопия не может быть принята на вооружение в полном объеме, так как она исключает автономность искусства. Неясность задачи предопределяет результат: громоздкие, затянутые, неудобочитаемые «кирпичи» «Уляевщины», «Пушторга», тяжеловесность «Командарма-2»; какой-то старомодный эпос, устаревающий на ходу, что-то вроде Ширинского-Шихматова. Сельвинский, собственно, и сам почувствовал неудачу и с 1930-х обратился сперва к эстетским описаниям «охот» (что твой Леконт де Лилль или Фрейлиграт); потом писал неоклассические стихи белым пятистопным ямбом, хорошие стихи — их мог бы написать Шенгели или кто-то из его учеников. А то вдруг срывался и улетал участвовать корреспондентом «Правды» в экспедиции челюскинцев. И там, в ледовом походе на собаках на мыс Сердце-Камень, сочинял свое лучшее стихотворение — песню про гражданскую войну:

Ничего не случилось, пожалуй,  
Только шла кавалерия вниз —  
Впереди — комиссар возмужалый,  
Позади — молодой гармонист.

Внимание: сейчас птичка вылетит. Кадр: бородатые челюскинцы (мороз из них прет, медведь из них щерится), чукчи, а между ними — широкоплечий крымчак Сельвинский, похожий на так любимых им тигров, и все поют:

Комиссарское сердце из боя  
Вышло чистым и черным, как гром...

Здесь сквозь рациональную экзотику Сельвинского, сквозь его геометрическое барокко вдруг проступает раскаленное безумие Багрицкого, как раз в эти дни задыхавшегося в полуагонии в своем Кунцеве... И писавшего «Февраль».

От других конструктивистов осталось меньше интересного. Владимир Луговской написал в двадцатые годы несколько недурных стихотворений. Одно из них обращено именно к той «лапотной» России, с которой конструктивисты якобы боролись и которая как раз Луговскому дорога, ибо «дорога идет» —

...От белых поповен в поповском саду,  
От смертного духа морозного,  
От синих чертей, шевелящих в аду  
Царя Иоанна Грозного...

(Впоследствии Луговской был одним из авторов чудовищного сценария гениального эйзенштейновского фильма «Иван Грозный».)

...И глухо стучащее сердце мое  
Навеки в рабы ей продано.  
Мне страшно назвать даже имя ее —  
Свирепое имя родины.

(И только последние две строчки — в подтверждение своей концепции — цитирует Гольдштейн.) Еще, конечно, «Песня о ветре» с ее отличным окончанием — «...А девочка и шарлатанка... Стой, кто идет? Кончено. Залп.», и «Жестокое пробуждение» («...Как детству — веселая бестолочь салок, как детству — бессонные лица сиделок...»). Потом он стал «певцом чекистской романтики», воплощением эффектного мужества, красным киплингянцем, мачо тридцатых. А потом, во время войны... — вот свидетельство друга, Константина Симонова, заключенное в ткань беллетристического сочинения и приписывающее этот опыт будто бы вымышленному, но вполне узнаваемому персонажу: «Когда наш эшелон, не доезжая Минска, разнесло в щепки... среди стонов, среди кусков чужого мяса я понял, что не смогу сесть на другой поезд и ехать еще раз через все это туда. Меня рвало раз за разом. Я вернулся в Москву с этой трясучкой... и врачи признали меня больным».

Невидимый фотоаппарат с садистским беспристрастием сфотографировал и эту сцену. Как раз время перевернуть страницу\*.

\* Пожертвовав, между прочим, «Серединой века» — «книгой о моей жизни, которая никому не нужна», о которой сейчас, через страницу, будет упомянуто... Книга вышла в 1956 г. и кое-кому пригодилась — ее с интересом читал в отрочестве, по собственному свидетельству, Бродский. Сейчас уже не поймешь, что больше заинтересовало юношество — белый стих или антикультовые мотивы. Год спустя Луговской умер.

### Красные гумилята

Самым, безусловно, запретным из крупных поэтов Серебряного века в советское время был Николай Гумилев — и никто из его современников не оказал более очевидного влияния на советскую поэзию.

Почему — более или менее понятно. Во-первых, из поэтов предреволюционных лет Гумилев (наряду с Брюсовым) — самый инструментальный, самый «повествовательный»; в его стихах жестко различаются «форма» и «содержание». Во-вторых, дух героической патетики и культ мужественности, свойственный стихам Гумилева, в определенной мере соответствовал идеологическим потребностям государства. Гумилев считался «белогвардейским» автором, но это воспринималось вовсе не однозначно-отрицательно. «Белое» — это все, связанное с военно-государственной традицией России; а военный комсостав уже к концу гражданской войны был, как известно, в значительной части укомплектован царскими офицерами; даже бывшие белые генералы Слащов (прототип булгаковского Хлудова) и Пепеляев одно время служили в Красной Армии (обоих, правда, потом убили). «Белое» символизировало твердую национальную власть, порядок, дисциплину, военную подтянутость, «однообразную красоту», а эти ценности становились все популярнее. Как это часто бывает, победители мечтали походить на побежденных.

Влияние Гумилева соседствовало с влиянием Киплинга. «Парадокс в том, что Киплинг был крайним антикоммунистом, тем не менее природа этого влияния вполне понятна... Герой баллады, «человек с ружьем», — не просто безбожник, он язычник, антихристианин... Для него нет свободы воли, нет морального выбора между добром и злом, есть лишь безличный Закон Стаи» (В. Дымшиц. Предисловие к книге: Р. Киплинг. Стихотворения. СПб., «Северо-Запад», 1994). Кроме того, империалистический дух Киплинга и африканская экзотика Гумилева оказались востребованы в силу присущего коммунистической идеологии «мондиализма», всемирных амбиций. Киплинговское влияние выходило за рамки отдельных литературных групп — этому поэту подражали и Луговской, и Прокофьев, и Асеев, а вернувшийся из эмиграции Святополк-Мирский недоумевал: у себя на родине «бард империализма, лауреат без лавров» давно уже был отвергнут эстетически и политически передовыми людьми.

При этом большая часть «гумилят» — участников второго Цеха Поэтов и гумилевских студий (таких, как «Звучащая раковина») — оказалась во внешней (Г. Иванов, Адамович, Оцуп, Одоевцева) или во «внутренней» (сестры Наппельбаум) эмиграции. Тем большее значение придавалось тем немногим, кто активно встал на сторону новой власти, как Николай Тихонов.

Самое интересное — почему попытки, скажем, бывшего синдика Цеха Поэтов, «бывшего Сергея Городецкого» (выражения Ахматовой), приспособить акмеистический инструментарий к политико-пропагандистским целям отвергались, а уж как он старался. Такие эффектно-экзотические стихи про смуглых красавиц, собирающих кофе под бичами плантаторов, и вывод: «Да здравствует свобода угнетенных во всех краях и на болотах Явы!» И — ничего. Еще пятьдесят лет пришлось б. Городецкому влачить жалкую участь литературного ремесленника (правда, хорошо оплачиваемого), переписывать либретто «Жизни за царя» и т. д. А написал молоденький прапорщик Тихонов поэму про индийского мальчика Сами, который молится «далекому Ленни, непонятному, как йоги», об избавлении от *сагибов* — и стал классиком. Видимо, настолько важно было отсутствие дореволюционной литературной биографии.

В плохом романе Успенского и Лазарчука спасшийся в 1921 году Гумилев проживает необыкновенно долгую жизнь под именем Николая Степановича Тихонова. В этом есть своя логика, ибо поэт Николай Семенович Тихонов — это не просто подражатель Гумилева, это Гумилев без того, что в нем по-настоящему ценно и интересно: то есть без сюрреалистической фантазии, без странных наплывов мистического ясновидения, без всякого внутреннего драматизма... В остатке — «героика», экзотика (прямоком ведущая под конец в гэбэшный Комитет защиты мира) и т. п. О Тихонове как о человеке лучше не говорить; фотографию, где он уже в пору оттепели произносит тост за Сталина, даже не будем включать в альбом. Есть другая, полная настоящего *gallows humor*: Заболоцкий на лесоповале из обрывка газеты с удивлением узнает, что поэт Тихонов, стоявший во главе «заговора», участие в коем Заболоцкому, собственно, и инкриминировалось, получил орден.

Фигура не столько мрачная, сколько комичная, и так же неистребимо пародийны «Баллада о гвоздях» с ее знаменитой концовкой и другие прославившие Тихонова в начале 1920-х произведения. Подлинно хорошие стихи у него можно пересчитать по пальцам: «Мы разучились нищим подавать», «Рыбаки», «Песня об отпуске

ном солдате» (это тоже подражание Гумилеву, но на сей раз — лучшему у него), и еще одно стихотворение, где за десять лет косвенно предсказан мандельштамовский образ:

*Неправда с нами ела и пила,  
Колокола гудели по привычке,  
Монеты вес утратили и звон,  
И дети не боялись мертвецов...\**

Другой непосредственный ученик Гумилева — Всеволод Рождественский. В начале двадцатых он отнюдь не был однозначно «красным» и «советским». Его первые стихи совершенно не отличались, скажем, от раннего Георгия Иванова (или сестер Наппельбаум, или Веры Лурье и т. д.). Это и была тогдашняя «петербургская школа», обобщенный стиль литературного круга, эпигонский акмеизм. Рождественский, кажется, претендовал в этом кругу на роль лидера и идеолога (см. его доклад «Петербургская школа молодой русской поэзии». Записки передвижного театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. 1923, 7 октября). С конца 1920-х (пережив, между прочим, ссылку) он все активнее приспосабливается к эпохе; в его стихах все меньше Версаля и пиратских бригав и все больше того, что Мандельштам называл «царскосельским сюсюком». Советская власть, одержимая бесконечными комплексами, заботилась о музеефикации и сохранении культурного наследства, и ей нужны были квалифицированные зрители. Это был стандартный путь приспособления лояльного интеллигента, Тептелкина (напомним, что Рождественский — прототип другого персонажа того же романа, поэта Троицына). Позже Рождественского не устроила и эта роль, и он, как и Тихонов, превратился в обычного сановника без всяких примет собственного стиля. Но именно он в числе прочих стал основоположником специфически ленинградской гладкописи, благополучно существующей до сего дня.

В Москве, правда, у Рождественского был своего рода двойник — Павел Антокольский, режиссер-вахтанговец, в юности — друг Цветаевой и персонаж «Повести о Сонечке»; позднее он был ценен как носитель определенной стихотворной культуры, человек, способный написать старофранцузскую балладу или что-нибудь эдакое: много таких не требовалось, но один-два были необходимы. Разумеется, он служил честно, переделывал свои ранние стихи (так, в «На рождение младенца» (1919) «людей белой расы» заменили «рабочие люди Вселенной»), но все-таки писать в отличие от Тихонова и Рождественского не разучился: достаточно сказать, что изысканной строфикой его «Иеронима Босха» воспользовался позже Бродский («Одной поэтессе»). Лучшее у него — поэма «Сын» (1943), в которой есть немало чистых и сильных мест, прорывающихся сквозь казенную риторику. Характерен здесь все тот же помянутый выше мотив — чистый ребенок-юноша, комсомолец, рожденный новым миром («Рожденный в годину расплаты, о тех, кто платил, не печалься...»), чтобы быть принесенным в жертву.

Все же оплотом «красного акмеизма» был Ленинград. Однако — как антитеза этому эстетскому стилю — именно здесь в конце 1920-х годов сложилась своеобразная школа, тоже в большой мере опирающаяся на Киплинга, именно на те стороны, которые «гумилиатам» были чужды; речь идет о раннем Александре Прокофьеве («Песни о Ладоге»), о Борисе Корнилове, Виссарионе Саянове с его до безвкусицы переполненными охтинским сленгом «Фартовыми годами». Эти грубые парни, напроць равнодушные к «петербургскому мифу» и совершенно лишённые комплекса неполноценности, форсировали своим чекистским или чиновничьим прошлым, простонародным языком, тугими мышцами, аппетитом к жизни — и «кляли с прибором» на Тихонова и компанию (см. анекдот, включенный в рассказ С. Довлатова «Наши»). «Луна, словно репа, а звезды — фасоль» — это Прокофьев; «Луна — сияющее масло» — это Корнилов; представляешь, как любили поеть эти крестьянские дети, видишь ядреную луну, забрызганную кровью, на их пиршественном столе:

Нас качало в пирушках вот как —  
Сбоку набок  
И с ног долой...

Из них вышел бы толк, овладей они хоть отчасти стиховой культурой. Но время вело к другому: Корнилова расстреляли; Прокофьев стал чиновником бесстыдным и одиозным даже в советской литературной среде, но не вполне утратившим дар (вплоть до шестидесятых годов у него попадались недурные стихи о ладожской при-

\* Кстати: Мандельштам больше, чем кто-либо, подтверждает мысль Элиота о том, что «гении крадут». Скажем, «красота такая галочья» (1937) — прямое заимствование из «Цыганской песни № 2» Сельвинского (1922).

роде); Саянов, самый интеллигентный из всех, автор двух относительно грамотных книг по истории русской поэзии, — чиновником стыдливым и пьющим, но вконец обессилевшим творчески\*.

Следующая групповая фотография — московские «комсомольские поэты» того же поколения. Киплингеско-гумилевская экзотика переплелась у них с влиянием конструктивизма, отголосками футуристических исканий и многим другим, воспринятым одновременно и в значительной мере понаслышке. Скажем, «Повесть о рыжем Мотеле» Иосифа Уткина со стилизацией местечкового говора — чисто конструктивистская вещь, причем посредственная; а его лирика — смесь поверхностно воспринятого акмеистического эстетства с «жестоким романсом» (стихотворение «Атака» очень характерно начинается — «Красивые, во всем красивом, они несли свои тела...» Сын иркутского железнодорожника скорее всего так же и писал бы, не будь никакого 1917 года). Светлов интереснее; возможно, ему принадлежат лучшие «красные» стихи о гражданской войне, как Владимиру Смоленскому и Арсению Несмелову (тоже не бог весть каким крупным поэтам, если оценивать по чисто литературным критериям) — лучшие «белые». Наивные мечты екатеринославского еврейского мальчика о «степях аравийских» и «усатых тиграх» замечательно накладываются у Светлова на универсалистский пафос революции, и старинное «желание быть испанцем», мечта Поприщина и Козьмы Прутокова, пронзает душу полуграмотного красноармейца, который «мчится в боях» по Украине, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»; мы-то помним, какой рыцарь скакал по Испании с медным тазиком на голове. А душу другого «мужика» смущает «иностранный звезда» Меркурий, и под этой звездой он находит свою смерть. И, наконец, спустя семнадцать лет, в 1943 году, давней мечты о гондолах и о «вулкане далеком» оказывается достаточно, чтобы в разгар жесточайшей войны пожалеть убитого врага-итальянца. Трогательная аляповатость этих фантазий, подчеркнутая недостатком формальной культуры, отчасти смягчается иронией. В результате от Светлова осталось больше анекдотов и *bon mot*, чем хороших стихов; что касается фотографий, ограничимся одной: Миша Светлов за бутылкой или картами с Сашей Введенским — кажется, детским писателем из Ленинграда. Полная чуждость, разномерность этих двух приятелей за пределами карточного стола лучше всего характеризуют взаимоотношения официальной и неофициальной культур в 1930-е годы.

Полная противоположность Светлову — Константин Симонов. Здесь никаким романтическим мондиализмом и не пахнет; побывавший в качестве военного корреспондента, а позднее — номенклатурной персоны чуть не во всех странах Евразии, Симонов оказался совершенно равнодушен к их экзотическим красотам. Его конек — традиционный державный патриотизм и не лишенная фатовства «офицерская» доблесть: все это идеально совпало с политической конъюнктурой. Стихи Симонова — выражение той же тенденции, что и реформа военной формы и званий по дореволюционному образцу (1942). «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» (по некоторым свидетельствам, популярное среди «большевизан» из первой эмиграции) — и в самом деле каталог «сменовеховского» патриотизма, без всякой социалистической идеологии. «Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в бога не верящих внуков своих...» («Бог» все же со строчной) — то, что в 1941-м оказалось государству нужнее марксистской ортодоксии и было востребовано и использовано с отменным цинизмом. Угадавшему тайные инстинкты государства поэту в качестве награды дали эксклюзивную лицензию на самый выигрышный с точки зрения читательского успеха промысел: печальные и драматичные стихи о любви — да еще в военное время. Беспристрастно оценивать их качество я не хочу — хотя бы потому, что в числе сотен тысяч женщин, хранивших переписанное от руки «Жди меня», была и моя бабушка\*\*. Но одну вещь все же стоит *оценить* — и не с литературной точки зрения, тут все элементарней.

Речь о знаменитом «Майор привез мальчишку на лафете...»

\* Замечательный пример поведения позднего (конец 1950-х) Саянова зафиксирован в воспоминаниях Е. Рейна. Литературный генерал всерьез реагирует на вопрос подошедшего к нему незнакомого юнца, «кто сейчас лучший поэт», однако не может вслух при посторонних сказать то, что думает (а думает, что — Пастернак), но и солгать не может... С учетом эпохи это — почти исключительные благородство и совестливость. Ничуть не мешавшая, однако, занимать крупные казенные посты и делать на них все, что велит.

\*\* По этическим же причинам я вовсе не касаюсь в этой статье блокадных стихов Ольги Берггольц и некоторых других текстов.

Ты говоришь, что есть еще другие,  
Что я там был и мне пора домой.

Ты это горе знаешь понаслышке,  
А нам оно оборвало сердца.  
Кто раз увидел этого мальчишку,  
Домой прийти не сможет до конца.

Поскольку «лирический герой» Симонова биографически тождествен автору (а в этом стихотворении, особенно в финальных строчках, есть прямые отсылки к фактам его личной жизни), то не будет неуместным заметить, что двадцатипятилетний здоровый мужчина, из потомственной офицерской семьи, гордящийся как особой заслугой своим пребыванием на фронте *осенью 1941 года* (в не самой опасной роли военного корреспондента) выглядит довольно странно и, уж во всяком случае, противоречит тому идеалу боевой доблести, который Симонов только и вычитал у Гумилева. Это же относится и к симоновской поэтической технике: псевдоакмеистический блеск стиха при скудости приемов и тайной расслабленности строки, однообразная позерски-рыцарственная интонация... Фальшь очередной «маски» советского мира проявляется на всех уровнях, и что забавнее всего: как только в связи с концом горячей войны и началом холодной политической нужды в «белоградской маскарде» отпала, поэт Симонов замолчал. (Родился Симонов-прозаик, игравший уже в иные игры — в оксюморонного *служилого* Хемингуэя, к примеру.)

Фотография: Симонов и Бунин, Париж, 1945. Классик язвительно осведомляется, «куда делся Бабель», «куда делся Пильняк», а взошедшая звезда советской литературы на все вопросы отвечает фразой из дореволюционного военного устава (видя в этом, вероятно, особый шик): «Не могу знать» (см. воспоминания В. Яновского).

### Самые советские

Полностью, беспримесно советское поколение в поэзии появилось лишь на рубеже 1930-х.

Люди, вступившие в этот период в жизнь, уже толком не помнили старой России — а новая еще только складывалась, еще шел отбор вариантов, их браковка. Поэтому у молодых людей той эпохи был выбор: остаться чужим этому обществу в невозможной позднее степени либо отождествить себя с ним в степени, невозможной ранее. Трещина могла проходить в рамках одной семьи. Черта между людьми типа Даниила Андреева или Даниила Хармса и людьми типа пусть даже Сергея Королева или Александра Твардовского (возьмем лучших!) была значительней черты, разделявшей красных и белых в годы гражданской войны.

«Самым советским» из советских поэтов следует, конечно, считать Ярослава Смелякова. На первый взгляд он принадлежал к упрямцам, способным и после 10—15 лет лагерей верить в первоначальный революционный идеал. Его знаменитые стихи про переделкинскую поденщицу Машку смешны, но выразительны — почти хороши:

И того не знает дура,  
полоскаючи белье,  
что в России диктатура  
не чужая, а ее.

Но при внимательном чтении видно, что «диктатуру пролетариата» Смеляков воспринимал очень своеобразно. В конце концов он действительно был выходцем из рабочих и знал, о чем они на самом деле мечтают. Он не был человеком 1917-го или 1929 года; он был поэтом второй пятилетки, даром что почти всю ее просидел. Его главное произведение — «Строгая любовь» — о молодых фанатиках, осознающих, что целоваться или вязать шарф для старого папаша — совсем не так уж плохо.

Вспомни, как с тобою  
выбрали обои,  
 меховую шубу,  
кожаный диван...

Да, и обои, и «потрепанный буфет и цветастая кушетка», и «фикус важно торчит из банки», и девочки продают землянику на станции в свертках из школьных тетрадей, и мальчик любит *хорошую девочку Лиду* («Он с именем этим ложится и с именем этим встает» — один из смешнейших в русской поэзии примеров непроизвольной похабщины. Смешнее, чем острословие Т. Кибирова — «... и в этой стране

хорошая девочка Лида дала после танцев и мне»). «Восход всесоюзно-мещанского класса...» Кровь полумира проливалась, чтобы у всех были этот фикус и эта кушетка — и ничего больше; и *фотографии родственников* на стенах, рядом с репродукциями, вырезанными из «Огонька», и немножко китчевой романтики — «постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду». В тридцатые Смелякова как раз ругали за «мещанство», но это было лишь знаком непрозорливости критиков. Всякое общество держится на быте, сколь бы убогим он ни был, а Смеляков был именно певцом убогого советского быта; и потому, кстати, грех сегодня тому же Кибирову попирать стопой могилу своего прямого литературного предка.

При чтении Смелякова возникает впечатление, что он вовсе не владел поэтической формой — настолько зачастую неуклюжи тексты, настолько грубо, обухом, вдавливаясь в голову читателя простенькая мысль. Но бездарен он не был, был только очень невежествен. Чего стоят его стихи на смерть Ахматовой:

Ведь с вами связаны жестоко  
их всех, ушедших, имена —  
от императора до Блока,  
от Пушкина до Кузмина.

Примечание: «Кузмин — поэт, друг Ахматовой»; «Император» не комментируется, видимо, Смеляков стал жертвой забавного слуха о том, что Ахматова была любовницей Николая II. И Кузмина, вероятно, тоже...

На самом деле Смеляков в своем роде хороший поэт: формальные особенности его стихов в точности соответствуют содержанию. Они такие же, как вещи, о которых он пишет: невзрачные, старомодные, неизящные, но в своем роде основательно сделанные, рассчитанные на употребление несколькими поколениями. Рост потребностей не прогнозировался, но и Госплан часто попадал в лужу.

Михаил Исаковский — единственный автор, удостоившийся прижизненного издания в «Библиотеке поэта». В *нормальной* по нашим представлениям культуре он вообще не попал бы в поле зрения серьезной критики и серьезных издателей, но заработал бы миллионы (как автор слов всемирного шлягера — «Катюши»). Однако мы ничего не поймем в советской литературе, если упустим из виду свойственную ей крайне своеобразную эстетическую иерархию: высоким считалось все, нацеленное на осуществление политики государства по отношению к личности. У Исаковского с его песенками в стиле кантри («И кто его знает, чего он моргает») тоже была в рамках этой политики своя функция, а, скажем, романсы Вертинского лишь допускались по личной прихоти любившего их Отца Народов. Дело в том, что слушатель Вертинского — все же взрослый, хотя и очень простодушный человек, а идеалом тоталитарного государства был «вечный ребенок» — уже не гибнущий ребенок, как в романтическую эпоху Багрицкого и Гайдара, но никогда не взрослеющий. Повзрослеть советских людей заставила война — точнее, она заставила сталинское государство разрешить своим рядовым подданным повзрослеть; людям, которых убивали тысячами ежедневно в течение десятилетий, в порядке исключения разрешили думать о смерти. И именно в конце войны Исаковский пишет «Враги сожгли родную хату», великую жалобную имперскую песню про убитую семью и медаль за город Будапешт; многое пройдет, а песня эта останется. Фотография — инвалид с баяном в электричке. Может быть, слепой или полуслепой, как сам Исаковский (очки — тридцать диоптрий).

Гордость советской литературы — Твардовский (стихи — гордость официоза, журнал — либералов). Он действительно на голову выше своих товарищей. Об отношении его к советской власти — см. Солженицына («Бодался теленок с дубом»): «...стал напротив нас быковато и крикнул в тоске: “А кем бы был я, если бы не революция?”» Других аргументов в пользу советского строя у редактора «Нового мира» в январе 1962 года не нашлось.

Как это понимать? Твардовский был достаточно умен и не настолько все же плохо образован, чтобы знать: ему, сыну состоятельного и грамотного хуторянина, ничто не мешало без всякой революции окончить гимназию и университет и стать писателем; ничто, кроме традиционного крестьянского уклада. Вот строки из стихотворения 1939 года:

О детство! Смех и горе.  
Десятою травой  
На хуторе Загорье  
Порос участок мой.  
Ни знака, ни примет  
Сегодня не найдешь.

Ни Белой Горки нету,  
 Ни Желтой Горки — рожь,  
 Высоко, гордо вскинув  
 Свой колос золотой,  
 Границы хуторские  
 Укрыла под собой.

.....  
 Налево и направо  
 Лежит во все концы  
 Свой край, своя держава —  
 Служите, молодцы!

Итак, родного хутора больше нет, отца раскулачили и сослали — сыновей вытолкнули в «большую жизнь», обрekli на самореализацию. Самореализация же в качестве поэта необходима крестьянскому сыну, чтобы (так, думаю, рассуждал он) выразить «то, что я знаю лучше всех на свете», что никаким барчукам, писавшим стихи и прозу в старые времена, недоступно и что ни от какой советской власти, по правде, не зависит. Потому что можно воспевать коллективизацию («Страна Муравия») или проклинать ее («По праву памяти»), но какая разница, колхозник или единоличник Василий Теркин, однофамилец табачного фабриканта XIX века? Россия и прежде воевала и голодала, и прежде «сапогами пахло, потом, мерзлой хвоей и махрой», и, как прежде, в цене выносливость, смекалка и воля к жизни. Мертвый солдат, убитый подо Ржевом, пал не только «за Родину», но и «за дело святое, за Советскую власть»; сто лет назад он с такой же простотой сказал бы «за царя и веру» — тоже чисто ритуальные слова.

О вере: никакой метафизики в этом мире нет, и не потому, что цензура не дозволяет; это выглядит очень естественно. Во что Твардовский, похоже, верит — это в души мертвых, их волю, их суд (волю и суд убитых на войне; но, повторяю, только в связи с войной и можно было говорить о смерти). Язычник; и настоящий крестьянин — крепко пьющий, но притом очень здравомыслящий (что, кстати, вредит его лирике), лояльный власти и хитрящий с ней, хозяйственный, крепко держащийся за *свое* — жизненный опыт, языковую манеру... Символ советской поэзии, он оказывается на поверку «из другой оперы»: немудреные вещи, которые он выражал, — из того немногого, на что советский эксперимент никак повлиять не мог просто в силу неизменности человеческой природы.

И все же Твардовский оказался центральной фигурой советской поэзии не случайно. Это вопрос не содержания, а жанра. Советская культура со справедливой опаской относилась к лирике, индивидуалистическому и непредсказуемому роду поэзии. Ей был жизненно необходим эпик, выразитель общественного бытия, повествователь на службе нации; но эпос Твардовского, верного гражданина советского общества, прошел мимо сущностных черт этого общества. Своего потенциального великого эпика российско-советское государство дождалось лишь тогда, когда одряхлело и уже ничем не могло прельстить — да толком и запугать уже ничем не могло. Этого эпика звали Иосиф Бродский. Мы знаем, что он избрал иную дорогу. Конечно, к счастью: что за радость быть Вергилием полумертвого Рима.

### **Внутренняя оппозиция**

Мы уже говорили о том, как трудно иногда провести черту между собственно советской поэзией и «внутренней» эмиграцией. Неоднозначность внутреннего настроения и внешней ситуации Пастернака, Мандельштама и Заболоцкого общеизвестна. До мозга костей чуждый советской культуре и до 55 лет не напечатавший ни строчки Арсений Тарковский в начале 1960-х неожиданно для себя выбыл из компании Сапфо и Иисуса Христа и до конца жизни почти не имел сложностей с публикацией. Его учитель Георгий Шенгели очень хотел занять место, доставшееся Рождественскому и Антокольскому, но не был востребован: то ли талант был крупнее нужного (с большими мастерами советской власти было хлопотно возиться — Заболоцкому, скажем, потребовалось восемь лет трудового перевоспитания, и то не до конца переучили), то ли как раз невостребованность государством и дала ему возможность реализовать и сохранить себя как поэта.

Были авторы, просто не совсем своевременно родившиеся. Так, Дмитрий Кедрин, убитый в электричке в 1945 году, — на первый взгляд истинный *хороший советский поэт* шестидесятых—семидесятых; ему бы в компанию к Кушнеру и Самойлову: и пейзажная лирика (кстати, неплохая), и повествовательные исторические стихи с ощутимо прощупывающимся кукишем в кармане, вроде знаменитых «Масте-

ров», и подражания украинским песням — все из этого ряда. Но лучшее у Кедрина — «Поединок» (1933), заставляющий вспомнить Олешу; здесь всё еще пооткровенней, чем в «Зависти» или «Смерти Занда»: хилый интеллигент жертвует возлюбленную некоему «физкультурнику», человеку нового общества, представителю новой, здоровой и лишенной рефлексии расы. В шестидесятые он этого не написал бы.

Еще одно стихотворение, резко меняющее наше представление о Кедрине и заставляющее думать, что в нем таилось нечто куда более сложное и неожиданное, чем собирательный «вице-кушнер», — *не опубликованное по сей день*\*:

### Должник

Подгулявший шутник, белокурый, как турок,  
Захмелел, прислонился к столбу и поник.  
Я окурочек мой кинул. Он поднял окурочек,  
Раскурил и сказал, благодарный должник:

«Приходи в крематорий, спроси Иванова,  
Ты добряк, я сожгу тебя даром, браток».  
Я запомнил слова обещаенья хмельного  
И бегущий вдоль потного лба завиток.

Почтальоны приходят, но писем с Урала  
Мне в Таганку не носят в мешке на боку.  
Если ты умерла или ждешь перестала,  
Разлюбила меня — я пойду к должнику.

Я приду в крематорий, спущусь в кочегарку,  
Где он дырью чинит на коленях штанов,  
Подведу его к топке, пылающей жарко,  
И скажу ему грустно: «Сожги, Иванов!»

1934

На другом полюсе были случайно допускавшиеся время от времени к изобретению Гуттенберга авангардисты — сознательные, как Леонид Лавров, и стихийные, как Ксения Некрасова. Понятно, что они были обречены на роль маргиналов, но по тем временам и это было удачей.

Сложнее и интереснее всего судьбы двух сибиряков — прииртышского казака Павла Васильева и сына инженера-железнодорожника с Великого сибирского пути Леонида Мартынова. Был еще третий, менее значительный, — Сергей Марков; в 1932 году все трое были арестованы (по одной из версий) из-за троцкистских стихов Мартынова. Вскоре их освободили, сам Мартынов больше в тюрьме не бывал, Марков провел годы в ссылке и составил словарь сибирских географических названий; жизнь Васильева в последующие пять лет состояла из взлетов (широкая известность, публикации, выход отдельным изданием «Соляного бунта») и социальных неудач (разоблачительные статьи людей самого разного калибра — от Бескина до Горького). В 1935-м его арестовали вторично, но вскоре отпустили. Он был чуть ли не единственным легальным человеком-скандалом тридцатых, единственным разрешенным исключением: в то время как других тихо запрещали (а потом тихо убивали), ему из каких-то видов позволено было публично существовать, писать неортодоксальные стихи, шумно кутить, подвергаться разносам (но не уничтожению) за «кулацкую пропаганду» и дебоши, каяться и «целовать злодею ручку» (как бы от имени Клюева и Есенина, которых он в одном лице воплощал) и снова «грешить». И так до самого Большого Тррора, которого такой человек пережить уже, конечно, не мог. Его расстреляли по одному делу с Артемом Веселым и Иваном Приблудным (учеником и «телохранителем» Есенина, агентом ГПУ, позже раскаявшимся и раскрывшим себя — и, как считают, одним из прототипов Ивана Бездомного).

Все это объясняет очень многое в поэзии Васильева. Его не зря считали своим или почти своим старшие — Клюев, Мандельштам, Пастернак. Однако стилистически Васильев часто похож не на этих поэтов, а на Багрицкого, и, возможно, известная мандельштамовская эпиграмма на Васильева («Петух мяукнул, кот заржал, казак еврея подражал») относится именно к нему, а не к самому Мандельштаму и не к Бабелю (как принято считать). Горький сказал о Васильеве — «от хулиганства один шаг до фашизма». Не от хулиганства, конечно, а от культа Силы — и обоим, Багрицкому и Васильеву, как раз один этот шаг и оставался. Но то ли впрямь казаку евре-

\* Выражаю благодарность Е. В. Витковскому, познакомившему меня с этим текстом, и С. Д. Кедринной, дочери поэта, любезно позволившей привести его в настоящей статье.

ем не бывать, то ли личный опыт и личный склад были слишком различны... Васильев не мог с такой самозабвенной страстью возненавидеть свой дом и свою сущность. Не случайно Бескин, Безыменский и проч. находили в яркости, с которой обрисованы «кулаки» и «белоказаки», и бледности образов «красных» достаточное свидетельство его неблагонадежности.

Дом стоит на медвежьих ножках,  
И хозяин в красных сапожках  
На деревянных гнутых ногах  
В облачных самоварных парах  
Бьет ладонью о крытый стол,  
Бьет каблуками в крашенный пол,  
Рвет с размаху расшитый ворот  
К чертовой матери!..

Васильеву не нужно было уходить в поисках Силы в большевистскую бездомность. *Сила* была у него дома, в казачьем Прииртышье. Свои отношения с этой Силой он выяснил «Соляным бунтом» — одним из немногих в русской поэзии XX века примеров подлинного эпоса. Сам сюжет — восстание «киргизов» (*казахов* в нынешнем понимании) против *казаков*-завоевателей, заставляющих их добывать соль, переход казака Гришки Босого на сторону восставших, его гибель — все это, казалось бы, вполне соответствует официальной идеологии (в ее интернационалистском изводе). Но это лишь на первый взгляд; на самом деле (как легко убедиться, перечитав поэму) Гриша убивает вместо девушки-киргизки своего атамана не из классовой солидарности и не потому, что «родство по духу выше родства по крови» (как считает Н. Елисеев\*), а потому, что в жилах иртышских казаков издавна течет киргизская кровь, «слишком красная, чтобы смешаться с иной». Кровь не отвергается, она равносильна жизни, она связывает противников, а противопоставляется ей не дух, а *соль* — символ смерти, разделяющий «братские» (почти одноименные!) народы.

Что?  
Бунт соляной?  
Эдак скоро  
будет  
бунт кровавой!

Крепости и жестокости казачьего быта противостоит не романтическая революционная безбытность, а традиционный кочевой мир, связанный с *кровью и почвой* еще неразрывнее. В конечном итоге синтез порождает новую нацию; поэма Васильева именно об этом. «Соляной бунт» понятен в контексте сибирского «областничества», довольно сильного в 1920-е годы. Центробежные тенденции той поры (конечно, вызванные к жизни революцией), выразившиеся на стилистическом уровне в орнаментальной прозе и поэтических вещах типа «Уляляевщины», здесь (как и в более раннем «Азиате») выражены с идеологической отчетливостью и прямоотой. В тридцатые, когда в государстве и в его языке возобладали тенденции центристско-ремонтельные, а индустриализация и коллективизация предрекали конец любому традиционному быту, Васильев должен был ощущать себя скорее побежденным, чем победителем. В этом, кстати, его отличие не только от Багрицкого, но и от Корнилова и Прокофьева, красных искренне, а потому не в ущерб поэзии. Но и систематически писать в стол, почти без надежды на публикацию, как те же Клюев и Мандельштам, как обэриуты (или хотя бы как его сверстник и приятель Семен Липкин), он тоже не мог. Советское общество было для него и своим, и чужим одновременно. Вот замечательный пример «внутренней раздвоенности» — стихотворение «Друзьям» (1935), одно из вершинных у Васильева:

Прощайтесь со мной, дорогие,— я еду  
Собирать тяжелые слезы страны.

А меня обступят там, качая головами,  
Подпершись в бока, на бородах снег:  
«Ты почто, бедовый, бедуешь с нами,  
Нет ли нам помилования, человек?»

Я же им отвечаю всей душой:  
«Хорошо в стране нашей — ни грязи, ни сырости,  
До того, ребята, хорошо!  
Дети-то какими крепкими выросли.

\* Его статья о «Соляном бунте», с тезисами которой автор любезно познакомил меня, была написана в 1987 г. и осталась в рукописи.

Ой и долог путь к человеку, люди.  
 Но страна вся в зелени — по колено травы.  
 Будет вам помилование, люди, будет.  
 Про меня ж, бедового, спойте вы».

Путь Мартынова совсем другой. Провинциальный футурист, скиталец, он начал с сюрреалистических фантазий, в которых отразились воспоминания о гражданской войне; его «Река Тишина» (1929) и «Январка» (1932) — композиции на редкость изысканные, хотя и не глубокие. Очень своеобразное просодическое мышление Мартынова здесь накладывалось на визионерский дар:

Ты хотел бы вернуться на реку Тишину?  
 Да, хотел бы.  
 В ночь ледостава.  
 Но отыщешь ты лодку хотя бы одну,  
 и не кажется ли тебе,  
 что нарушена переправа  
 через темную Тишину?

Советским поэтом — в худшем смысле слова — он стал лишь в сороковые годы. Поздний Мартынов — это, за небольшими исключениями, собрание бойких плоскостей. Его популярность в годы оттепели объяснима: он казался живым памятником двадцатых годов с их технократически-прогрессистским духом, милым сердцу лирических физиков.

Ностальгия по этим годам и этой эстетике пробудилась еще перед войной, породив такой достойный изучения феномен, как «школа ИФЛИ» (я предлагаю толковать этот термин расширительно — речь идет не только о студентах Института филологии и литературы). Это было уже новое поколение, заставшее сталинское общество стабилизировавшимся. Принимали ли они его? Скорее нет. Общеизвестно, что Павел Коган, Михаил Кульчицкий и другие были фанатичными коммунистами, но скорее стихийно-троцкистского толка. Это, разумеется, не мешало им (или части их) искренне верить, что Троцкий — враг народа; но не зря же их обуревали мечты о Мировой войне, переходящей в Мировую революцию («Уже опять к границам сизым составами тайные идут, и коммунизм опять так близок, как в девятнадцатом году... Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще пройдем моря...»), и не нравилось вмешательство государства в эстетические вопросы (Ленин и Троцкий здесь были либеральны, особенно в сравнении с преемниками). Именно в этом кругу подвизался юридический бунтарь Глазков, придумавший слово «самсебяиздат». Позже именно из выживших участников этой плеяды вышли многие диссиденты.

Самой странной фигурой в этом кругу был, конечно, Павел Коган. Некоторые эпизоды его биографии (исключение из комсомола за неортодоксальные стихи — «Я говорю — “да здравствует история”, и, задыхаясь, падаю под трактор»; зафиксированный в воспоминаниях Виктории Мильт смелый отзыв о финской войне) заставляют предположить, что он во многих отношениях был «белой вороной». И все же монументальные строки про родину «от Японии до Англии», пластически четко выражавшие новый имперский пафос, сошли именно с его пера. Есть одна довольно шокирующая (но, увы, не лишенная правдоподобия, тривиальная для той поры) трактовка противоречий его поведения до войны и на фронте (где он, как говорят, искал смерти), отразившаяся, в частности, в примечаниях к недавно вышедшему в Англии собранию стихотворений Слуцкого. Мы предпочтем ей не верить, пока не увидим доказательств.

Когда в 1940 году книгу Цветаевой выбросили из издательских планов, молодые поэты во главе с Коганом пришли в «Советский писатель» требовать справедливости. Сфотографируем их в этот, видит Бог, неплохой, достойный момент. Ведь военных фотографий, как и военных текстов, почти не осталось. Их слишком быстро убили. Написать по-настоящему хороших стихов они так и не успели; только у Николая Майорова есть два-три замечательных стихотворения.

И все же один крупный поэт из этого круга состоялся. Это был последний по-настоящему советский поэт. Он не мог не быть последним.

### *Советский Слуцкий*

Борис Слуцкий, очерком о котором мы заканчиваем эти заметки, — едва ли не полная противоположность Багрицкого, с разговора о котором мы их начали, несмотря на общность национальной и социальной среды, из которой оба вышли.

На кого же Слуцкий похож? Позволим себе не очень корректный прием. В словаре русских поэтов, коли такой когда-нибудь выйдет, его соседом окажется Константин Случевский. От обоих почти не осталось совершенных стихотворений (от Слуцкого вообще ни одного), но в каждом тексте обоих есть какая-то волнующая острота, какой-то смелый поворот, и именно в силу этой недоовоплощенной смелости оба оказали важное влияние на следующее за ними поколение поэтов. Это во-первых; во-вторых, Слуцкий был членом партии и постоянно это подчеркивал. В молодости он был комиссаром и судьей трибунала. Случевский тоже был в своем роде «членом партии», даже, если угодно, кандидатом в члены ЦК (редактор «Правительственного вестника», гофмейстер двора); был он и цензором, причем очень суровым. При этом у обоих не было никаких иллюзий в отношении общества, которому они служили. Как и в отношении человечества вообще.

Посмертные публикации приоткрыли главную тайну Слуцкого и дали понять его подлинное значение. Понимая про советское государство и общество чуть ли не все, он в то же время полностью идентифицировал себя с ним. Почему?

Здесь были, конечно, и соображения чести — человеческой, поэтической, даже, если угодно, офицерской. Борис Слуцкий всерьез воспринимал присягу.

Всем лозунгам я верил до конца	И если в пропасть рушится скала
И молчаливо следовал за ними,	И бездна открывается немая,
Как шли в огонь во сына, и отца,	И ежели ошибочка была —
И голубя Святого Духа имя.	Вину и на себя я принимаю.

Но было и нечто еще — гораздо более важное.

В Галилее Бога распинают	...Я плачу все то, что наложили,
С каждым днем решительней и злее,	Но смотрю невинными очами,
Но зато такое что-то знают	Чтобы, как лишенца, не лишили
Люди Галилеи.	Голоса меня в большом молчаньи.

Что же они *знают*, о чем это «большое молчанье»? Слуцкий все ходил вокруг да около, ведь и ему не хватало слов. Кое-что прорывалось еще в юности, до войны: «...мы впервые смахнули / С человека золотую пыльцу». Это о деньгах, но ведь «золотая пыльца» не только деньги, это (можно понять и так) — старая культура с ее «украшательством», гуманистическая ложь. Советское общество казалось молодому Слуцкому жестоким, «железным», но честным. Пройдя через окопы, и через безмерно тяжелые для него (и для всех поэтов-фронтовиков) словачиные многих послевоенные годы, и через годы оттепели со славой и позором (речь, конечно, об участии в травле Пастернака), он намекнет на тайну «снежной Галилеи» так:

Комья глины на крышку гроба валя  
(Нынче старым богам — не житье),  
Пустоту мы еще не пробовали.  
Что ж! Попробуем и ее.

Этот ужас пустоты, открывшейся после постепенной утраты всех иллюзий, и мужественное ее принятие сближают Слуцкого с одним из любимых поэтов его молодости, с Ходасевичем. Но, как ни соблазнительно было бы увидеть в Борисе Слуцком тот самый результат прививки «классической розы» к «советскому дичку», от этого образа придется отказаться. В формальном отношении Слуцкий скорее идет от футуристической традиции, от Маяковского, но и тут связь лишь косвенная. Можно найти аналогии с некоторыми сверстниками, скажем, в Польше (Ружевич, Херберт). Как и эти поэты, Слуцкий видит особость поэтического языка не в том, чтобы сказать невозможное для прозы, а в том, чтобы не сказать лишнего. Отсюда рукой подать до мысли, что сказать все равно нельзя ничего, другими словами, до концептуализма, до Всеволода Некрасова, Льва Рубинштейна. Без Слуцкого этих авторов не было бы или они были бы другими. Да и Бродский был бы другим\*. Так что влияние его, с каким знаком его ни оценивай, действительно было сильным.

Русский ты или еврейский?  
Я еврейский русский.  
Слуцкий ты или советский?  
Я советский Слуцкий.

\* Бродский в 1960 г. ездил к Слуцкому в Москву и показывал ему свои стихи, а позднее всегда называл его среди своих учителей. Вообще вопрос о влиянии Слуцкого на поэзию 1960—1990-х сложен и требует, может быть, отдельной статьи.

Это еще один аспект темы. В этой эпиграмме Всеволода Некрасова что ни слово, то правда. Если считать «советское» концентрированным, предельным выражением «русского» — Слуцкий предельно русский поэт. Но в то же время он еврей, умник с холодной головой, на все глядящий со стороны, все про всех знающий и понимающий.

Пуля меня миновала,  
 Чтоб говорили не лживо:  
 Евреев не убивало,  
 Все возвратились живы.

Еврейская тема интересует Слуцкого не в контексте «высокой русской культуры» или христианской цивилизации, а исключительно в контексте советского общества и государства, с которым у евреев были отношения такие противоречивые и запутанные, как, может быть, ни с одним в истории. К антисемитизму он относится с таким же насмешливым стоицизмом, как и ко всему на свете, и, как солдат и мужчина, не любит специфической пугливой истерики:

Еврейские беды слышались первыми,  
 Их голоса звучали звончей,  
 Поскольку не обделили нервами  
 Евреев в эпоху дела врачей.

Потом без нервов, с губами сжатыми  
 Попер Чечни железный каркас.

Дальше — о немцах, крымских татарах и равнодушной Истории; в конечном счете все советские полвека — это цепь убийств, и нельзя «нарезать беду, как баранину». Из всех вариантов поведения — уйти в фиктивный мир наспех усвоенной культуры (как один из его друзей — Давид Самойлов) или занять позу обличителя (как другой сверстник — Александр Галич) — Слуцкий выбрал самый безумный — самоидентификацию и с убитыми, и с убийцами.

При этом он был (или по крайней мере стал) «совершенно гнилым либералом». Если Твардовский, тоже «гнилой либерал», мог не понимать, что свобода, во-первых, окончательно разрушит то, что осталось от крестьянского уклада, а во-вторых, породит новых «снобов», которые неминуемо отвергнут его поэзию, то Слуцкий, похоже, понимал все. Опыт людей «снежной Галилеи» обречен на гибель вместе с самой «Галилеей» при первом же серьезном потеплении. Может быть, именно поэтому он так пытался сохранить его.

Одновременно со славой Слуцкого гремела молодежная субкультура Евтушенко — Вознесенского — Аксенова, убеждавшая новое поколение, что и при советской власти можно быть раскованным и щеголеватым. Одновременно шло вторичное освоение поэтической техники Серебряного века; удивительно не то, как быстро она была освоена (тот же Самойлов уже в шестидесятые годы писал не хуже добротного поэта-эмигранта первой волны — правда, и не лучше), а то, что десять лет спустя из этого освоения зародилась новая, в своем роде замечательная поэтическая школа. Что-то из советской поэзии пошло впрок, большинство авторов и текстов было отброшено.

Классическая эпоха кончилась. Ее последний поэт психически заболел, оставил литературу в 1977 году и умер в первый год перестройки, успев предсказать окончательное торжество общества потребления, где «хорошо будет только по части еды». Его фотография — последняя в альбоме. Он снят в обществе фронтовых товарищей — капитана, который «в Бухарест вернулся без жены», «догматика майора Петрова», не вернувшегося с войны поэта Кульчицкого. Эти люди в форме — наши родственники. И те, на предыдущих страницах, тоже. Мы слишком похожи на них.

Поэтому не торопитесь забрасывать альбом на дальнюю полку.



Ольга СЛАВНИКОВА

---

## «Читать мучительно не хочется...»

Начну с чистосердечного признания: мне, человеку, жадному едва ли не до любого текста, профессиональному, между прочим, читателю (редактору, критику и т. д.), стало за последние три примерно года все труднее погружаться в чужие повести, романы и даже эссе. Неправда, что я, будучи в Букеровском жюри, просмотрела у большинства произведений только первые десять страниц (так почему-то журналисты истолковали мои слова о том, что не надо съедать всю кастрюлю до дна, чтобы определить, каков у супа вкус). Прибывшие на мой домашний адрес коробка и мешок книжно-журнальной продукции были проработаны где-то на девяносто пять процентов: я пропахала эту целину (местами такую кочковатую и черствую, будто *этого* не читал еще ни один человек) с добросовестностью колхозного трактора. Но чего мне это стоило, господи!

Не потому, что номинированные романы, а также не совсем романы были плохи: как раз наоборот. Верхний уровень, являющийся в идеале уровнем суждения жюри, оказался высоким и даже впечатляющим (к слову — неудовольствие многих критиков лауреатом и шорт-листом объясняется, как я думаю, не тем, что члены жюри «гасили» друг друга, как это представила, кажется, газета «Коммерсантъ», а тем, что взаимно «гасились» как раз произведения, связанные чем-то вроде круговой вторичности, так что выбирать пришлось для начала шкалу). Задним числом я понимаю, что многое тогда недооценила (например, «На круги Хазра» Афанасия Мамедова, «Корону великого княжества» Владимира Бутромеева, «Подлинную историю “Зеленых музыкантов”» Евгения Попова). Вернее, недополучила того удовольствия, что было для меня заготовлено автором. Вообще читатель и писатель — неравноправные партнеры: последний всегда получает больше, чем первый. Суть коммуникации — как я это представляю — в том, чтобы читатель, следуя за писателем, как можно полнее, хотя и на собственный *непроизводственный*, пассивный лад, пережил его творческие ощущения. Читатель — это автора: в ответ на слова рождается звук, и этот звук порой и есть настоящая музыка произведения. Проще говоря, писатель закладывает, а читатель извлекает. В нормальных условиях (в чем именно они состоят или состояли, непонятно, это не н. у. опыта по физике, о которых так легко договориться), — итак, в нормальных условиях существования литературы тренированный читатель добывает примерно половину того, что имеется в тексте. Но сейчас в тексты закладывается много (по-моему, плач по гибнущей русской словесности наконец-то сменяется осторожными высказываниями в том смысле, что и проза, и поэзия *вроде бы* переживают подъем), а вот извлекается все меньше и меньше. Чтобы не быть голословной и не выдавать свою любимую мозоль за индикатор мировых процессов, сошлюсь на газету «Книжное обозрение». «Что читает Россия?» — под таким глобальным заголовком в № 22 «КО» опубликована статья Ольги Либовой и Елены Муравьевой, основанная на исследованиях, проведенных журналом «Звезда», питерским отделением ПЕН-клуба, НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ и другими столь же авторитетными организациями среди 10 000 читателей провинциальных российских библиотек. «Анализируя репертуар чтения в течение пяти лет, мы зафиксировали совершенно несвойственную русскому человеку тенденцию — падение интереса к современной отечественной литературе и к произ-

ведениям, публикуемым в толстых литературно-художественных журналах», — сообщают авторы статьи. И далее: «Новые романы и повести современных отечественных авторов в формулярах встречаются крайне редко». Это уже не эмоции, это упрямые факты.

С другой стороны, и сами люди, профессионально причастные к литературе, болеют той же болезнью. Заголовок данных заметок взят из книги Льва Рубинштейна «Случаи из языка», и полностью цитата выглядит следующим образом: «Читать критическую литературу мне, как ни странно, интереснее, чем беллетристическую, которую, за редким исключением, читать вообще мучительно не хочется». Утешительно, что Рубинштейн, выступающий здесь в ипостаси критика и эссеиста (человека актуальных художественных практик), живо интересуется хотя бы продукцией собственного цеха. Что же касается чистого беллетриста, то критик Павел Басинский набросал однажды в «ЛГ» совершенно братоубийственный портрет творца современной словесности. Согласно Басинскому, нынешний беллетрист, как некий новый Мао Цзэдун, никого, кроме себя, не читает и читать не желает, публикации собратьев по перу воспринимает как злостные, лично против него направленные диверсии. И при этом обижается на критика, что критик про него не пишет или пишет не так, как хотелось бы беллетристу. Тут вспоминается получившая в свое время «Антибукера» пьеса Олега Богаева «Русская народная почта». В ней главный герой, одинокий пенсионер Иван Сидорович, сам себе сочиняет волнующие письма от разных персон и даже явлений, а чтобы их «получить», прячет конверты в разных укромных щелях своей комнаты. Писатель, ясное дело, «прячет» рукопись в столе не своем, а редакторском, откуда она «перепрятывается» в типографию, и далее автор буквально получает ее по почте в виде номера журнала, если он, предположим, на журнал подписан. При этом, читая самого себя, писатель уже как читатель может отправить автору прочувствованный отзыв — или, например, в голове его настолько ясно составится желанная рецензия на текст, что слова сами лягут на перо. Следуя за Богаевым до финала пьесы, где у Ивана Сидоровича сам собой открывается шкаф, вообразим аналогичное событие в кабинете беллетриста: разверзнутся дверцы, а внутри не пиджак и не скелет, а плывущие под ноги зрителя рецензии, рецензии, восхищенные письма от президента РФ, от британской королевы, от Папы Римского... Карикатура, конечно, получилась злая, но, как ни обидно, отражающая действительность. Чем, как не механизмом «запирывания», можно объяснить неадекватность некоторых пишущих, при этом весьма успешных, персон? Вот парадокс: казалось бы, писательская ревность должна способствовать тому, чтобы любая заметная новая вещь распространялась в профессиональной среде со скоростью пожара. Однако дело обстоит ровно наоборот: чем сильнее накал околотелературных — скажем, околопремиальных — страстей, тем надежнее запорты сами в себе конструирующие тексты.

Получается, что равным образом не читают как «простые», зачастую вообще не имеющие представления о существовании современной русской литературы, так и «сложные», такое представление имеющие, но желающие его модифицировать на собственный манер. В данных заметках я хочу поговорить о причинах «не-чтения», заведомо сваливая в кучу как резонные, так и самые параноидальные мысли. Желющие могут ненужное вычеркнуть, а нужное подчеркнуть.

Сколько ни иронизировали над гоголевским Петрушкой поколения школьных учителей, все-таки именно Петрушка представлял собою базовый тип идеального читателя: «Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся; ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник, — он все читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше само чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит». Чувственное удовольствие от чтения, которое в полной мере получает простодушный Петрушка и которое все мы смутно помним по общению с первыми книжками, — вот непрременная основа наслаждений более тонких, которые становятся доступны потом и поддерживаются хорошим издателем через уважение к книге как к материальному предмету. За столетия существования

книгоиздательского дела была разработана целая наука чувственного обольщения читателя: тут и мускулистый корень книги, переваливающий справа налево и слева направо многостраничные пласты, и теплый рельеф переплета, и нежная, словно прессованная с воздухом и пылью, папиросная бумага на сочной, медленно отлипающей иллюстрации, и однообразное безумие шрифта, собственное его произношение и даже иностранный акцент, и самая тяжесть тома, ощущаемого в руке как сверток с увесистым сокровищем... Книга, как никакая другая вещь, обладает качеством *натроганности*, то есть способностью впитывать человеческие прикосновения и развивать собственную чувственную память; в хорошей книге даже пятна от чая и кофе с годами становятся похожи на гербарий, и можно написать целую диссертацию о хрупких, слюдянистых, двухмерных вещах, годами сохраняемых в толще домашних томов.

Не сказать, чтобы искусство обольщения утрачено совсем: взять хотя бы книги издательства «Грантъ» — эти плотные атласистые плитки удивительно приятны на ощупь, а двух-, трехтомники «Вагриуса» (Битов, Маканин) пусть не в тему, но весело и празднично напоминают своими металлизированными тиснениями «золотинки» от шоколадных конфет. Но преобладают, конечно, «отрицательные» факты: так, издательство «ЭКСМО» является, на мой взгляд, абсолютным чемпионом в зачете на вульгарность. Серии фантастики этого издательства замечательны тем, что персонажи, изображенные на обложках, — мужики с говяжьими мускулами, девицы в эротических тряпочках, — не соответствуют ни одному из героев скрытого под этим безобразием текста, а серия детективов «Черная кошка» — так просто инвалидная команда перекошенных томов, сделанных не столько пером, сколько топором, вдобавок переплетенных во что-то красное, словно оставшееся от производства заводских пропусков. Вообще львиная доля книг напоминает сегодня дрова, и тут уж ничего не поделаешь: рынок требует дешевого массового производства развлекательного товара. Однако причина утраты чувственной радости от чтения — не только и не столько неряшливость издателей.

Хотела бы ошибиться, но мы вообще утрачиваем чувственный мир вокруг нас. Оттого и пишут литераторы так сухо: не отвлекаясь, прямо скажем, на трепет льющихся листьев и скольжение солнечных зайчиков. По-моему, ни один современный прозаик не способен описать прозрачный предмет, хотя бы простое оконное стекло. Соответственно и читатель столь же «непрозрачен» и неприхотлив на манер деревенской козы, спарывающей убитую в земле траву вместе с бумажками и окурками. Ища, допустим, в предмете значение и символ, ни писатель, ни читатель не видят его *каллиграфичности*. Что уж говорить о героях прозы, обитателях странных условных миров, что напоминают в лучшем случае музейную панораму, а в обыкновенном случае витрину универмага! В мире некой *подделанной* прозы, где все дожди одинаковы, будто граненые стаканы, где воздух ровен и не имеет запаха, где каждый предмет покрашен только с одной стороны, где, берясь за ручку двери или за спинку стула, берешься за пустоту, — там при нехватке вещества и соответствующей языковой недостаточности у персонажа наблюдаются сенсорный голод и нарушение повествовательных функций. Хочет того или нет уважаемый автор, но герой его, не ведающий, что стенка твердая, а вода по большей части мокрая, не чувствует ни боли, ни особой радости, не говоря об оттенках переживаний, наделить которыми его возможно в той же степени, как заразить гонконгским гриппом металлорежущий станок.

Виктор Пелевин, который вообще-то не дает интервью, в интервью «Комсомольской правде» высказал любопытную гипотезу: «Я допускаю, что скоро рекламу будут размещать в романах, и если герои будут пить шампанское определенного сорта, то на это будут существовать расценки». Такая экстраполяция кажется уместной не только идеологически, но и эстетически: на голых поверхностях кое-как сколоченного текста (хоть бы и на условном столе, вокруг которого по какому-то случаю собрались персонажи) так и хочется написать: «Это рекламное место сдается», — и телефон. Представляется, что вторжение *настоящей* бутылки в пространство облегченной бутафории и дырок от бубликов даже освежит иную неживописную прозу, так что польза от рекламы выйдет не только финансовая. Между прочим: борьба актуальных критиков с «жизнеподобной» литературой строится, по-моему, на том произвольном допущении, будто такая литература в принципе возможна. На самом деле чем «жизнеподобнее» проза, чем сильнее в

ней чувственный посыл, взаимодействующий с авторским сознанием и с сознанием персонажей, тем дальше эта проза от жизненной «правды». На самом деле словами ничего нельзя списать с натуры: как только некий предмет или герой начинают по-настоящему «материализовываться» в словесной ткани, так сразу автор обнаруживает, что он все выдумал. «Таким образом, борясь с чистым искусством, шестидесятники, и за ними хорошие русские люди, вплоть до девяностых годов боролись, по неведению своему, с собственным ложным понятием о нем...» — писал Набоков в четвертой главе «Дара», посвященной, как известно, самобытной персоне Чернышевского. Очень может быть, что «собственное ложное понятие» о «человеческой» литературе, выстроенное на гранитном фундаменте советского чтения, окажется у этих критиков настолько прочным, что они так никогда и не поймут, что обстреливают макет. Таким образом, утрата чувственного мира и замена наличествующей вещественности на понятийный (пусть и «продвинутый») безнал приводят к конфликтам на ровном месте. Точно по той же причине все три субъекта литературного процесса — писатель, читатель и критик — хронически путают эротику и ненормативную лексику: мат, бывший во времена перестройки скорее политикой, нежели эстетикой, сделался теперь неизвестно чем, а эротика своей эстетикой так и не обрела и если развивается куда-то от жанра технической инструкции, то движется стараниями Владимира Сорокина в обратную сторону от нуля.

Гоголевский Петрушка получал от чтения физическое удовольствие, сходное с детской радостью от составления кубиков: нечто подобное, вероятно, испытывают сегодня только завязтые отгадчики кроссвордов. Буква — такая занятная ловкая штучка, с которой пробоval поиграть в рисунках и текстах изобретательный Курицын, — теперь интересна не тогда, когда она кубик, а тогда, когда она кнопка. Мощным конкурентом книги стал компьютер: что может быть приятнее, чем бегать пальцами по клавиатуре и шуровать сподручной мышкой, гоняя по экрану юркую стрелку! В лазании по Сети тоже немало чувственных ощущений: конечно, пока оно грузится и словно упирается там в тупик, набирается в какой-то мешок, и сверлит, и сверлит отверстие, чтобы выйти наконец на монитор, — у человека запросто может подняться артериальное давление. Но зато потом делается так хорошо и приятно, будто это у тебя самого прояснилось в голове. Еще один конкурент литературе — телевизор с его добавочным искушением — дистанционным пультом. Няча эту удобную вещь в ладони и одновременно нежась на диване, человек занимается заппингом: скачет с канала на канал, ухватывая то там, то здесь занятную картинку. Читать не хочется, потому что есть чем занять свободное время, и время буквально утекает между пальцами, для которых кнопки с буквами все равно что семечки: по доброй воле остановиться невозможно.

Главный герой новой повести Владимира Маканина «Удавшийся рассказ о любви» — исписавшийся писатель, облезлый неудачник с заплесневелой фигой в кармане немодного пиджака — работает на телевидении, не дающем средств к приличному существованию (что по жизни неправда, но не в этом суть). Герой ведет культурные посиделки с чаем и конфетами, в ходе которых следует утверждать, будто литература скончалась, не выдержав перехода от совка к реформированной современности. «Телевидению выгодно, чтобы люди не читали. Меньше читают — значит, больше смотрят. Створаживаем словесность», — откровенничает по воле автора работодатель главного героя. Вот еще одна версия причины «не-чтения», которая лично мне кажется параноидальной, но тем не менее чем-то притягательной.

Если где-то что-то плохо, всегда приятно найти виноватого — того, кто *сделал это* с умыслом, организовал диверсию, написал протокол тайного совещания, все разыграл как по нотам... Если, однако, не быть параноиком и идею насчет заговора против русской литературы делить на пять, все равно остается некий баланс интересов, отгесняющий словесность на периферию. Совершенно понятно, что на телевидении, в прочих СМИ, в компьютерном бизнесе, наконец, ворочаются такие деньги, рядом с которыми издательский и книготорговый капитал — сущие кошковые слезы. Агрессивность российских запуганных денег нынче такова, что сильные соседи не дают слабейшим спокойно заниматься их сравнительно тощие рыночные ниши: русский доллар, состоящий, понятное дело, не из центов, а из

рублей, стремится по возможности унифицировать наши потребности — и вовсе не по злому умыслу, а от ужаса собственного существования. На розовой заре книжного рынка был, как мне помнится, противоестественный период симбиоза телевидения с литературой: в хвосте любого популярного сериала тянулся кинороман, поражающий своей примитивностью даже по отношению к первоисточнику. Возникали тогда и курьезы, подобные «глухим телефонам»: допустим, сериал снимался как экранизация некоего литературного, не очень известного у нас произведения, а бойкий издатель, вместо того чтобы сделать перевод, например, с английского, быстренько заказывал перевод «с экранного», получая невменяемый продукт, относившийся к оригиналу, как фрикаделька к корове, но расхваливавшийся по рынку нарасхват. Существовала, между прочим, многотомная серия «Бестселлеры Голливуда», в чей фарш, подобно свободным мясокомбинатовским крысам, попадали и европейские фильмы; читать это можно было, только если год не видеть ничего другого, даже газет. Представляется, что временный союз литературы и TV был не безобиден: визуальное, совсем недолго послужив пищей словесному, отравило его своими токсинами и что-то нарушило в обменных процессах. После «бестселлера Голливуда» читать что бы то ни было, хоть «Анну Каренину», кажется занятием пустым и каким-то безнадежным; кажется, что от слов осталась одна шелуха.

Возможно, книжный бизнес еще почувствует живительный прилив инвестиций — особенно если власть имущие осознают наконец, что приключенческий роман, формируя образ героя и образ врага, не менее эффективен в смысле идеологии, чем самая раскрученная телепередача. Соотношение сил на рынке может измениться. Когда бы романы и правда, как предлагает Виктор Пелевин, оказались насыщены рекламой, то книжки продавались бы существенно дешевле, сделались бы более доступны потребителю, возросли бы тиражи... При этом следует иметь в виду, что массовый читатель, которому на самом деле не хочется читать, сделался уже наркоманом примитива, так что литература как вид искусства вряд ли окажется в выигрыше — скорее она окажется в стороне.

Поговорим, однако, о хороших текстах, нествороженных, несмотря ни на какие происки конкурентов, но словно покрытых непроницаемой пленкой, окруженных силами поверхностного натяжения, которые не пускают читателя далее третьей страницы. Это мучение чем-то похоже на бессонницу: хочешь погрузиться в иное измерение, уплыть по строке, хотя бы просто задремать — и не можешь; сон, то есть текст, выталкивает прочь, реальность держит на весу, угнетая своей неизменностью и в то же время порождая какие-то радужные опухли, норовя спустить свои куски в подступающее сновидение, — и расплывается звуковым рапидом рычание водопровода, и медленно светлеет окно, напоминающая о неотложных утренних делах... Характерно, что, чем плотнее текст, чем он богаче внутренними связями, тем труднее в него окунуться с головой: подобно перенасыщенному соляному раствору, он выталкивает читателя на свою поверхность. Ощущая собственный небольшой удельный вес, в лучшем случае восхищаться какой-нибудь одной метафорой, но места ее в механизме текста уже не поймешь.

Почему-то я не могу, как это делают иные стойкие сограждане, читать в метро. Несмотря на установку разумно использовать каждую минуту (иначе черта с два я сумею выполнить свою ежедневную программу), я предпочитаю терять полтора часа этой лишенной пейзажей электрической езды, нежели бороться с каким-то назойливым ритмом, начисто сбивающим ритм и интонацию, скажем, романа. Эта атмосферная помеха не есть эксклюзивное свойство метрополитена. Сам жизненный ритм и размер сделались таковы, что читать почти не удается. И не только занятые люди, работающие в западном режиме, не способны сосредоточиться на публикации толстого журнала: люди невписавшиеся, не востребуемые, имеющие кучу пустого времени, тоже (и даже яснее) слышат этот механический стук, стук непременно *поперек* журнальных или книжных строчек (так палкой проводят по решетке ограды). Создается ощущение, будто всем нам предстоит маршировать под некий посторонний — если не сказать потусторонний — пионерский барабан.

Критик Мария Ремизова, рецензируя мой роман «Один в зеркале» для «Независимой газеты», высказалась так: «Оставив себе одну только авторскую интона-

цию, не перемежаемую никаким посторонним вторжением, Славникова рискует усыпить читателя, чье сознание, подчиняясь общим физиологическим законам, реагирует на плавную монотонность повышенной тягой к подушке». Признаться, поначалу я отмахнулась от претензии критика: ну, допустим, уснет читатель, так ведь наутро проснется, никуда не денется, и если распробует, если понравится — дочитает роман. Но потом сообразила, что Ремизова, пожалуй, права. Это раньше недочитанная книга радовала своей едва початой толщиной и, лежа дома, ждала владельца, тепло подсвечивая ему его повседневные дела. Сегодня текст, чтобы быть прочитанным, должен укладываться в пределы одного читательского дня, в крайнем случае в пределы двух выходных. Для литературы стала очень важна расфасовка, соответствующая стандартным блокам жизни индивидуума. Если текст, заняв отведенную ему ячейку (отнюдь не в прайм-тайме), все-таки не успел завершиться, то остаток интересует читателя не больше, чем кусок недоеденной котлеты. Значит, порция оказалась слишком большой, пришлось кое-что оставить на тарелке, — что ж, в следующий раз стоит быть поэкономнее и выбрать книжку потоньше и полегче. Такое ощущение, будто все мы стали подсознательно бояться любого стержня, скрепляющего нашу жизнь в нечто большее, нежели отдельный день; литература, несомненно, представляющая собой нечто большее, нежели день или вечер способны вместить, вызывает раздражение своей несоразмерностью, какими-то неясными требованиями к человеку, непонятно на чем основанными и неизвестно откуда идущими. Литература в жизни горожанина — это слон в посудной лавке. Тут вспоминается роман Ромена Гари «Корни неба», где главный герой перешел из лагеря людей на сторону истребляемых африканских слонов. «Пришло время поверить в себя, показать, что мы способны сохранить тех свободолюбивых гигантов, неуклюжих и прекрасных, которые еще живут рядом с нами...» — писал в своих воззваниях этот оголтелый француз, которому, по общему мнению, просто не хватало любви к людям. Может быть, писатель, автор романов, в этом смысле тоже мизантроп.

Нечего на зеркало пенять, если личико не совсем такое, какое хотелось бы иметь. Со времен сравнения текста с зеркалом, несомым по дороге, литература не утратила своей зеркальной сущности. Даже если мы согласимся с тем, что ни одна реальность не является подлинной, что базовой реальности попросту нет в природе, все равно прямоугольник текста заполняется некими образами, отсутствующими на чистой бумаге и наводимыми извне. Спрашивается: для чего нормальный человек, с расческой или без, устремляется к зеркалу? Понятно, что он устремляется к себе, и встреча с собственным отражением, происходит ли она в домашней ванной, в фойе Большого театра или в парковой комнате смеха, — событие не такое простое, как это видится в быту. Ради этого события приобретается книга, и если читатель ищет в ней подобного себе героя, то писатель ищет подобного себе писателя. Должно быть, поэтому Лев Рубинштейн готов погружаться в «межкритические дискуссии», но не готов осваивать труд беллетриста. Отдельная проблема — женская проза: такое впечатление, будто все мы, несмотря на разность стилей и темпераментов, топчемся на одном пятачке. В сущности, писатель, оценивая произведение собрата по перу, разбирается, насколько удачно автор сделал то, что пытается сделать он сам; не находя своей шкалы и в упор не замечая *другого*, наш писатель приходит к выводу, что попавший ему в руки текст не стоит бумаги, на которой напечатан. Так что Павел Басинский не так уж не прав, замечая в среде беллетристов прогрессирующую слепоту.

Говоря о читательских устремлениях к литературному зеркалу, следует опять поговорить о Викторе Пелевине. На «круглом столе» журнала «Дружба народов», названном «О прозе реальной и виртуальной», критик Александр Гаврилов заметил: «Я иду по улице, вижу какую-то сценку и думаю: а, вот у Пелевина про это написано похоже». Эту же позицию отстаивала в дискуссии Анастасия Гостева: по ее словам, Пелевин важен тем, что новое поколение узнает себя в его героях и ситуациях. Несмотря на попытки старших товарищей провести пунктирную линию от узнавания к познанию, молодая писательница настаивала на приоритете нового опыта и упрекала «большинство писателей» в том, что они «продолжают жить вообще в другом времени и пространстве». Можно и, наверное, даже справедливо вслед за Андреем Немзером и Александром Архангельским, определявшими русло дискуссии, назвать позицию «про меня — не про меня»

позицией инфантильной. Однако потребность отразиться в тексте, посмотреть себе в глаза предусматривает и ту работу познания, делать которую большинство сегодняшних читателей решительно отказывается. Человек не желает соглашаться с тем, что облик его зашифрован, что встреча с собой требует известных усилий и с его стороны. Человек, иными словами, не верит тексту. И вот тут возникает душераздирающая ситуация с мистической изнанкой. Как известно, в зеркалах не отражаются призраки, вампиры и прочие обитатели загробного небытия. Приближаясь к раме и не обнаруживая в зеркале собственного облика, читатель, с нехорошим песочком в волосах, задает себе вопрос: а есть ли я? я жив или уже умер? Само собой, что зеркало после этого разбивается вдребезги, русская литература объявляется несуществующей, книжка летит под кровать. И читать мучительно не хочется.

Лукавый Алексей Слаповский свою новую книгу, вышедшую в «Гранте», назвал завлекательно: «Книга для тех, кто не любит читать».

«Я сам не люблю читать.

Иногда вдруг захочется, снимешь с полки, начнешь — и после двух страниц скучно станет, бросишь. Вечно автор доказывает, что он умнее меня, а мне это не нравится.

Мне нравится, когда просто, коротко и большими буквами. Но я же не ребенок, чтобы детские книжки читать.

И те, кто, как и я, не любит читать, они тоже не так уж не любят читать, чтобы вообще ничего не читать, они бы тоже рады почитать, но возьмут книгу — скучно, длинно, не вникнешь, в чем дело,— и после двух страниц бросают.

И я решил им помочь.

Возьмут они эту книгу, начнут читать первый попавшийся рассказ — и уже им скучно станет, уже готовы бросить, а рассказ-то уже кончился! Это им будет приятно».

Так Алексей Слаповский нашел выход из создавшегося положения. Книга его, заметим, большая, толстая, напечатанная мелким шрифтом.



Кирилл КОБРИН

# Письма в Кейптаун о русской поэзии

*В пятом номере «Октября» за этот год было опубликовано первое мое письмо Петру Кириллову — старому другу по горьковской юности и молодости 80-х, эмигрировавшему в 1990 году в ЮАР и добившемуся больших успехов в невероятно трудной и тонкой профессии — виноделии. Предыстория публикации такова. Несколько месяцев назад я внезапно (после почти десятилетнего молчания) получил от него весточку, контакты наши благодаря электронной почте возобновились, и Петя стал вдруг требовать от меня подробных отчетов не о чем-нибудь, а... о состоянии современной русской поэзии (до которой лет пятнадцать назад был великий охотник). Не имея много времени, я решил писать ему изредка по письму, которые, повинуясь неискоренимо-гнусному зуду публикаторства, хочу периодически представлять и на суд читателей «Октября». Мои «Письма в Кейптаун о русской поэзии» многим обязаны гумилевским критическим эпистолярным, а также — «Письму в Пекин» Михаила Кузмина. Впрочем, в них не будут выстраиваться никакие новые поэтические иерархии, не будут рушиться никакие старые. Автор не претендует на объективность и сколько-нибудь полный охват темы (невозможный, конечно, и сам по себе).*

### Письмо второе

23 мая 2000 года

Дорогой Петр!

Я потрясен. На днях в теленовостях показывали сюжет: вина твоей второй (внеисторической? Хотя кое-какая историйка там есть) родины завоевывают итальянские рынки. Вах-вах, как говорят на алкогольно-абстинентном исламском Кавказе. Ты, наверное, слышал, что за «рубку леса» с «фаталистом» у нас там разыгрывают... Впрочем, вернусь к более приятным вещам, я бы сказал, более насущным. К вину. Я понимаю: итальянский винный рынок не столь строг и прихотлив, как, например, французский; он более «неореалистичен», подвержен мимолетным увлечениям, демократической моде, желанию чего-нибудь дешевенького. Марио! Иди сюда! Пьетро, еще стаканчик красного за мой счет! Что-то в этом духе. Но все же... Ведь у них там и кьянти, и вальполичелло, и каберне фран! Всех-то вы, антиподы с мыса Доброй Надежды, объехали на сивой зулусской кобыле, обскакали на коренастых бурских пони. А твои каберне с совиньоном там присутствуют? Можно ли завалиться в венецианскую тратторию Fiaschetteria Toscana, а еще лучше — в тот чудный бар на Фондамента Нуова, где щедрый бармен дает пробовать все восемь сортов тосканского бренди, и потребовать там стаканчик «кирилловского»? Нальют? Вот будет счастье великое для моей русской души! Вот было бы действительно историческое событие в русской истории, не чета разным брежневским и ельцинским пакостям!

Кстати об истории. Ты пишешь мне, что десятилетие твоего отсутствия было «историческим» для возлюбленного Отечества; быть может, не знаю. Возможно, оно было а-историческим, но речь сейчас не о том. Ты спрашиваешь меня, как сти-

хотворцы отечественные среагировали на эту историю; пожалуй, ты даже пишешь об Истории — с большой буквы.

Трудно сказать. Их — стихотворцев — было и есть великое множество, разных и по эстетическим, и по политическим взглядам. Кажется, еще в бытность твою не южноафриканским виноделом, а позднесоветским кооператором прозвучал довольно умильный кушнеровский вопрос: «А ты и с политикой дружен? И с ней...» Уже после путча какой-то друг собрал книжечку стихов московских поэтов под гениально идиотским названием «Поэты на баррикадах». Года два назад вышло похожее издание, только там поэты не демократию защищали топless, а поддерживали нынешнего Керенского по фамилии Явлинский. Вот и все о поэтах, вляпавшихся в историю (или Историю, как тебе будет угодно). Другое дело, что происходит с исторической рефлексией (не забыл еще истфак?) в нынешней поэзии. Об этом порассуждаю с удовольствием.

Владимир Салимон, которого в неразборчивые восьмидесятые числили, как ты помнишь, то ли «иронистом», то ли «метаметафористом», то ли кем-то еще московским, оказался просто поэтом, совершенно особым и непохожим на легионеров той несостоявшейся когорты. «Гуляка праздный», «московский чудак», «легкомысленный моралист» — вот его лирический герой, столичный обыватель, любитель прошвырнуться и поглазеть. Салимон недавно выпустил большую поэтическую книгу «Бегущие от грозы» (замечательную еще и тем, что все стихи сочинены в короткий срок: с апреля по август 1999-го), в самом названии которой есть странная переключка с «Унесенными ветром». Герои американской эпопеи (каюсь, не книги, а фильма; книгу не читал) унесены «ветром» — «историей», тут уж действительно приличествует заглавная буква — «Историей». Унесены — и нет их. Лирический герой Салимона от «грозы» (той же самой «истории», «Историей») — бежит; в отличие от Стивена Дедалуса он не проснуться хочет от «кошмара истории», а улизнуть от «грозы истории» («гроза двенадцатого года» так и просится на язык). «История» — не «кошмар», а «гроза» во всем богатстве значений этого слова — от «природного явления, выражающегося в громе, молнии, ливне» до «угрозы». Впрочем, и убежать Салимон хочет не так, чтобы очень серьезно — с отчаянным лицом, на последнем дыхании, — а весело, босяком, с криками и шутками, как в черно-белых советских фильмах 50—60-х.

Детей, бегущих от грозы,  
веселых рыбарей и землепашцев хмурых,  
кобылок сивых и каурых,  
забредших поутру в овсы... и т. д.

В этом есть, конечно, толика созвучного последним пяти — семи годам специального (и, увы, популярного) эстетизма, исповедующего очищенную от страха дурашливую совковость, неглубокий драматизм, наивное морализаторство; в общем, все то, что ты мог (в самом еще начале) лицезреть на выступлениях гостившего в Горьком в 1986 году Пригова. Но было бы ошибкой причислять Салимона к синдикам этого цеха. Он чистый лирик, без, прости господи, «концептов»; он знает цену своему поэтическому хозяйству и не позволяет инструменту становиться больше своей инструментальной функции. Что же до «грозы», то она пришла, напугала и:

Нас напугала туча грозовая,  
воронья стая,  
поднявшаяся в небо столь поспешно,  
что тотчас стало нам известно:  
сопротивлень — бесполезно  
и отступлень неизбежно.

Отступление описывается, как отступление армии; впрочем, это опять-таки скорее кинематографические реминисценции, из «Унесенных ветром»:

Чуть свет потянутся повозки,  
вслед за подводами — телеги,  
в них будут свалены на доски  
кровоточащие калекки.  
На историческую свалку  
свезут и бросят всех вповалку.

Что же до лирического героя, то он, слава богу, успел добежать до дома и благополучно пересидеть грозу:

...Я решил, что это — отголоски,  
отзвуки — кружочки и полоски.

До того примерно с полчаса  
с севера на юг прошла гроза\*.

Свежестью дохнуло.  
Липой сладкой.  
Так, как будто сливочной помадкой,  
поманили нас издалека  
тающие в небе облака.

История не только прошла и не тронула, но и на прощание поманила советской сливочной помадкой. Слатенькой.

Хотя, конечно, Петр, Москва и нынче есть Москва — бегущая от своей истории, от Истории вообще — в наив, в модную французскую философию (обратно тому, как рвалась она в Историю лет сто шестьдесят назад, и опять же не без философии — модной философии — только немецкой), в мухоморные глюки, в пикейную политику, наконец. Противоположность ей, как и раньше,— Питер, заворуженный Историей, которая видится ему в скульптурной пантомиме металлических истуканов, в вытертой строчке полузабытого поэта, в краеведческой подкованности. Лев Лосев, поэт петербургского разлива, поэт поколения Бродского, Кушнера, Уфлянда, Еремина, неожиданно (прежде всего, как мне кажется, для себя) стал едва ли не главным поэтом нынешней русской словесности. Его первая книга вышла в Штатах в тот год, когда мы с тобой, Петя, хипповали и катались в Питер на концерты богоравного БГ. Два года назад вышла предпоследняя, названная, впрочем, как последняя: «Послесловие». Книга эта буквально соткана из Истории, тем паче что непосредственным поводом к ее изданию стала смерть Бродского. Но я сейчас не о том; исчезновение «последнего измятина» с поэтической карты Империи Русского Стиха стóит отдельного письма...

В «Послесловии» действительно все — История, с большой буквы История, а не частная — с маленькой. Здесь стихи начинаются с эпитафий из Вейдле, с «коринфских колонн Петербурга», а заканчиваются «жмыхом в блокадном хлебе», «латинским металлом». Лосев совершает удивительный трюк: чтобы не сойти с ума от постоянного присутствия Истории, он превращает ее в произведение искусства, в артефакт, вещь мертвую по определению, а значит, не страшную. Фокус иной, нежели у москвича Салимона, но результат тот же. Лев Лосев видит Историю по-александрийски, по-позднеалександрийски, в духе Кавафиса и Даррелла: как прекрасный, полуразвалившийся памятник культуры, вызывающий к чувству прежде всего. К минорному чувству принадлежности к постисторической эпохе. История кончилась, остались только детали. Ее детали. Так мыслят лишь «poetas minoris», точнее, поэты, сознательно играющие эту роль. Например, Случевский.

Случевский и есть один из главных героев (и соавторов) книги Лосева. Роль его двойка. На первый взгляд, он исторический двойник самого автора, «Лосев до Лосева», предвещающий его стихи своим эпитафием, наставляющий в поведении, в принятии культурно-исторических поз:

Научился писать, что твой Случевский.  
Печатаюсь в умирающих толстых журналах.  
(Декадентство экое, александрийство!  
Такое бы мог сочинить покойный Кавафис,  
А перевел бы покойный Шмаков,  
А потом бы поправил покойный Иосиф.)

Да и сам растолстел. Что твой Апухтин,  
До дивана не доберусь без одышки,  
Пью вместо чая настой ромашки,  
Недочитанные бросаю книжки,  
На лице забыто нечто вроде усмешки.  
И когда кулаком стучат ко мне в двери,  
Когда орут: у ворот сарматы!  
оджибуэи! лезгины! гои! —  
говорю: оставьте меня в покое.  
Удаляюсь во внутренние покои,  
прохладные сумрачные палаты.

Эпикурейство эпохи тяжелой бронзы и расчесанных надвое бород. Фин-дескель, только не нынешний, а прошлый: под романс на слова Апухтина или Ка Эра,

\* Ты, Петя, обрати внимание на это «с севера на юг». Помнишь, кто с кем воевал в гражданской войне в Штатах? А про какую войну «Унесенные ветром»?

под золотистый ветерок левитановых пейзажей, под арию подстреленного Ленского из «Евгения Онегина», под далекие залпы англо-бурской войны, чтобы тебе было понятнее. Ладно-ладно, не обижайся.

Однако ты, наверное, уже заметил, что Случевский здесь не только знак определенного культурно-исторического типа. Еще он — зеркало, в котором отражаются Кавафис, Шмаков, Иосиф (Бродский, естественно), Апухтин. Заметь, все они, как изящно выразился поэт, «покойные». Толстые журналы — «умирающие». Все, что составляет жизнь этого стихотворения, — мертво, ибо — артефакт. Все, кто грозит в нем смертью — сарматы, оджибуэи, лезгины, гои, — живы и находятся у ворот самого царства смерти под названием «Культура». Лосев поворачивается к живчикам-варварам спиной и, будто последний римский патриций (вспомни латинский профиль растолстевшего Бродского), преспокойно уходит от их кипящей протоплазмы к себе, «во внутренние покои», к холодным питерским истукам в «прохладных сумрачных палатах». Истинное «последствие», не так ли?

Ну нагнал я на тебя, Петя, мрачности. Но есть, есть у нас в поэзии и молодые, и совсем молодые; правда, тоже не шибко веселье. Вот юная Дарья Суховой из Питера серьезна донельзя: она разрабатывает особую поэтически-лексическую жилу, пытаясь декодировать некие английские словечки в банальных русских словищах. В этой руде уже намыто несколько унций золота. Посуди сам:

Обратно. В темном кузове машины  
с повешенным — на стенку — полотенцем:  
совсем одни в разметанной стране.  
И, разRUSSIAясь в выбитом окне,  
спешим пешком к Христу на именины...

(стихи, естественно, именуются «рождественскими»).

Или совсем уж сканвордное:

Старое Северное Созвучие — Роковая  
октава:  
до==ре==мифа — forget  
me — поворот руля  
направо.

Интересно, узнал ли ты аббревиатуру бывшего своего Отечества?

Эти молодые люди — серьезные, догматичные, наивные — напоминают мне, Петя, героев левацких фильмов Годара («Мужского-женского», например): они вполне способны долго и без иронической трещинки в голосе обсуждать насущные теоретические проблемы. Они серьезно верят в то, что искусство, поэзия — не просто плетение словес, но средство исправления (или прогресса — по склонности) языка (или — опять же по склонности — жизни). Ей-богу, они настоящие модернисты! Они иногда по-настоящему глубоки:

Ночевать лучше на улице, за как минимум двумя дверями  
от того, от чего тоскуется вечерами.

Спится лучше на улице, ветерок щекочет ресницы,  
ни о чем не думается, поэтому так спится.

Спится лучше на улице. Вода с суффиксом «ка»  
невероятно приятна, но глубока.

Это холодное лето ветром колышет колени  
тени.

Пройдут боль, века, электрички;  
кончаются спички.

Я в этом письме уже поминал Стивена Дедалуса; в отличие от него Дарья Суховой от «кошмара истории» хочет не проснуться, а уснуть. Прямо, как видишь, на улице.

Другой замечательный поэт этого же «нео-годаровского» поколения — Филипп Минлос — немногословен, слова роняет, как роняет капли неподтянутый кран на кухне. Его книга «да нет» — самая «современная» поэтическая книга сейчас, ибо в ней вообще нет ни «Истории», ни «историй», есть только «сейчасные» слова, возникающие в луче авторского внимания на миг и тут же ухающие в глухую тьму безмолвия. Слова кажутся случайно подобранными — на улице, из телепередачи, с рекламного плаката, — но в том и высший класс поэта, что он тщательнейшим образом проводит их селекцию. В результате эта внешне бесстрастная книга, не приправлен-

ная даже знаками препинания, волнует сильнее, чем любое рифмованное закливание, нерифмованная исповедь:

солдатики  
раззвенелись  
по паркету

карамельные дни  
медные всадники  
ну оловянные  
песочные часы

а потом опять  
книга перемен

Поверь мне, Петя, это — лучшая из историософий эпохи второй чеченской войны.

На том и закончу. Извини за мрачность. В новостях крутят телефонный разговор одноногого Басаева с каким-то его подельником. В Москве, если верить все тем же новостям, бушует конгресс ПЕН-клуба. Журналисты митингуют в защиту собственной либертэ. Слушай, а сколько стоит билет из Москвы до Кейптауна?

Шутка.

Ладно, прощай и почивай на лаврах победителя европейских винных рынков. Когда твои бутылочки появятся в лавках «Victoria Wine» в Британии, считай, что ты переиграл историю столетней давности. Президент Крюгер победил Джозефа Чемберлена.



Павел БАСИНСКИЙ

---

**М**ы продолжаем рубрику «Русское поле», посвященную литературе российских регионов. После того как журнал сообщил об открытии рубрики, в редакцию стали приходить самые разнообразные книги, изданные вне столиц. Все присланные книги непременно будут упомянуты. В этом выпуске разговор о стихах. Стихах, которые по разным причинам не попадают в центральные издания. Но их порой читать гораздо интереснее.

**ИВАНОВО**

*Павел БАСТРАКОВ. МЕСТО В НЕБЕ. Сборник стихов. Иваново, «МИК», 1999. 100 экз.*

Голос чистый, незалитературный. Главное, чувствуется, что стихи писались потому, что их хотелось написать, а не по какой-либо иной причине.

Как ночью спокойно и дышится как,  
Как спит моя дочка-малышка...  
О, только бы не постучался дурак,  
Тряся Достоевского книжкой!

*Игорь ЖУКОВ. ЯСТРЕБЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. Иваново, издательство «Иваново», 1999. 500 экз.*

Книга посвящена сыну Илюше. Стихи, впрочем, не для детей.

Есть женщины-рыбы, они ложатся в постель,  
как на дно,  
и размахивают дубинкой часа.  
Мужчины при этом кричат АССА!  
и превращаются в г...

**ПЕРМЬ**

Культурный независимый фонд «Юртин» (кто забыл: так переименовал Пермь Борис Пастернак в романе «Доктор Живаго») существует несколько лет благодаря стараниям двух замечательных людей — Володи и Марины Абашевых. Вот поэтические книги из серии «Сигнальный экземпляр фонда «Юртин»» издательства Пермского университета.

*Алла ДВОРНИКОВА. ЗАКЛИНАНИЕ. 1996. 300 экз.*

Есть у меня два ангела молящих,  
Два ангела, как две звезды горящих...

Много стихов-молитв. Но почему-то больше запомнилось это, странное.

Сапожонками худыми  
Выкаблучивает вдвое,  
Пляшут тени, а за ними  
Пляшет что-то неживое...

Потом появляется какой-то карлик.

Он с косматой головою,  
С бородицею лопатой,  
Дудочку трясет рукою,  
Он — ни в чем не виноватый.

Разумеется, карлик не виноват! (Впрочем, кто его и в чем обвиняет?)  
Ничего не понятно и потому — хорошо.

*Вячеслав РАКОВ. ЗОЛОТАЯ ИГРА. 1996. 300 экз.*

Крылатый раб простукивает землю...

Долго пытался себе это представить, то есть вызвать зрительный образ. Ничего не вышло.

*Антон КОЛОБЯНИН. ЦЕНТР ДОЖДЯ. 1997. 300 экз.*

О девочке глупой ни слова...  
... Как лошадь иди далеко.  
Вот ласточки даль эту снова  
раскосым затянут трико.

Отличное начало. И девочка, и лошадь, и ласточки — всё на своих местах. А вот в конце...

Та девочка глупая — муза,  
повешена прямо в носках.

Зачем же ее так-то?

*Сергей СТАКАНОВ. ГРАНИЦА ДНЯ. 1997. 300 экз.*

Из аннотации: «Летучее, сомнамбулическое очарование отличает стихи Стаканова...»

Черную жду сову  
В пурпурный голый дом...

*Григорий ДАНСКОЙ. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ. 1997. 300 экз.*

Шар черно-белый, делимый на трех человек,  
в сумерках ранних едва узнающих друг друга...

О зимнем футболе. Напряженная (слишком!) работа с метафорой а-ля Парциков. Мяч похож на то-то, потом на то-то. Но вдруг совершенно неожиданно прорывается замечательная строчка, которая оправдывает все стихотворение:

пахнет бедою сильнее, чем тающим снегом...

### ЕССЕНТУКИ

*Осип ЧЕРКАСОВ. ХРАНИТЕЛЬ МОРЯ ВРЕМЕНИ. Стихотворения. Переводы. Пятигорск; Независимая Ассоциация писателей Кавказских Минеральных Вод; Северо-Кавказское издательство «МИЛ», 1999. 300 экз.*

Издано в Пятигорске, но живет автор в Ессентуках. Вначале вступительное слово помощника главы этого маленького, но щедрого на вино и солнце города: «Приятно сознавать, что не оскудевает талантами земля Ессентуков. Крупнейший прозаик Ставрополя Андрей Тристан-Шубин, известные поэты Вячеслав Шевченко и Сергей Рыбалко — лишь некоторые из тех, кто вписал имя нашего города в историю литературы...» Черкасов, конечно, из того же славного ряда.

Друзья разлетелись по миру,  
Оставив последнее мне:  
Кадить свою горькую мирру  
Растерзанной нищей стране.

Миррой все же не кадят.

### КИРОВ (ВЯТКА)

*ДЕТСКИЕ УЗОРЫ. Стихи юных вятичей. М., ООО «Полири», 1999. Без тиража.*

Стихи вятских школьников от первого до десятого класса, собранные руководителем литературно-поэтической студии г. Кирова поэтом Еленой Наумовой. Стихи хочется цитировать буквально все. Ограничусь одним, мне ужасно понравившимся (не называя автора, чтоб не задавался перед товарищами):

Прекрасным зимним днем  
Спешу на встречу с ней я.  
Еще свежи воспоминанья и волненья,  
И прошлой встречи вдохновенье...  
Лосиная тропа.

И дальше поэт, маленькая девочка, признается в любви к лосиной тропе. Детские стихи тем и хороши, что не требуют скучных объяснений.

### ТВЕРЬ

*Владимир КРУСС. БЕЛЫЕ БЕРЕГА. Сорок стихотворений. Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1998. 500 экз.*

*Владимир КРУСС. ЗОЛОТО. Стихи. Там же, 1999. 500 экз.*

Красные розы на мертвое тело.  
Время настало. Душа отлетела.  
На целлофане — серебряный крест.  
Нет на погосте некупленных мест...

Мрачно! Но — хорош конец:

Ветер зеленый.  
Трава голубая.  
Горько стоять у небесного края.

Холодно падать в бездонную синь.  
Губы сожми.  
Руки раскинь.

Во второй книге любопытна «Апология Михаила, князя Тверского, и Юрия, князя Московского», — воображаемый поэтический диалог двух исторических личностей.

### РЖЕВ

*Александр ЕРОХИН. Я ТВОЙ, О, РОДИНА! РЖЕВ, 1998. 500 экз.*

Автор — пожилой человек. Был арестован в 1947 году, будучи учеником 10-го класса, за письмо к Сталину, освобожден в 1954-м. Стихи пишет с 17 лет, но книга эта — первая и издана при материальном содействии Ржевского агроколледжа, где автор до пенсии ведал производственным обучением. Стихи о жизни, о любви. Есть шуточные.

*Георгий СТЕПАНЧЕНКО. ПАМЯТНИК. Стихотворения и поэмы. Ржев, 1999. 500 экз.*

Пятая книга 48-летнего поэта. Весь сборник посвящен Пушкину. Признание в любви:

Татьяна! Милая, родная!  
Душа России — и моя!  
Не ты ль с Онегиным бродила  
По этим грустным берегам,  
Не ты ль Онегина любила —  
И был Онегиным я сам?

Вот это — навряд ли!

*Любовь СОЛОМОНОВА. ЯБЛОКО НЕБЕС. Тверь, «Русская провинция», 1998. 500 экз.*

Первая книга молодой поэтессы из Ржева, занявшей в поэтическом конкурсе журнала «Русская провинция» в 1997 году первое место. Есть строки простые:

Я люблю мужские пиджаки...

И есть очень даже искушенные:

Вы видали, как зевают голубые попугаи? Разевают желтый клювик, выгибаются дугой...	как они, признаться, любят томно поводить ногой? Вы видали, как зевает чернокрылый ангел Смерти? Говорят, никто не знает... Потрясатель брэнной тверди,— он зевает, как они! (точно так!)
Вы видали, как зевают куры, как они мигают,	

### ТУЛА

*Виктория ТКАЧ. ЛЕСТНИЦА ВРЕМЕНИ. Тула, издательство «Левша», 1998. 70 экз.*

Уже вторая книга молодой (22 года) поэтессы.

Стою, раскинув руки, у окна.  
За ним зовет, притягивая, небо...

В этом же году стала членом Союза писателей.

### ОМСК

*Дмитрий РУМЯНЦЕВ. ЖРЕБИЙ БРОШЕН. Стихотворения. Омск, издательство ОмГПУ, 1999. 300 экз.*

Пугающий ОмГПУ — видимо, местный педагогический университет. Молодой поэт. Есть хорошие строчки.

Иртыш желтел полоской Нила...

### ВОЛГОГРАД

*Борис ЩУРОВ. СТИХОТВОРЕНИЯ 1959—1999. Волгоград, Станица-2, 1999. 200 экз.*

Первая книга. Автору за шестьдесят. Влюблен в творчество Арсения Тарковского, который тоже поздно дебютировал как поэт. От Тарковского или от волгоградских степей сухость, жестковатость и самоироничность:

Польнь, да соль солонцов,  
 Да по курганам в степи —  
 Лишь черепа праотцов.  
 Скрипи, мой милый, скрипи.

### ЕКАТЕРИНБУРГ

*Владимир ВОЛЫНСКИЙ. ДУХ ПОЛЕЙ, ПЕРЕКРЕСТКОВ И ЧУВСТВ. Екатеринбург, 1999. 200 экз.*

Ни издательства, ни сведений об авторе. Зато есть его фотография, немного шутовская, в деревянной рамочке, прислоненной к лицу. Стихи аналогичные:

Миленьякая-миленьякая,	Скушненькая-скушненькая
Беленькая-беленькая —	Жизнюшка-жизнюшечка —
Личико уныленькое	То ли это Машенька,
И тельце дебеленькое.	То ли это Нюшечка.

### БЕЛОЯРСК (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

*Сергей МАРТОВСКИЙ. КОРАБЛЬ ЗЕМЛИ. Венок сонетов. 1999. 1000 экз.*

Издано в Перми. Автор из Белоярска. Вначале указано, что книга вышла «отдельным изданием по инициативе и настоянию друзей автора». То есть автор, видимо, сам издаваться не слишком хотел. На последней странице, впрочем, сказано, что автор благодарит за помощь в издании книги:

ЦКиД «Камерон». Никишин Ю. Г.  
 Городской центр торговли. Найчук А. Н.  
 ООО «Сатурн». Телегина Т. Г.  
 ТОО «Лотос». Шаев А. М.  
 Профком филиала «Белоярскгазторг».  
 ООО «Запсибгазторг».  
 Ныдинское ЛПУ. Топоров А. Ю.  
 ЧП Рамолданова К. А.

Венок сонетов на то и венек сонетов, чтоб его не читать, а рассматривать.

### БАРНАУЛ

*Р. К. БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ. Письма сумасшедшего. Барнаул, 1999. 1000 экз.*

Поэтическая мистификация. Р. К.— видимо, перевернутый К. Р., великий князь, друг Фета. К мистификации причастны Владимир Токмаков и Александр Карпов (последний как художник).

### НОВОЧЕРКАССК

*Максим ВОЛЯ. ЧТОБЫ ЖИТЬ. Двадцать первому веку. Новочеркасск, 2000. 3000 экз.*

Издано на правах рукописи. Стихи. Посвящение: «Тому, кто достоин называться именем ЧЕЛОВЕК».

### ВОРОНЕЖ

*Л. В. РОЗЕНА. ПОКАЯННЫЙ ПЛАЧ НА РУСИ ПРАВОСЛАВНОЙ. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1999. Без тиража.*  
 Духовная поэзия.

### ПЕТРОЗАВОДСК

*Ирина ДОКУЧАЕВА. МГНОВЕНИЯ И ВЕЧНОСТЬ. Петрозаводск, 1998. 2000 экз.*

Авторское предисловие: «После появления моего первого сборника стихов «Рифмы любви» было решено: в скором времени выпустить второй сборник. И вот появилась такая возможность снова поговорить со своим читателем со страниц сборника. Это разговор о любви, о душе, о вечном... Я надеюсь, и этот сборник не останется без внимания читателей».

Будем верить, что не останется.

Книги для обзора в рубрике «Русское поле» отправляйте, пожалуйста, в редакцию «Октябрь».

Владимир БЕРЕЗИН

---

## Апология ошибки

«Ну, а Платон, это кликуха такая была... Он такой здоровый был, широкий... Здравый!»

А Гераклит-то был такой аристократ. Оочень такой аристократ... А она приходит к Гераклу... Приходит она к Гераклу и говорит: «Что если нам, Геракл, немножко пожениться?» — «Что за фигня?!» — отвечает ей Геракл. «Ах, ты так», — говорит она и сразу начинает его убивать без передышки. Вот ведь какие дела. Какой народ был.

Скажи, да?!»

О! Рудаков

Есть такая хорошая книга «Энергия заблуждения». Ее написал Виктор Шкловский, и речь в ней идет о заблуждениях, движущих культуру и литературу. «Так заблуждаются люди, которые в открытом море открывают по ошибке вместо Индии острова, которые они приняли за Индию, — но они ошиблись опять — это был остров, но все-таки они не ошиблись, потому что за островом был Новый Свет». Слова «энергия заблуждения» были взяты Шкловским из письма Толстого к Страхову, в котором говорилось: «Все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, недостает энергии заблуждения». Ошибки случайности действительно движут культуру. Но в культуре массовой они приобретают особое значение. Речь пойдет не об ошибках авторов, а ошибках героев, превратившихся в знаки. О поступках, ставших указаниями.

Речь пойдет об ошибках героев и об искуплении этих ошибок. И о том, что ошибки в современном массовом искусстве, становясь знаками, помогают зрителю или читателю.

Но сначала будет рассказана следующая история. Однажды я попал на работу в библиотеку. К девяти часам я входил в хранилище, наполненное пылью и старыми диссертациями, кланялся начальству, а к двенадцати уходил обедать, потом пил пиво и больше уж не возвращался.

Однако эта история не о пиве, а о случайной находке главных правил искусства.

Делать в хранилище было совершенно нечего, но я все-таки нашел на полках достойное чтение. Между естественно-научными шкапами притаился шкаф философский, маленький, скрипучий, набитый Ломоносовым, а также греческой и восточной мудростью.

В нее-то я и углубился. Так в мою жизнь пришло загадочное понятие Дао. Про него было известно только одно: Дао — это то, чем наполняют тело. Дао приходит тогда, когда его не ждут, а уходит тогда, когда его пытаются удержать. Лю Шичунь, в свою очередь, в трактате о музыке писал: «Музыка создается в определенных условиях, и служит она урегулированию желаний. Если желания не будут уклоняться от правильного пути, то музыка может быть создана. Она создается соответствующим методом, который исходит из принципа спокойствия. Спокойствие порождается справедливостью, а справедливость происходит от соблюдения законов Дао. Поэтому о музыке можно говорить только с тем, кто познал законы Дао». То есть на крайний случай к неподатливому оппоненту мог быть применен убийственный аргумент. Его надо было спросить: «А ты, брат, познал ли законы Дао? Нет? Дак с тобой о музыке и говорить нечего. Гнать тебя отсюда надо взащей!»

Таким образом, сидя под маленьким окошком в тени высотного здания МГУ,

я пытался оценить свои музыкальные способности, но главное, что я понял, — мне нравятся простые теории искусства, от Аристотеля до великого музыковеда А. А. Жданова.

Теории должны быть просты и понятны, и тогда учение будет всеильным и верным.

Что же тут непонятного — создается в определенных условиях и служит урегулированию желаний. И все — от принципа спокойствия.

После долгого вступления я буду говорить о другом — о «Поэтике» Аристотеля. Вообще современная массовая литература — царство правил, поэтому античная кодификация к ней так хорошо подходит.

Аристотель пишет, в частности, о законе построения сюжета. Это закон наказания героя. Если пострадает невинный, то зритель обидится. Герой сначала должен совершить ошибку.

Аристотель называет ее *hamartia*. *Hamartia* — это судьба Фиеста, накушавшегося мяса.

Внимательный зритель, заметив ошибку, совершенную персонажем, сразу смекнет, что последует дальше.

Интересно смотреть, как работает этот частный закон Аристотеля в современном искусстве.

Появляясь в своем первом фильме («*The First Blood*», который отчего-то в пиратском видеопрокате назывался «Они начали первыми»), Рембо избивает такое количество полицейских и национальных гвардейцев на территории родных США, что впору подумать о вручении ему советского ордена Красной Звезды. Несмотря ни на что, герой остается жив. Дело в том, что ни один из полицейских не был покалечен и убит рукой самого Рембо. Всему причиной — их непрофессиональность.

Вот если бы герой зарезал хоть одного из своих соотечественников, сразу стало бы ясно — не жилец.

В своих описаниях драматургических персонажей Джером К. Джером пишет: «Из всего свода театральных законов вот что нам удалось уяснить. Если человек умирает, не оставив завещания, то все его имущество переходит к первому попавшемуся злодею...

Случайная утеря брачного свидетельства ценой в три с половиной шиллинга влечет за собой расторжение брака.

Чтобы осудить безукоризненно честного джентльмена за преступления, о которых он не помышлял, достаточно показаний одного злонамеренного персонажа с сомнительным прошлым. Спустя много лет эти показания могут быть опровергнуты и обвинение снято без суда и следствия на основании одного лишь голословного заявления комика».

Когда Джером К. Джером иронизировал над современной ему популярной драматургией, то сделал между делом несколько забавных и точных наблюдений. Эти наблюдения вполне применимы и к современному массовому роману.

Все короткие любовные романы основаны на ошибке и последующем ее искуплении. Половина из них на сюжете, изложенном Джеромом К. Джеромом в 1888 году: «У героини бывает брат, и все всегда думают, что он ее любовник. В жизни трудно встретить брата и сестру, которые дали бы повод самому недоверчивому человеку принять их за любовников. Но зато на сцене брат и сестра до того нежничают, что ошибиться немудрено.

И вот произошла ошибка: вбегает супруг, застаёт их во время поцелуя и приходит в бешенство; героиня и не думает обернуться и сказать:

— Что ты, дурачок, ведь это же мой брат!

Кажется, просто и разумно, но театральной героине это не по душе. Нет, она изо всех сил продолжает вводить всех в заблуждение, что дает ей возможность погоревать втихомолку».

В соседнем с китайской философией шкафу хранились учебники. Пособие по теории ошибок сообщало, что ошибки в измерениях могут быть трех родов — случайными, грубыми и систематическими. Грубыми называют ошибки, происшедшие в результате просчетов и неправильного чтения показаний прибора. Случайные происходят от различных причин, меняющих результаты измерений в любую сторону. А вот систематические все время эти результаты то преувеличивают, то преуменьшают и связаны то с неправильной установкой аппаратуры, то с влиянием внешней среды. Дальше авторы сообщали, что теория ошибок занимается исключительно грубыми и случайными ошибками.

Ошибки персонажей массовой культуры являются как раз систематическими. Они проистекают именно из свойств аппарата масскульта. При этом ошибка героя или героини становится двигателем сюжета. В финале по законам масскульта концы должны быть сведены, повествование завершено, а ошибки искуплены. В любовных романах наказание несет лишь злодей, и он просто валится с шахматной доски романа, как *сведенная* игроком пешка. По более кровавым правилам мужского повествования нескольких персонажей, и не только злодеев, могут съесть по-настоящему. Только все равно это происходит по правилам.

Правила эти не имеют ничего общего с жизнью, мимесис отсутствует, это почти китайское сочетание необходимых условий и свойств. Но цель одна — урегулирование желаний читателя и зрителя, ответ «нате!» на пожелание рифмы «розы».

Поэтому персонажи масскульта совершают глупые и ожидаемые ошибки. Практически по Аристотелю.

Пячки Эдипа теперь значительно осовременены. В другом достаточно старом фильме, «Young warriors», группа молодых людей вступает в войну с организованной бандой, ответным движением нарушая закон. Отсутствие сюжетного права на это нарушение играет с героями дурную шутку. Застреленный в супермаркете бандит оказывается очаровательной девушкой, к тому же вооруженной игрушечным пистолетом.

Это — hamartia.

И, следовательно, герои — покойники, хотя и перемещаются по экрану еще полчаса. Зритель не обижается отсутствием happy end'a. Его предупредили.

То же происходит в фильме «Окно в спальне». Герой спит с женой босса, и это уже не есть хорошо. Жена босса видит преступление через окно, но не может дать показаний: герои оказываются заложниками адюльтера. Маньяк отпущен, следуют новые жертвы, и среди них сама свидетельница. Герой под подозрением, общество ополчается на него, с дробным топотом преследует героя, загоняет его в угол.

Первичная ошибка заключается в тайном нарушении правил общественной морали: «не возжелай жену ближнего своего» и «не прелюбодействуй». Нарушенная конвенция могла быть совершенно иной — достаточно было солгать в мелочи, совершить иной проступок. Персонаж все равно попадает в ситуацию цугцванга. Цугцванг — шахматный термин, означающий вынужденную последовательность ходов.

Коготок уже увяз. Птичка начинает чиркать, и ей понадобятся героические усилия, чтобы не пропасть.

Главный принцип ошибки героя в современном массовом искусстве в том, что она искупается (в стереотипной массовой культуре это предполагает happy end, что, в общем, не обязательно для культуры элитарной: герой может искупить ошибку ценой жизни или медленного несчастного угасания, примером которого — финал «Romeo is bleeding»).

Кстати, лучше всего была отработана тема ошибки в искусстве соцреализма. Там все было кодифицировано, взвешено и отмерено. Был просчитан сакральный смысл похода главного героя в ресторан, цена заграничного стриптиза, приводящего к ватнику и лесоповалу. Точно была вычислена длина коготка, который утащит всю птичку в болото.

Один из фильмов так и назывался — «Ошибка инженера Кочина». Впрочем, его герой искупил и осознал свою ошибку.

В книге, а еще показательнее в фильме, заблуждающийся герой совершает ошибку очевидную, ту, которая заранее понятна читателю или зрителю.

Еще интереснее то, что ошибка заранее угадывается реципиентом. Она показана крупным планом. Револьвер, оставленный в автомашине, забытая веревка на балконе, деньги, одолженные у мафии, голые девчонки, которых наблюдает советский командировочный в чужом баре, — все это рифма к слову «морозы». Это подсказка, знак, обязательный в масскульте.

И эта же ошибка становится единственным двигателем сюжета.

Интрига движется вперед на особом топливе — энергии заблуждения героя. Герои, как уже говорилось, не договаривают возлюбленным некоей глупости, что приводит к расставаниям, мучениям, а в итоге к катарсису. Немотивированная ошибка героя становится способом устранения.

Провокатор Клаус, придуманный Юлианом Семеновым в романе «Семнадцать мгновений весны», тот самый провокатор, что больше всего любил работать с интеллигентами и священниками, говорил: «Знаете, это паразитально — наблюдать, как человек идет на гибель. Иногда мне даже хотелось сказать иному: "Стой! Глупец! Куда?!"» Примерно так же вскрикивает обыватель, потребляя классический

сюжет масскульта. Он выше героя, умнее его. И все потому, что обывателю кажется, что он, обыватель, дальновиднее.

Он, обыватель, словно китайский мудрец, перебирает сюжеты и догадывается о событиях наперед. Да и Аристотель много писал об узнавании.

Или же обыватель превращается в своего рода шахматиста, наблюдающего мельтешение фигур на доске. Движение фигур так же исчислено и подчиняется правилам. И движение героев массовой культуры такое же правильное и приверженное схеме, поэтому к нему так подходят формулы Аристотеля. Аристотель, кстати, говорил, что вещь можно назвать целой, если она являет собой начало, середину и конец. Я не помню этой цитаты и беру ее напрокат у Шкловского. Шкловский, правда, через несколько страниц оговаривался, что «поэзия не имеет концов». Не имеет целостности в этом виде и элитарная литература.

А вот массовая — бесспорно, целостна.

Всем сестрам будет роздано по серьгам, невинные уступят тюремные нары негодяям, добродетель восторжествует, порок будет наказан. Массовая культура — вообще очень детерминистская штука.

Только элитарная культура может позволить себе наплодить ворох загадок, забыв про отгадки. Только она может оставить читателя в недоумении и погрузить его в растерянность и размышления. Или заставить смириться с непостижимостью тайны придуманного мира.

Главное здесь в том, что закон трагедийного возмездия работает. Недаром классический популярный американский фильм предполагает раздачу призов и наказание виновных перед надписью «The End». Недаром ненаказанное зло не просто не поощряется, а хмуру рассматривается и с трудом утверждается наблюдательными советами.

В результате состояние героев гармонизируется. Интрига затухает, как колебание струны.

Все создается в определенных условиях, и все служит урегулированию желаний. Если желания не будут уклоняться от правильного пути, то все может быть создано соответствующим методом, который исходит из принципа спокойствия. Спокойствие порождается справедливостью, а справедливость происходит от соблюдения законов.

Хорошо!



## Пятьдесят лет в анекдотах, или Жизнь старого игрока

Детям задали в школе выучить к следующему уроку басню. Любую. Какую угодно. Автора не называли, во-первых, потому, что басня была нужна не сама по себе, а для изучения знаков препинания при прямой речи, а во-вторых, автор подразумевался сам собой. Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Белинский басен не писали.

Постольку поскольку из книг дома нашлись только мамины журналы «Лиза», папин телевизор и дедушкин пейджер, дети отправились в книжный магазин.

— У вас есть басни? — спросили они продавщицу.

— А что, сами не видите? — ответила продавщица. — Никак зрение на сникерсах проели?

И верно, слово «Басни» сразу бросалось в глаза. Дети купили нужную им книгу, поблагодарили продавщицу, пожелав ей, чтобы она с полки упала, вернулись домой и легли читать.

К завтрашнему дню все было кончено. Когда учительница вызвала детей к доске, они вышли и с выражением начали:

«Ворона уселась на ветке дерева и собралась позавтракать куском сыра, который она добыла себе. Лисица почуяла запах сыра, прибежала к дереву и заговорила ласковым голосом:

— Здравствуй, красавица-ворона! Как хороши твои перья! Как ты мне нравишься. Если твой голос так же хорош, как и твои перья, то ты прослывешь у нас царь-птицей. Дай же услышать твой нежный голосок!

У вороны от радости закружилась голова. Она открыла клюв и каркнула во все горло. Сыр выпал. Лисица подхватила его и убежала.

Льстец всегда сумеет добиться того, что ему нужно».

Последнюю строчку дети прочитали курсивом, так, как она и напечатана в книге.

— Достаточно, — похвалила учительница. — Обратили внимание, как замечательно дедушка Крылов владеет простонародной лексикой? Вот поэтому его басни были любимым чтением на протяжении нескольких сот лет. А теперь перейдем к знакам препинания, употребляемым в прямой речи.

Забытая книга так и осталась лежать у доски. Если бы кто-нибудь ее раскрыл, то прочитал бы на титульном листе: «Жан де Лафонтен. Басни. Перевод С. Круковской. Москва. ЭКСМО-ПРЕСС, 1999», а перевернув страницу, узнал, что «издание оформлено гравюрами иллюстратора Лафонтена — великого французского художника Жана Батиста Удри, а также гравюрами Гюстава Доре», но этого уже никто не сделал. И, между прочим, зря.

Дело не в том, писал ли Лафонтен в рифму или создавал нерифмованные подстрочки. Дело в том, что здесь отчетливо слышно, как тикает механизм культуры.

Всегда считалось, что культура — это система запретов, обеспечивающих выживание человека как биологического вида: обманывать нехорошо, чужое брать нехорошо, изменять жене нехорошо и так далее. Короче, то, что позднее Варлам Шаламов сформулировал как три лагерных мудрости: не верь, не делай, не проси.

То ли законы были сформулированы для замкнутой культурной системы, то ли культура отчасти изменилась, потеряла былую замкнутость. Теперь она проницаема хотя бы в одном направлении. Упомянутые мудрости звучат чуть иначе: не верь, не делай, проси. Культура напоминает не периметр, обнесенный колючей проволокой, а турникет.

И здесь заявленное и явленное, верно ли оно либо ошибочно, становится прецедентом, вероятностью, моделью для копирования.

Иными словами, не важно, умел ли рифмовать Лафонтен. То, что дети прочитали вслух у доски, навсегда останется для них басней. Они выполнили урок, получили отметку «достаточно». К следующему уроку им задали выучить эпос, потому что они будут изучать восклицательные знаки, применяемые при обращении «ой ты,

гой, еси» и прочее. И дети отправились в книжный магазин покупать новую книгу. Что им продадут, Чингиза Айтматова или Расула Гамзатова, никто не ведает, куда не сотворит.

Я же попробую замолвить слово за того, кто сочинял порою не хуже французов и древних греков, да вот басни ли? О том и речь.

Это вовсе не очерк жизни и творчества Ивана Андреевича Крылова, пусть даже краткий, хотя бы и потому, что создать такой очерк попросту невозможно. О жизни героя, кажется, почти ничего не известно. О творчестве его, кажется, будто известно все.

О последнем полувеке жизни стихотворца (а прожил он по тем временам срок очень немалый — либо семьдесят восемь, либо семьдесят шесть, либо семьдесят пять лет, от какой предполагаемой даты отсчитывать) не осталось практически никаких документальных свидетельств. Все зиждется на анекдотах, по большей части сочиненных самим Крыловым, да на мемуарах современников, запомнивших, как правило, те же самые анекдоты. А потому несколько анекдотов и кое-какие предположения по ходу, могущие показаться излишне парадоксальными.

Что ж, парадокс первый и главный. Крыловские басни, жанр заведомо нравоучительный, должный бы исправлять общественные пороки и отстаивать гражданские ценности, на самом деле не басни, а лирические стихотворения очень высокой пробы. Как так? А так. Взглянем на те немногие факты из жизни Крылова, которые сохранены не памятью современников, а самой историей.

Иван Андреевич Крылов, по вероятности, был снедаем двумя страстями: страстью попавшего в столицу безвестного провинциала к самоутверждению и страстью русского литератора стать духовным заместителем светской власти. И то, и другое, как правило, легко сочетается.

Казалось бы, сатирические статьи, публиковавшиеся в журнале «Почта духов», замечены, и, выбрав столь неблагоприятное, на первый взгляд, занятие, сатирик приобретает авторитет и диктует свое мнение обществу. Однако журнал был вскоре закрыт.

Можно бы и продолжать, вернее, все начинать сначала. Но Крылову ли, профессиональному карточному игроку, некоторое время только и жившему этим промыслом, занесенному в реестр и даже высланному с запретом появляться в центральных городах, ему ли не знать, сколь непостоянна Фортуна да и сама неустойчива (ведь изображали ее возвышающейся на сфере).

Исправлять нравы, от веку неисправимые? Бичевать? Что толку!

Но свет — останется, поверь,  
Таким, каков он есть теперь;  
А книги будут всё плодиться,—

сказано в поэтическом послании.

И начинается преображение. Медленно, постепенно рождается на свет дедушка Крылов, грузный, малоопрятный, разговаривающий не впрямую, а обиняками, апологами, человек, которого знают все, человек, про которого рассказывают анекдоты, и человек, про которого ничего, по сути, неизвестно.

Здесь следовало бы привести пример того, как разговаривал дедушка Крылов: «Пошли толки о цензорах. Жуковский, с свойственным ему детским поэтическим простодушием, сказал: «Странно, как это затрудняются цензоры! Устав им дан; ну что не подходит под какое-нибудь правило — не пропускай; тут в том только и труд: прикладывать правила и смотреть». «Какой ты чудак! — сказал ему Крылов.— Ну слушай. Положим, поставили меня сторожем к этой зале и не велели пропускать в двери плешивых. Идешь ты (Жуковский плешив и зачесывает волосы с висков), я пропустил тебя. Меня отколотили палками — зачем пропустил плешивого. Я отвечаю: «Да ведь Жуковский не плешив; у него здесь (показывая на виски) есть волосы». Мне отвечают: «Здесь есть, да здесь-то (показывая на маковку) нет». Ну хорошо, думаю себе, теперь-то уже я буду знать. Опять идешь ты; я не пропустил. Меня опять отколотили палками. «За что?» — «А как ты смел не пропустить Жуковского». — «Да ведь он плешив; у него здесь (показывая на темя) нет волос». — «Здесь-то нет, да здесь-то (показывая на виски) есть». Черт возьми, думаю себе: не велели пропускать плешивых, а не сказали, на котором волоске остановиться». Жуковский так был поражен этой простой истиной, что не знал, что отвечать, и замолчал».

Характерна концовка, вывод, сделанный Крыловым из своего художественного построения, — это не мораль басни, это не афоризм, это не какая-либо конструктивная «мудрость», которую можно применять к конкретным ситуациям в качестве готового резюме. Это фраза, значение которой исчерпывается чистой эстетикой,

она существует — и все. Это фраза поэтическая, каким бы размером или — по видимости — прозой ни была она высказана.

А что же крыловские басни? Как воспринимать их? И тут парадокс. Перечитай любую, убедись: басенная мораль не находится с самой рассказанной историей ни в каких отношениях. Именно ни в каких. Она не подводит итог рассказу, она не противоречит ему, она сама по себе, а рассказ сам по себе.

В чем пафос «Ларчика»? Ведь мода была на вещицы с секретными, и герой действует, основываясь на опыте, вертит ларчик, ищет кнопку, отпирающую тайный запор. Против чего выступает баснописец? Против таких модных вещичек? И о чем ратует? О простоте? О том, чтобы делали ларчики без замков?

Или бедная Ворона, почти два столетия прилюдно теряющая сыр. Ведь сказано самим баснописцем: ей этот сыр бог послал. Выходит, по логике, бог выдал, лисица съела? Или бог дал, бог и взял? И так едва ли не в каждой басне.

Как же тогда басенный подтекст, система намеков, без труда различаемых современниками? А очень просто. Крылов выстраивал свое поведение, лепил свою маску, защищенный которой и появлялся на публике; выстраивал он и контекст для некоторых басен, в зависимости от какового басня прочитывалась, то бишь читал их к случаю.

Но вот басня дочитана, слушатели отсмеялись, баснописец удалился. Контекст исчез. Потому-то исследователи и могут говорить о заключенных в баснях Крылова намеках только предположительно; потому-то и современники, читая какую-либо из басен сами, истолковывали ее по-разному. Что подразумевал баснописец в «Квартете» — Государственный совет или заседание «Беседы любителей русского слова»? А что подразумевает лирическое стихотворение?

Дедушка Крылов — это своего времени Диоген, о котором он же писал в давних стихах. Живет не в кадке, так в неухоженной, грязной квартире, сам чистотой не блещет, общепринятые приличия попирает. Кое-кто интуитивно чувствовал наличие маски и говорил о том вслух, недаром, когда подыскивал Крылов маскарадный костюм, ему посоветовали: вымойтесь, Иван Андреевич, да причешитесь, вас никто вовек не узнает.

Итак, человека узнают не тогда, когда он маску на маскараде снимает, его только в маске и видели.

Крылов скоро понял, что если властители и судьи в этой стране и бывают поэтами, то поэты ни властителями, ни судьями здесь не бывают. И он из сатирика сделался лириком, спрятался за облик дедушки Крылова. Понимал, что на этом пиру, где «стол» и «престол» — слова однокоренные, могут и обнести, и к столу не стремился. Зато уж, иногда к столу попадая, обыгрывал в своей манере и эту ситуацию: «Однажды приглашен он был на обед к императрице Марии Федоровне в Павловске. Гостей за столом было немного. Жуковский сидел возле него. Крылов не отказывался ни от одного блюда. “Да откажись хоть раз, Иван Андреевич,— шепнул ему Жуковский.— Дай императрице возможность попотчевать тебя”. “Ну а как не попотчевать!” — отвечал он и продолжал накладывать себе на тарелку».

Если выбирать из разных театральных концепций, принятых в XX веке, подходящую к случаю (а Крылов, несомненно, был человеком не своего века), это можно назвать «театром одного Крылова».

И парадокс последний. Марина Цветаева заявила Кузмину: стихотворение пишется ради последней строчки, которая обычно приходит первой. Ах, вы и это знаете? — сказал Кузмин (и скорее всего усмехнулся про себя). Так вот, стихотворение, написанное ради последней строчки, придуманной заранее, по определению и есть басня, а последняя строчка — мораль. Крылов же, о чем упомянуто выше, сочинял произведения, где мораль никоим образом не соответствовала высказанному. Он-то и сочинял чистую лирику. И, между прочим, вовсе не обязательно поэтическое резюме размещалось в конце произведения. Бывало, сочинитель ставил его перед так называемой басней.

Не знаю, поверят ли сказанному. Но хочется иногда отвлечься от повседневности, так сказать, текущей действительности, и создать прецедент, который может пригодиться, когда детей заставят выучить к следующему уроку литературоведение. А перед глазами все стоит картина: Крылов, которого приняли за бомжа, объясняется с милиционером при посредстве апологов.

*ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ*

## **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

### **НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» НА 2001 ГОД!**

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209;

для Российской Федерации (годовая подписка) — 72375.

В первом полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:  
для подписчиков Российской Федерации — 39 руб. 50 коп.;  
для подписчиков стран СНГ — 53 руб. 50 коп.;  
годовая подписка (для подписчиков РФ) — 474 рубля  
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается НПО «Информ-система»: тел.: (095) 127-91-47, факс: (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru.

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28;

«Эйдос» — Чистый пер., 6.

---

*Читайте в следующем номере*

*ПИСЬМА А. В. ДРУЖИНИНА  
К В. П. БОТКИНУ.*

**«Некрасов совершенно отбился ото всех, играет в карты днем и ночью, и журнал ведется еще хуже, чем в прошлом году. Чернышевский (припомните Тургеневу, как он считал его политическим человеком) ринулся в политическую экономию и удивил Европу статьями о поземельной собственности, скомпилированными из французских брошюрок 1847—48 годов! Общее посмеяние было ему наградою. Потом в «Современнике» стали объявлять, что Пушкин был отсталым и худо образованным человеком, даже не знающим, что такое слово «принцип». Но тут не было даже и посмеяния, потому что эта ерундища уже совсем набила оскомину».**

---

---

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года «Октябрь»  
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Далее везде.** Книга прозы.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

**Стихи.**

Ирина МУРАВЬЕВА. **Дневник Натальи.** Повесть.

Анатолий НАЙМАН. **Сэр.** Роман.

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».** Письма Ю. Олеши к жене.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Рассказы.**

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

**Рассказы и статьи из новой книги.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Евгений ПОПОВ. **Повесть. Рассказы.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Бессмертный.** Повесть.

Борис ХАЗАНОВ. **Корсар.** Повесть.

Сергей ЮРСКИЙ. **Продолжение новой книги.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Афанасия МАМЕДОВА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Антона УТКИНА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.

---